КЭРОЛАЙН

МАЙТИНГЕР

Охота за головами на Соломоновых островах



Annotation

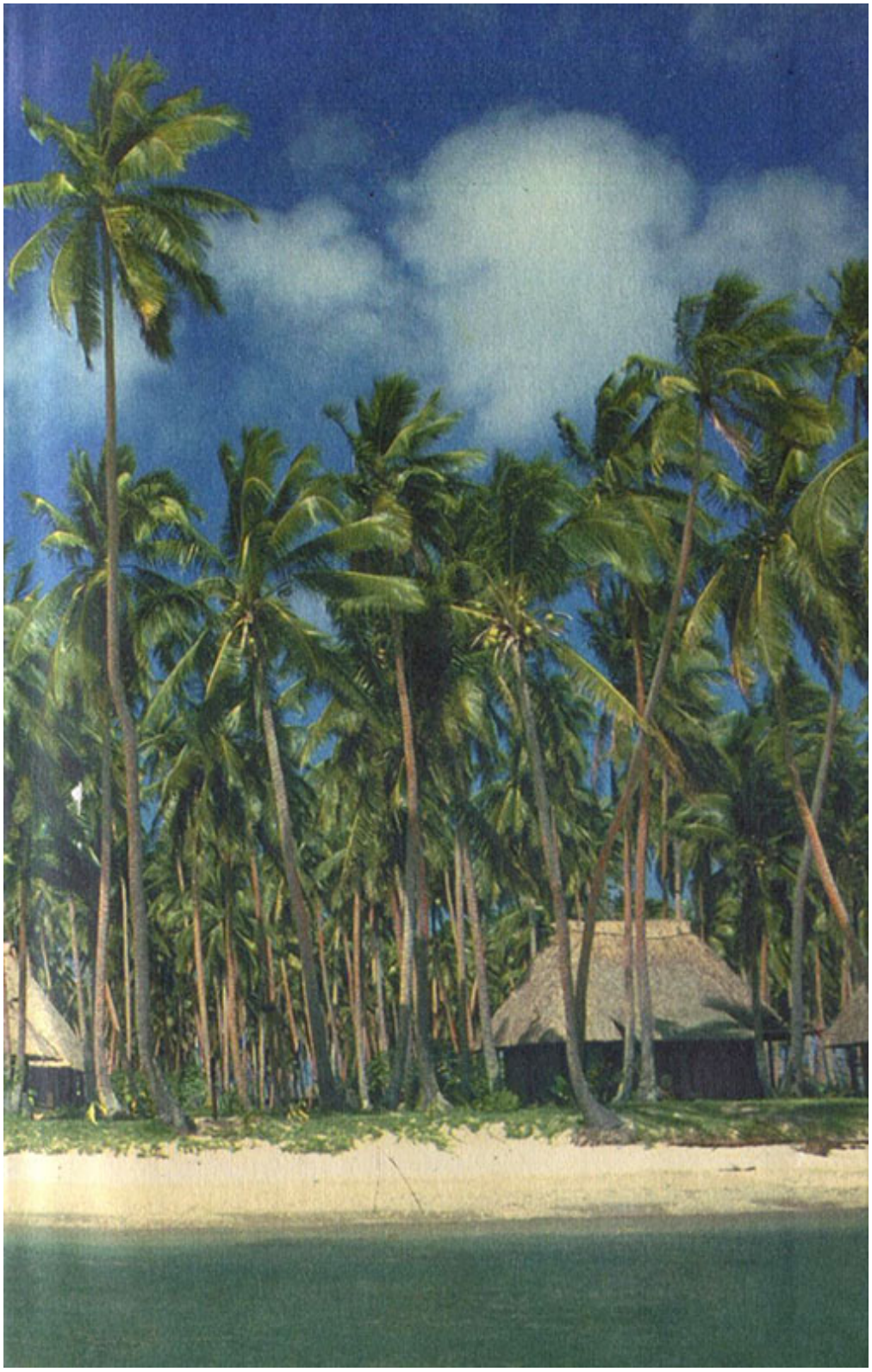
Приключения двух молодых женщин, пожелавших запечатлеть быт и нравы народа, проживающего в одном из самых экзотических уголков земного шара, Меланезии, — вот тема этой увлекательной книги, рассчитанной на самый широкий круг читателей.

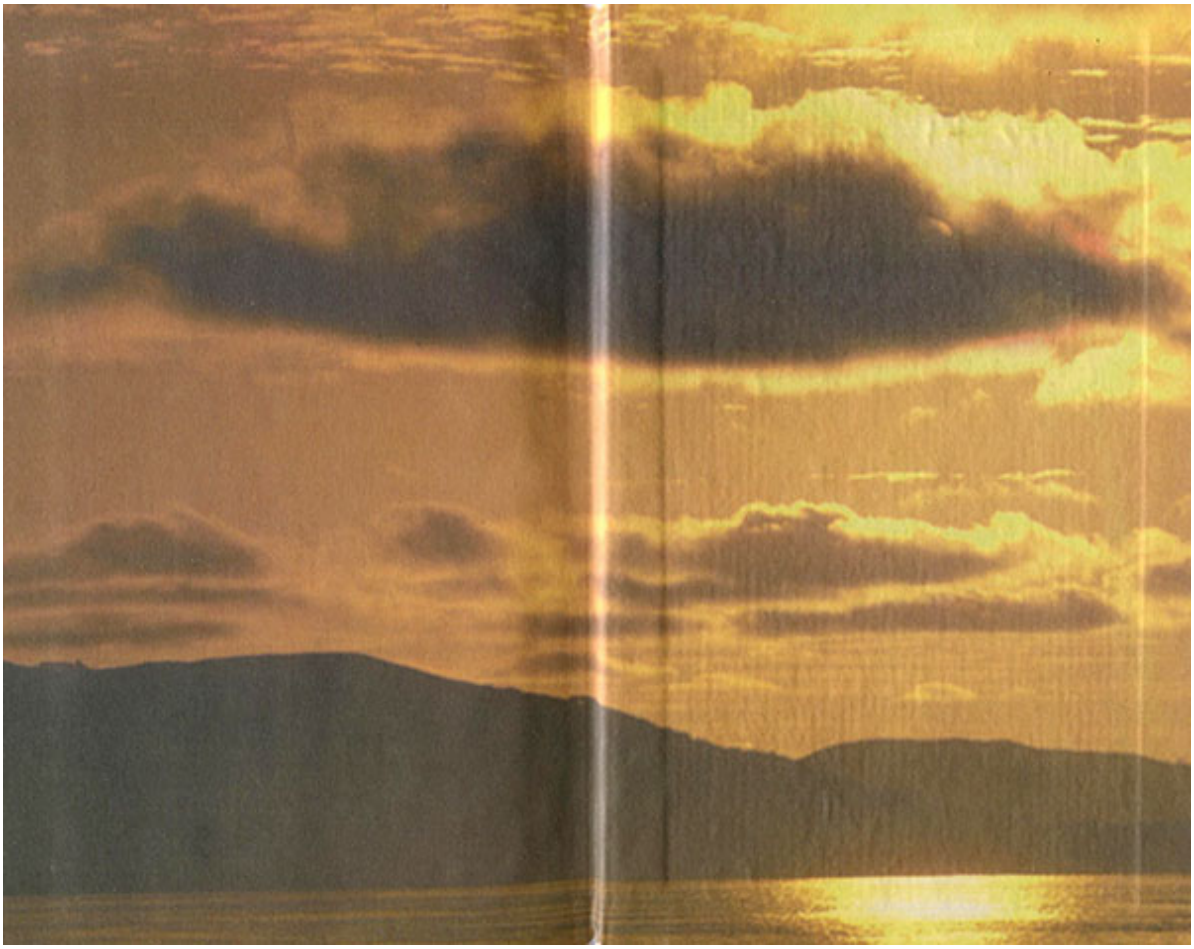
- Кэролайн Майтингер
  -
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
  - Глава двадцать первая
  - Глава двадцать вторая
  - Глава двадцать третья
  - Глава двадцать четвертая

    - Глава двадцать пятая
    - Глава двадцать шестая
    - Глава двадцать седьмая
    - Глава двадцать восьмая
    - Глава двадцать девятая
    - Глава тридцатая
    - Глава тридцать первая
    - Глава тридцать вторая
    - Глава тридцать третья
    - Глава тридцать четвертая
    - Глава тридцать пятая
    - Глава тридцать шестая
    - Глава тридцать седьмая
    - Глава тридцать восьмая
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21

- 22
- 23
- 24

Кэролайн Майтингер
Охота за головами на Соломоновых островах







Глава первая



В один прекрасный день наша экспедиция запросто отправилась писать портреты первобытных негроидов, живущих в юго-западной части Тихого океана.

Я подчеркиваю слово «запросто» потому, что мы не были обременены заботами по снаряжению экспедиции, обычно связанными с изысканием денежных средств, изучением опыта предшественников, сомнениями, снабжением, экспедиционной яхтой или самолетом, благословениями или верой друзей в наш успех или утверждениями родственников, что у нас ничего не выйдет. У нас не было «личного состава», список которого в каждом толковом словаре сопутствует слову «экспедиция». Наша экспедиция состояла из двух довольно молодых женщин: меня — художницы-портретистки и Маргарет Уорнер — мастерицы на все руки, способной выходить из любых затруднительных положений с неменьшей ловкостью, чем это удавалось самому Господу Богу, который восполнял отсутствие технических средств дерзновенной предприимчивостью. Экспедиционным снаряжением Маргарет была гавайская гитара.

И все же мы были экспедицией, так как у нас была цель. А если читатель иногда будет терять ее из виду, как это часто случалось с нами в разгар приключений, то традиция требует, чтобы я заранее принесла читателю свои извинения.

Нашей целью было запечатлеть одну из групп этих «отсталых существ, быстро исчезающих с лица земли под напором цивилизации». Наши будущие модели, гораздо менее напыщенные, чем приведенная цитата, были темнокожие дикари, именуемые меланезийцами, населяющие острова Кораллового моря, северо-восточнее Австралии. Район их поселения простирается от Новой Гвинеи через Соломоновы острова[1] до Новой Каледонии. Одна из причин выбора нами именно этой группы «исчезающих отсталых существ» заключалась в географической плотности и доступности районов их размещения. Кстати, это было одним из немногих деловых соображений при разработке плана нашей поездки. Да и верно, разве можно написать истинный портрет какого-либо народа, если он расселился от полюса до полюса, как это произошло с «исчезающими отсталыми существами», являющимися нашими непосредственными соседями — американскими индейцами.

Чтобы запечатлеть на полотне образ какого-либо народа, нужно действовать примерно так: прежде всего написать портреты его чистокровных представителей, затем перейти к изображению смешанных типов, отражающих элементы, участвовавшие в образовании народности. Меланезийцы представляют древнейшую помесь местных негроидов с монголоидами, вторгшимися, видимо, из Индонезии, с островов к западу от Новой Гвинеи. В заключение следует изобразить боковые ветви потомков чистокровных туземцев, которые, выйдя за пределы своих границ, смешались с чужеземцами настолько давно, что успел образоваться

совершенно новый тип, сохранивший многие физические особенности вторгшегося народа.

Меланезийцы были особенно интересны для нашей экспедиции, поскольку они создали разбросанные, смешанные группы.

Имеются доказательства только двух продвижений меланезийцев с их основной территории: одно — на острова Фиджи, где смешивание с полинезийцами создало преимущественно негроидный тип; другое — на острова Новой Зеландии, где меланезийцы вновь встретились с полинезийцами и где в результате этой встречи создался чисто полинезийский тип человека.

Маршрут нашей экспедиции должен был бы определяться географическим размещением интересовавшего нас народа, но с самого начала мы отбросили новозеландскую группу, жившую слишком в стороне от основного маршрута, и без того ограниченного нашими финансовыми возможностями.

Собственно говоря, даже не знаю, почему мы должны приводить в оправдание этот малоубедительный довод, когда у нас с самого начала не было почти ни гроша. Видимо, это просто отговорки, так как карта нашего маршрута казалась нам гораздо привлекательнее без этой длинной стрелы, вытянутой куда-то к Южному полюсу. В остальном все получалось очень складно.

Мы рассчитывали писать полинезийцев на Гавайских островах, жителей Фиджи на островах Фиджи, затем пересечь океан прямо на запад и направиться на Новые Гебриды, где проживали наши чистокровные меланезийские модели.

Для изображения потомков древних негроидов в нашем распоряжении были две современные группы. На Соломоновых островах проживают темнокожие меланезийцы, на которых нам указывали как на вероятные остатки туземного населения островов.

Кроме того, имелись папуасы Новой Гвинеи, тоже очень темнокожие, несомненно, «подлинные местные жители» по сравнению с меланезийцами, которые и сейчас заселяют только восточное побережье этого огромного острова. Обе эти группы фигурировали на карте нашего маршрута, и мы собирались писать портреты представителей обеих групп.

Поскольку никто толком не знает, откуда начали свое продвижение монголоидные предки меланезийцев, и все сведения сводятся к тому, что они прибыли из Индонезии, то мы могли посетить любой из индонезийских островов и найти характерные типы, участвовавшие в образовании меланезийского народа.

Вот какими были наш план и наша задача. Необычайная их простота доказывает, как мало мы знали, пускаясь в экспедицию, и как широко мы размахнулись.

Возможно, наши скептически настроенные друзья были правы, утверждая, что группа женщин, подобная нашей, не может отправиться писать портреты каннибалов и вместе с тем рассчитывать вернуться домой с головой на плечах. Таких поступков не совершали даже мужчины…

Ни один мужчина-художник не пытался этого сделать, заявляли мы в ответ.

И все же, как путешествовать без экспедиционной яхты? Где останавливаться? И что делать, для того чтобы достать деньги?

* * *

В туманный мартовский день мы проплыли мимо Золотых Ворот[2], располагая заветной целью, четырьмя сотнями долларов, несколькими мелкими монетами,

отличным здоровьем и массой свободного времени. Вот и все; и этого оказалось достаточно.

Отсутствие денег казалось нам наименее важным. В наше экспедиционное снаряжение входила помятая жестяная коробка из-под сигарет, обладавшая волшебной способностью делать золото. В коробке находились рисовальные принадлежности, которые должны были помочь нам оплатить стоимость проезда до Меланезии и обратно.

Обломками рисовальных углей и кусками засаленных резинок были исполнены портреты, которые уже оплатили наш проезд по территории Соединенных Штатов. Такими же портретами мы оплатили наш нынешний переезд до Гавайских островов и накопили четыре сотни долларов, с которыми и предприняли наше путешествие. Мы не предполагали тратить наши накопления на то, чтобы добраться до Меланезии; это был своего рода резервный фонд на случай необходимости «отправить тела покойниц на родину».

Мы твердо рассчитывали, что жестяная коробка поможет нам охотиться за головами белых обитателей южной части Тихого океана. И до тех пор покуда там находятся представители белой расы, головы которых можно рисовать, и их бумажники, из которых оплачивается портретное сходство, мы должны быть обеспечены платными заказами. По крайней мере, таковы были наши надежды…

Мы считали себя отлично подготовленными к охоте на белых владельцев голов; в этом вопросе мы не были новичками. Маргарет играла роль Хендрики, а я — Рембрандта, с тех пор как я сделалась странствующей портретисткой. Мы исколесили всю ширь Соединенных Штатов, пройдя через города и деревни, от побережья до побережья, и повсюду имели заказы на портреты. В любых обстоятельствах Маргарет отлично справлялась со всеми делами, и я была уверена, что она окажется на

высоте и в нашей «охоте за головами». Везде и всюду она принимала, провожала, развлекала разговорами клиентов, мурлыкала для них под аккомпанемент гавайской гитары успокаивающие душу песенки, читала вслух, играла с детьми заказчиков, поддерживая модель в заданной позе и подогревая в клиенте интерес к оплате законченного портрета. (Среди наших заказчиков было немалое число дикарей.) Одновременно Маргарет вела наше хозяйство, чинила одежду и автомашину, утирала мои слезы по поводу неудавшегося рисунка, а затем только ей одной известными способами находила новые заказы на портреты. Удивительное терпение и веселость делали ее незаменимой в моей мастерской и, несомненно, нужной при предстоящих встречах с подлинными дикарями.

Долгое время мы читали труды по антропологии, которые могли достать в общественных и университетских библиотеках. Это не было вызвано желанием кичиться своей ученостью; правдивые научные труды о людях гораздо увлекательнее любого художественного вымысла, и это они натолкнули нас на идею запечатлеть первобытных людей. Ведь каждая из прочитанных нами книг оплакивала их исчезновение.

Что же могло быть для художника более волнующим, чем увековечить в рисунке эти народности до того, как они исчезнут навсегда!

Отплывая из Сан-Франциско, мы недооценили фактора времени. Казалось, у нас впереди вся жизнь, но и этого могло бы нам не хватить. Только экспедиции с жирным банковским счетом могут направляться прямо к намеченной цели, силой денег устранять возникающие препятствия и с треском возвращаться назад раньше, чем у широкой публики исчезнет интерес к поднятому шуму.

Вместо того чтобы в короткий срок проделать весь путь от Гавайских островов до островов Фиджи, а оттуда

к Новым Гебридам, мы потратили более года на писание портретов, чтобы заработать на проезд и добраться до сердца Меланезии. И это был вовсе не тот маршрут, который мы запланировали.

В Гонолулу, то есть практически не выезжая из Соединенных Штатов, наши платные портреты имели огромный успех. Одновременно мы писали портреты гавайцев, но здесь не было полинезийцев, ради которых мы предприняли наше путешествие. Здесь были различные гавайско-японо-американо-португало-филиппино-китайско-немецкие сочетания. Что касается полинезийско-гавайского типа, то он почти исчез, уничтоженный мифическими четырьмя всадниками из Апокалипсиса: смешением рас, пороками и присущими белому человеку болезнями, а также физическим расслаблением, которое охватывает туземцев, когда к ним вторгаются белые люди.

Особую надежду мы возлагали на острова Фиджи, где предполагали найти среди живущих поблизости полинезийцев нужную нам чистокровную модель либо рисовать субмеланезийцев Фиджи, проживающих тут же, вблизи порта Сува.

Увы, быстрый отъезд из Сувы был единственным случаем, когда наше продвижение ускорилось.

Путешествие до Сувы проходило в помещении, предназначенном для пассажиров самой последней категории, и только за сутки до прибытия, выйдя на палубу подышать воздухом, мы обнаружили, что наш пароход везет в классных каютах игроков в гольф — тех, что бессмысленно катают мячи по зеленым лужайкам. Все они направлялись на острова Фиджи, где в Суве проходил ежегодный слет любителей гольфа. Наш пароход был одним из многих, перевозивших подобный груз в маленький городок на Тихом океане. И Сува не смогла приютить нашу крохотную экспедицию охотников за головами; мы были вынуждены вернуться

на пароход и отправиться в Новую Зеландию, поближе к Южному полюсу.

Теперь нам надо было заработать много денег, чтобы получить возможность вернуться к экватору, и единственная дорога в Меланезию лежала через Сидней.

Отношение британцев к портретному делу несколько отличается от американского. Здесь после первого портрета не возникала портретная эпидемия, как это бывало в каком-нибудь городке у нас на родине. В Окленде мы нарисовали одного из членов семьи американского консула, и, хотя портрет получил широкую известность среди высшего общества, бывавшего на приемах у консула, все же заказы на портреты приходили медленно, после длительных и тщательных размышлений. Нам пришлось почти наполовину снизить цену за портрет, так как в Новой Зеландии все еще ощущалась депрессия, наступившая после Первой мировой войны.

Находясь вопреки собственной воле в Новой Зеландии, мы зарисовали головы нескольких маорийцев, которые отдаленно сродни меланезийцам, и тем самым перестали быть виноватыми в том, что выключили маорийцев из нашего первоначального плана.

В конце концов мы не только преодолели робость местных платежеспособных заказчиков портретов, но и разыскали последнего из оставшихся в живых маорийского воина и успели нарисовать его за три месяца до того, как он отправился по скорбному пути, открытому перед обреченными туземцами.

Наши довольные оклендские заказчики снабдили нас рекомендательными письмами к сиднейским знакомым; это было для нас очень важно, так как мы не имели представления, как создать себе клиентуру в столице Австралии. У нас вовсе не было уверенности в том, что

там мы встретим такого же добряка консула, как в Окленде, где мы нашли приют в его семье.

Жители Сиднея были по-британски великодушны к нашей экспедиции. Если они не заказывали портретов, то кормили нас, и это было для нас благом, так как мы бывали голодны. Впоследствии они заказали нам достаточное количество портретов, что позволило нам не только покрыть текущие расходы, но и оплатить стоимость проезда до Соломоновых островов. Мало того, мы сумели увеличить наш тощий «покойницкий» фонд на сотню долларов. Все это имело большое значение, так как на островах имелся только один городок — Рабаул[3] на Новой Гвинее, где мы могли рассчитывать на получение заказов на платные портреты. Не могли же мы делать ставку на разбросанных по островам плантаторов — единственных белых обитателей этих мест (портретное дело весьма сходно с заразной болезнью; если заказчики живут далеко друг от друга, то заражения не происходит или оно распространяется слишком медленно). Когда мы отплыли в Тулаги[4], до Рабаула оставалась еще почти тысяча миль[5], да и находился он в другой группе островов.

Погрузившись на шедший в Тулаги пароход «Матарам», мы ничуть не пожалели о нашем пребывании в странах, находящихся так близко к Южному полюсу. Добравшись до экватора, мы снова очутились в прежнем состоянии: та же неустроенность финансовых дел, то же отсутствие портретов жителей Фиджи, отчасти компенсированное наличием портретов маорийцев.

Теперь мы должны были признать, что быть членом экспедиции, зарабатывающей на свой проезд, это совсем не то, что участвовать в экспедиции, действующей наверняка.

Мы подвергались любому риску…

Глава вторая



Когда Маргарет и я вошли в кают-компанию «Матарама», нас охватило чувство приятного волнения при виде целой стаи, чуть ли не целого города белых человеческих голов. Лишенные в течение недели возможности удрать с парохода, они неминуемо должны были стать жертвами надвигающейся эпидемии. В кают-компании находилось три десятка пассажиров, а еще десятка два, как мы это узнали из пассажирского списка, укрывались в разных уголках, пытаясь благополучно пережить путь из порта Сидней в открытое море, превращенное сильнейшим зимним штормом в клокочущую пену. Все пассажиры были совершеннолетними, и все они, за незначительным исключением, возвращались домой, к себе на острова. Нам оставалось только напустить на них портретную эпидемию.

Техника напускания эпидемии предполагалась очень простой: Маргарет должна была попросить кого-нибудь из присутствующих позировать для меня «просто, шутки ради», и тогда, когда зрители увидят, какое поразительное сходство создается при помощи карандашей из жестяной сигаретной коробки, все пассажиры ринутся позировать. А если среди них найдутся слишком медлительные люди, то к концу

путешествия пароходная скука все равно загонит их в наши сети, где за исполненный углем шедевр им придется платить не менее трех гиней[6]. За произведение искусства надо брать гинеями, а не фунтами[7], так как в английском классовом обществе полтинничное превосходство гинеи над фунтом определяет разницу между презренным «ремеслом» и истинным искусством.

Мы с нетерпением ожидали, когда пароход зайдет в Брисбен, где количество наших жертв пополнится, а с окончанием шторма скрывающиеся по каютам два десятка пассажиров поправятся, пароход приобретет достаточную устойчивость, чтобы я могла рисовать портрет углем.

Все должно было идти по намеченному нами пути, если бы не два непредвиденных обстоятельства. Первым из них была «эта история с малаитянами», которая привела пароходных обитателей в состояние такой возбужденности, что если кто-либо из них попытался спокойно позировать, то неминуемо бы взорвался (об истории с малаитянами расскажу дальше, так как не умею рассказывать два сюжета сразу). Второе обстоятельство было характерным для пассажиров пароходов, курсирующих именно на этой линии.

Плантатор, возвращающийся после отдыха на юге, ни в какой степени не может служить моделью для портрета. Он непригоден в финансовом, моральном и физическом отношениях. Это не человек, а какая-то развалина. Когда после трехлетней работы на плантации он отправляется в отпуск на юг, то едва стоит на ногах от усталости или болезней, вызванных нестерпимой тропической жарой. Но после восстановления своего здоровья в прохладных барах Сиднея плантатор лишается способности даже сидеть. Обратная поездка на плантацию — это мучительный путь из мира грез в мир суровой действительности. И,

право, невозможно рисовать его в подобном состоянии да еще брать за это три гинеи.

Помимо Маргарет и меня, на пароходе находились пять женщин. Трое из них были редко встречающимися здесь туристками, у которых хватало смелости встретиться на островах с носителем малярии — комаром-анофелесом, но уже бессильных противостоять нашему предложению позировать для портрета.

Две женщины были женами плантаторов. Старшая из них возвращалась из сиднейской больницы после излечения от черной лихорадки, часто возникающей после длительного заболевания малярией. Исход этой болезни почти всегда смертельный. Эта женщина менее всего напоминала вылечившегося человека. Скорее это был учебный экземпляр трупа в медицинском институте, и притом слишком долго пролежавший в формалиновой ванне. Ее кожа имела странный оттенок фальсифицированного чая и была такой прозрачно-тонкой, что через нее ясно просвечивали кровеносные сосуды и мышцы вокруг глаз. Она говорила, что чувствует себя «отлично», но мы не сомневались, что дни этой женщины сочтены и что родственники будут рады иметь портрет покойной. Ее вид настолько приближался к облику возвращавшихся плантаторов, что у нас не хватило духа предложить ей позировать для столь необходимого наследственного портрета.

Более молодая плантаторская супруга казалась новичком по сравнению с женщиной, ухитрившейся выздороветь после черной лихорадки. Она не только была здорова, но даже совсем недавно стала матерью ребенка и обладала ясной точкой зрения на ряд особенностей островной жизни, что дало нам возможность подготовить себя к встрече со страной, куда мы направлялись.

Внизу под лестницей, ведущей в коридор классных кают, пароходная компания предусмотрительно

поставила для пассажиров большой стол для глаженья и электрический утюг.

Здесь, за привычной домашней работой, гладя детские платьица и нижнее белье, обе жительницы островов развязывали свои гордые британские языки. Женщины, когда они работают вместе, умеют говорить о простых и правдивых вещах, о которых умалчивают в безделье.

Помимо ряда других вещей, мы узнали о трудностях семейной жизни на островах. Вряд ли эти трудности угрожали членам экспедиции, охотящейся за головами, но все же из этих рассказов мы почерпнули немало интересного. Мы узнали, что белые женщины должны уезжать на время родов на юг, во избежание послеродового сепсиса, угрожающего роженице на островах, несмотря на то что в Тулаги имеется больница (мы все удивлялись, почему туземные женщины не подвергаются той же опасности). Беременная женщина должна уезжать на юг в начале своей беременности из-за множества возможных осложнений, заболевания малярией и другими местными болезнями. Совершенно необходимо, чтобы после родов мать и ребенок на протяжении нескольких месяцев находились под наблюдением врачей, так как иногда малярия передается ребенку еще в утробном состоянии, и зачастую дети рождаются с увеличенной селезенкой и поражением некоторых желез. Иметь семью или, говоря другими словами, жить нормальной для взрослого человека жизнью сопряжено для белого жителя островов с огромными трудностями.

Молодая мать не могла заказать портрета стоимостью в три гинеи; она только что провела на юге восемь дорогостоящих месяцев, подготовляя рожденного ею малыша к самому опасному первому году его жизни на островах. (Белые дети, сумевшие прожить первые два года без свежего молока и

витаминов, по-видимому, минуют опасный период. В дальнейшем на протяжении пяти лет они развиваются нормально, после чего жара и нехватка нужной пищи начинают на них сказываться.) Новорожденного нельзя кормить грудью, так как это один из путей заражения малярией.

Малярия и только одна малярия — вот постоянная тема наших разговоров, если только не обсуждалась тема восстания жителей острова Малаита[8].

Неужели и мы неминуемо должны заболеть малярией и сделаться похожими на заспиртованные в банках трупы? Как спастись от нее?

Мы обнаружили множество школ и направлений в решении этого вопроса. Несколько своеобразным было предложение лечить малярию как обычную простуду. Представителем этой школы был золотоискатель из Новой Гвинеи, которого мы встретили в Сиднее, где он проводил свой отдых и находился по этой причине в мире грез. Он отсоветовал нам делать противомалярийные вливания, утверждая, что мы сразу схватим черную лихорадку, минуя предшествующий ей длительный период заболевания малярией. Нас было нетрудно отговорить от дорогостоящих вливаний, так как нам легче было опираться на запас американского здоровья, чем на австралийские фунты стерлингов. Следуя совету золотоискателя, мы приобрели целую торбу хинина в капсулах, чтобы лечиться от малярии, когда ею заболеем. По-видимому, вопрос о нашем заболевании считался решенным делом, и того же мнения держался ехавший с нами местный старожил, но он ратовал за хинин в таблетках. Его довод сводился к тому, что, когда начинается малярийный приступ, хинин должен действовать сразу, а для растворения капсулы требуется много времени. Мы получили эту информацию до захода в Брисбен, где нам удалось уговорить

аптекаря обменять нашу торбу капсул на две торбы таблеток.

Кроме того, старожил твердо верил в целебные свойства спиртных напитков и на протяжении всего путешествия служил примером своего лечебного метода.

Здесь были и сторонники предупредительных мер, и неисправимые фаталисты, которые считали, что если суждено болеть, то все равно заболеешь. Сторонники предупредительных мер считали, что нужно ежедневно глотать пять гран[9] хинина и начать этот курс не позже чем за десять дней до вступления в страну анофелесов.

И мы ежедневно начали глотать хинин... Никогда прежде не болея малярией, мы вскоре решили предпочесть ее хинину; право, я не смогла бы написать чьего-либо портрета, если бы не прекратила глотать хинин. От принятого хинина голова наполняется звуками журчащей воды или бьющихся о стекло бабочек.

Среди неисправимых фаталистов находился молодой австралиец по имени Вивиэн Нэнкервис. Он был новичком, этот прирожденный «строитель империи», впервые ехавший искать свою судьбу на острова, где должен был служить помощником управляющего кокосовой плантацией на Гвадалканаре[10] (чаще называемом Гвадалканалом).

Несомненно, он должен был заболеть малярией, так как слишком похож на многих мужчин, неспособных предпринять что-либо заранее. Вам знаком этот тип мужчины, который слишком полон жизни, чтобы болеть даже тогда, когда он действительно болен. Этот двадцатилетний юноша был шести футов[11] росту, обладал мускулатурой боксера и был красив даже с таким претенциозным именем, как Вивиэн. За всю жизнь он ничем не болел, но не успели мы отъехать от Австралии, как у него начала кружиться голова, как и у

нас — глотателей хинина. Но причиной его головокружения был не хинин, а синева глаз Маргарет.

Вопрос о том, терпеть ли мне ералаш в голове, глотая хинин, или болеть малярией, не глотая хинина, решился сам собой, когда я нарисовала портрет капитана. Среди семидесяти с лишним человек, составлявших население нашего парохода, имелась всего лишь одна спокойная, здоровая модель для портрета. Это был наш капитан, которого я начала писать просто ради процесса работы, без всякой мысли об извлечении прибыли. Но никогда, сами того не подозревая, мы не делали столь выгодного дела, как подарив рисунок капитану. Все наши возможности совершить поездку по Соломоновым островам зависели от него.

Мы начали работать в капитанской каюте, но так как она была слишком мала для всех нас, то капитан позировал мне, сидя внутри, а я с прикрепленной к доске бумагой уселась снаружи, на палубе. Приступая к работе и открывая коробку из-под сигарет, я обратилась к этой волшебной жестянке с мольбой; это была простая вежливость, дань уважения к ее способностям служить ковром-самолетом. Маргарет, вооруженная гавайской гитарой, заняла привычную позицию против модели, заставляя ее смотреть в одном и том же направлении. (Чтобы сохранить одно и то же положение головы, позирующий должен заложить ногу на ногу точно так же, как вначале, если портрет был начат при таком положении.) Не было никакой возможности оторвать глаза от Маргарет, когда она музицировала, уж очень она сама увлекалась музыкой. Ее пальцы, приученные к игре на скрипке, скользили вверх и вниз по фифу гитары, в то время как другая рука летала по струнам с такой быстротой, что одна только техника ее игры заставляла модель сидеть в недвижимом изумлении. С моей точки зрения, Маргарет является единственной

исполнительницей, могущей заставить гавайскую гитару звучать как настоящий музыкальный инструмент.

Репертуар Маргарет был очень разнообразен: она знала и такие мотивы, которые удерживали милейших старушек от желания заснуть, и такие, от которых капитанская нога притоптывала в такт. Впоследствии мы узнали, что капитанское притоптывание имело особое значение.

Наш капитан был толстяком шотландцем, и когда он смеялся, то смех начинался где-то в глубине его невероятных объемов, постепенно поднимаясь на поверхность, подобно геологическому смещению пластов земной коры. Вы ничего не замечали, покуда смех не достигал капитанской поверхности, вызывая сильные колебания белого накрахмаленного кителя, но не затрагивая круглого багрового лица. Рот оставался слегка раскрытым, готовый сотрясти воздушные массы. Несмотря на слегка рискованные песенки Маргарет, выражение лица капитана оставалось по-шотландски строгим. Так шла наша работа, капитан содрогался внутри своего полушария, глядя на Маргарет и изредка бросая сердитые взгляды в мою сторону.

Сигаретная жестянка изображала капитана с присущей ей обычной объективностью. Например, у капитана появилась шея; шея у него в действительности была, но когда он сидел, ее не было видно. Мы заставили капитана позировать в фуражке, так как сигаретная жестянка не могла помочь мне изобразить волосы, которых у капитана не было.

— Отдохните… — сказала я слабым голосом, когда, устав от сочетания бурного моря и проглоченного хинина, начала видеть какие-то обнаженные призраки, спускающиеся по лестнице.

— Вы принимаете хинин, чтобы не заболеть! — заревел капитан. Он всегда ревел, словно стараясь перекричать бурю. — Зачем вы отравляете себя

хинином? Вы лишитесь зубов раньше, чем хоть один комар успеет вас укусить... Нужно только внимательно следить за работой кишечника... — продолжал рычать капитан. — Пейте хорошее виски, которое вам будут подносить, и вы будете здоровы до самой свадьбы, о чем я уже позабочусь...

Заявление капитана о свадьбе имело свое основание: он немало перевез девушек с юга на острова, но ни разу не отвозил в обратном направлении.

— А теперь дайте взглянуть, что вы там нарисовали... — сказал он напоследок. Я отступила назад, испытывая знакомые художникам-портретистам страдания, когда модель впервые смотрит на свой портрет. Обычно я уходила из комнаты, предоставляя Маргарет выдерживать всю тяжесть удара. Стоя за углом, я подслушивала поток критики, не стесненной моим присутствием. Но здесь отступать было некуда, и удар я приняла сама.

Я не сомневалась, что капитан воскликнет: «Пресвятая тетка, кто это тут нарисован!» — или же проворчит: «Сходство полное», что тоже никак не может считаться похвалой художнику. Но дело в том, что мне никогда раньше не приходилось рисовать шотландца капитана. Не меняя обычного мрачного выражения лица, он посмотрел и ничего не сказал. Мы молча ждали, не осмеливаясь даже преподнести ему в дар написанный портрет. В конце концов он перестал смотреть на свое изображение и занялся приготовлением какой-то смеси, назвав ее «специальный коктейль „Матарам“». Он налил его только нам и с еще более мрачным видом сказал:

— Теперь я вас считаю членами моей семьи...

Некоторое представление о том, что это была за семья, можно получить из рассказа о причинах, по которым капитан не налил коктейля и себе. Мы узнали эту историю несколько дней спустя, когда, уже приближаясь к островам и свесившись через борт,

пытались сфотографировать кита (вероятно, это был дельфин). Тут подошел к нам капитан и спросил, хотим ли мы посмотреть его собственную плантацию. При этом он указал пальцем на запад, где буквально из самого моря торчали три кокосовые пальмы. Под ними не было никакой земли, да и вокруг не видно было островов. Несомненно, пальмы росли на каком-то рифе, скрытом от наших глаз сильным приливом.

Рассказ о том, как сюда попали эти пальмы, был объяснением воздержания капитана от спиртных напитков.

Несколько лет назад, на обратном пути из островного рейса, его судно наскочило на этот риф. Груз парохода состоял из копры и кокосовых орехов; при аварии несколько орехов застряли на рифе, пустили корни, и через несколько лет выросли эти три пальмы. Так и возникла «капитанская плантация».

В момент аварии вахту нес не капитан, а его помощник, и капитан, следовательно, не был виноват. Но если пароход терпит аварию, то вся ответственность ложится на капитана; он автоматически «подает в отставку», и его мореходная карьера считается оконченной. Но этот грубоватый моряк был горячо любим своей «семьей», состоявшей буквально из всех белых обитателей островов, которых он обслуживал на протяжении многих лет. Они подали петицию за подписями всех без исключения мужчин и женщин, в которой просили пароходную компанию оставить капитана на прежней должности. Пароходная компания была вынуждена удовлетворить просьбу, которая была замаскированным требованием клиентуры. Но чтобы никто не мог приписать аварию природной склонности шотландца к шотландскому виски, капитан с тех пор при исполнении служебных обязанностей не пил ничего спиртного; даже свой умеренно крепкий «специальный коктейль „Матарам“».

Так выяснилось, что мы нарисовали портрет любимца здешних островов, который принял нас в состав своей большой семьи, чествуя это вступление бокалом коктейля «Матарам».

Обычно когда решают «спрыснуть» портрет, то пьют за здоровье художника, независимо, заслуживает он того или нет. Но сегодня, когда капитан стоял перед портретом молча, с пустыми руками, мы подняли тост за него. Мы выпили за здоровье шотландцев вообще, так как принадлежали к одному клану.

— За встречи в открытом море! — сказали мы.

— Только там мы и будем встречаться… — ответил капитан.

— В Шотландии мы не можем прокормиться… — сказали мы. — Там художники умирают от голода…

И внезапно под суровыми бровями капитана блеснул теплый, дружеский взгляд. Такой взгляд нам приходилось — встречать не раз.

Во всем мире ощущаешь теплое отношение к художникам. Мы сталкивались с ним на протяжении всей нашей поездки по Меланезии. И это было нечто гораздо более хорошее, чем обычное сострадание к непрактичным существам. Мы видели, как менялось выражение незнакомых нам лиц и какой они проявляли живой интерес, когда узнавали, что мы художники. По их мнению, мы всегда нуждались в помощи. С исключительной тактичностью предполагалось (и это почти всегда соответствовало истине), что мы нуждаемся в самом необходимом. Не желая льстить самой себе, я утверждаю, что расположение общества к художнику вызывается не его личным обаянием и не размерами его дарования, а тем, что общение с людьми искусства пробуждает в живых существах лучшее, что свойственно человеку. Ничего подобного не случается при встрече с людьми других профессий. И ничто другое не позволило бы нашей экспедиции, не имевшей ни

гроша за душой, забраться в такую даль, как Соломоновы острова.

Наш капитан, несколько смутившись неожиданным проявлением человечности, снова зарычал:

— Теперь вымойте ваши грязные руки и приведите себя в порядок к обеду… Вы похожи на трубочистов.

Не успели мы дойти до лестницы, как до нас донеслось продолжение капитанского рева:

— И потрудитесь надеть чулки! Я не могу позволить на моем пароходе девушкам ходить в полуголом виде…

— Но мы не можем, — отозвались мы, — у нас нет чулок.

И это было правдой: последняя пара чулок безнадежно спустила петли еще две недели назад.

Внизу, у себя в каюте, Маргарет и я продолжили дискуссию по малярийно-хининному вопросу. Сообщение капитана о том, что отравление хинином ведет к потере зубов, было лучшим для меня доводом к прекращению приема хинина. Кроме того, тратя на приступы малярии только часть времени, я успею сделать больше, чем если из-за глотания хинина буду ходить все время с мутной головой. При разнообразии мнений окружающих мы должны решить вопрос сами. И мы пришли к выводу, что должны решить проблему для всех будущих экспедиций, превратив себя в подопытных морских свинок. Маргарет согласилась ежедневно глотать хинин, а я с этим делом покончила.

О результатах вы узнаете в дальнейшем.

Глава третья



Все, что должно было сделать наше путешествие на «Матараме» выгодным: семьдесят с лишком белых пассажиров, самая любезная в мире благожелательность окружающих, добряк шотландец в качестве капитана, портретом которого он один не восхищался, — все это (независимо от упомянутых мною естественных трудностей) практически превратилось в ноль, настолько пассажиры были перепуганы событиями на Малаите.

Начать повествование о событиях можно, лишь познакомив читателя с жителями Малаиты. Мы сами знали их только по книгам, когда, ничего не подозревая, погрузились на борт «Матарама». Такое признание не является выигрышным в рассказе о событиях, едва не превративших в бессмыслицу весь наш замысел путешествия по Меланезии; но, по крайней мере, мы поделимся с читателем скудным запасом знаний, которым владела экспедиция.

Малаитяне, как и прочие обитатели Соломоновых островов, являются меланезийцами, а следовательно, должны были стать моделями для наших зарисовок. Готовясь к экспедиции, мы узнали, что между малаитянами и их соседями со смежных островов существует некоторая разница. Малаитяне более

энергичны и подвижны, а потому считаются на островах наилучшими рабочими кокосовых плантаций.

Возможно, что эта разница объясняется отдаленной примесью полинезийской крови.

Остров Малаита расположен в восточной части Соломоновых островов и находится по соседству с правительственной резиденцией, но его внутренние районы остались неисследованными и не контролируются властями. На Малаите проживает от шестидесяти до ста тысяч человек, не считая тех, кто разбросан по плантациям других островов.

Вот все, что нам было известно. Но все прочитанное ни в какой мере не могло сравниться с тем, что мы услышали о малаитянах на второй день нашего путешествия. Всего лишь неделю назад малаитяне горной деревушки Синаранго уничтожили целую группу представителей администрации.

Случай в Синаранго не имел к нам никакого отношения, поскольку деревушка расположена в глубине острова, куда мы не имели нужды, а тем более желания отправиться. Убийство отдельного человека не могло взволновать ни островное начальство, ни белых плантаторов, ни даже редакции южных газет. Одиночные убийства белых людей происходят в Меланезии повсеместно, но вовсе не так часто, как в цивилизованных странах., Массовость совершенного убийства — вот что взбудоражило всех и вся; ничего подобного не происходило на островах южных морей на протяжении многих лет.

Маргарет и я не читали перед отъездом ни одной газеты и узнали о новостях, когда погрузились на «Матарам», а наши драгоценные доллары уже переместились в карман пароходной компании, которая, право же, могла предупредить о происходящем. Когда известия о событиях дошли до редакций газет, то обычно сдержанная австралийская пресса в сильных

выражениях писала о «резне», «восстании» и о том, что Соломоновы острова находятся в «состоянии войны».

Между тем острова, к которым мы приближались, видимо, действительно вступили в войну. Австралийский крейсер «Аделаида» направился в район островов, а местные плантаторы в ожидании прихода крейсера организовали волонтерские сухопутные силы. Это объяснялось тем, что здесь не существует постоянных вооруженных сил, а местная полиция по иронии судьбы целиком состоит из малаитян. Немедленно вслед за нами вышел в плавание угольный транспорт, представлявший собой топливную базу «Аделаиды», а на борту нашего «Матарама» находился морской офицер, опоздавший к отплытию крейсера. Присутствие офицера вызывало общие разговоры на тему, что будет делать в районе боев художественная экспедиция. Ответить на это не мог даже всезнающий капитан «Матарама», которому за двадцать пять лет плавания по островам не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией.

На борту «Матарама» царила своеобразная атмосфера, которую мне трудно описать, так как она британского, а не американского происхождения. Создавшееся у нас впечатление в гораздо большей степени объясняется нашими ощущениями, чем фактически услышанным. Там, где мы, американцы, подняли бы шум и бесконечные разговоры, как это мы делали во время собственных и чужих войн, британцы плотно сжали губы над фальшивыми зубами и выжидали. Но и они все время принюхивались, чем пахнет, и слушали все сообщения по радио, а за обеденным столом обменивались краткими комментариями, более похожими на вопросы, после которых наступало выразительное молчание и рассматривание друг друга. Видимо, они не понимали, какой будет дальнейший ход событий.

Возможность восстания малаитян не была для них чем-либо неожиданным. Слухи об этом циркулировали на островах много лет. Для всех было ясно, что одним коротким ударом туземцы могли бы избавиться от европейцев. Малаитяне были разбросаны по островам: они работали домашней прислугой, матросами на моторных и парусных судах. Группами по пятьдесят — восемьдесят человек они трудились на плантациях под наблюдением одного, редко двух белых надсмотрщиков. Плантации расположены далеко одна от другой, иногда на расстоянии двух-трех часов езды на лодке, и эта лодка — единственное средство спасения для белых людей — находилась в руках матросов-малаитян.

Не встретив пока ни одного малаитянина, мы все же поняли, что у них нет никаких оснований любить своих белых хозяев. Рассказанные нам капитаном бесконечные истории об индивидуальных столкновениях, мошенничествах и организованной системе издевательств — все это я проиллюстрирую потом на основании собственного опыта. Энергия и предприимчивость малаитян создавали ряд осложнений и в нормальное время. Сейчас для нас было загадкой, как будут вести себя малаитяне в связи с выступлением их сородичей в Синаранго.

По мере нашего приближения к Соломоновым островам получаемые по радио сообщения становились все более волнующими. Мы узнали, что плантаторы и миссионеры эвакуировали остров Малаита, а женщины покинули даже другие острова и перебрались в Тулаги. Правительственная администрация перебросила на отдаленные плантации оружие и боеприпасы. Все, кто мог оставить свою плантацию на попечение помощника, вступили в волонтерскую армию. Затем пришло сообщение, что крейсер «Аделаида» подошел к восточному побережью острова Малаита. Вслед за этим мы узнали, что правительственное судно «Ренанди»,

превращенное в военный транспорт, ожидает встречи с «Матарамом», чтобы затем направиться к острову Малаита.

«Матарам» прибывал вечером, и мы — охотники за головами — хотя и появились с опозданием, но горели нетерпением совершить набег на острова южных морей.

Глава четвертая



Была ночь, пурпурно-голубая безлунная тропическая ночь...

Когда в темноте показался Тулаги, нас охватило не сравнимое ни с чем волнение ночного прибытия в незнакомый порт: кто знает, что предстанет перед нами с рассветом! Сейчас мы видели перед собой неясные очертания острова, поблескивавшего далекими огнями, похожими на огни рождественской елки. Где-то внизу огни сливались в сплошную массу света, которая мало-помалу распадалась на отдаленные фонарики, пляшущие на фоне темной воды и освещающие неясные очертания небольших лодок. Затем повсюду возникли силуэты людей, послышались свистки, возгласы и крики, сливавшиеся в протяжный вопль — самый волнующий звук на островах, которым встречают прибытие судна.

«Матарам» бесшумно, с остановленными машинами, впервые умолкнувшими с момента захода в Брисбен, плавно и торжественно приближался к берегу, притягивая к себе толпу маленьких лодок, стремившихся навстречу, как танцоры на танцевальную площадку.

Послышался грохот отдаваемого якоря, шум спускаемого трапа, дробный топот ног пассажиров,

бросившихся к сходням, и стук лодок, ударявшихся внизу о корпус «Матарама».

Мы вдыхали аромат земли, доносившийся к нам дуновением теплого бриза. Пахло сладко, как будто от таза с кипящим вареньем. Стучали по ступенькам трапа проворно бегущие ноги, слышались возгласы, крики и смех. Нас оттеснили в сторону.

Вдруг нас кто-то сзади обнял; это была молодая миссис из Руавату, та самая, что везла своего малыша, спешившая познакомить нас со своим высоким, молодым мужем.

— Я еду домой! — взвизгнула она с таким выражением, будто это было для нее неожиданностью. — Когда «Матарам» прибудет на Гвадалканар, обязательно сделайте остановку…

После этого она исчезла.

Что она подразумевала под словами «сделайте остановку»? Зайти к ней на чашку чая? Это очень любезно, но не слишком ли далеко для чашки чая, если мы будем вынуждены пережидать события в гостинице здесь, в Тулаги?

Кто эти одетые в защитную форму люди, ринувшиеся в пароходный бар с поспешностью, словно там возник пожар? Наверное, это и есть «строители империи». А что творится на нижней палубе? Вероятно, там тоже пожар. Что это за толпы темных голых людей, карабкающихся на борт парохода и издающих воинственные кличи команчей? Как все это похоже на начавшееся восстание. Может быть, это и есть малаитянская война?

Мы оторвались от созерцания нижней палубы и оглянулись: мы были одни. Кругом слышался отчаянный шум, но рядом с нами не было живой души, и мы решили спуститься на нижнюю палубу, чтобы узнать, как обстоит дело с войной. Но тут появился наш буфетчик с патефоном в руках, а за буфетчиком шагал еще человек с пачкой патефонных пластинок. Буфетчик завел

патефон, поставил пластинку и удалился, оставив музыкальную часть на попечение своего помощника. Потом появился капитан, но на этот раз не в накрахмаленном кителе. На шее капитана висело, как у спортсмена, купальное полотенце, а его мощный корпус охватывал синий прорезиненный передник на манер кухонного.

— Где же малаитянская война? — спросили мы.

— Война? — рявкнул он, сотрясаясь, как гора студня. — А вы не заходили в бар? Подождите немного, война явится и сюда. А пока разрешите вас пригласить на танец... — И, не снимая полотенца и передника, он закружился со мной в танце. Не успели мы протанцевать поперек палубы, как я поняла назначение прорезиненного передника. Не будь его, я была бы вся в поту, стекавшем с шарообразного капитана, а так я ограничилась только прикосновением его мокрых рук. До этого момента я не считала сегодняшнюю ночь чрезмерно жаркой, но сейчас пот ручьями лился с нас обоих. Он лился с головы, капал с подбородка, бурными потоками несся по груди и спине, стекал по ногам на мои полотняные туфли, которые очень скоро промокли насквозь, а ноги распухли и вылезали из туфель.

От капитана воняло потом (я не могу подобрать более мягкого определения), и время от времени он останавливался, вытирал подбородок и шею промокшим полотенцем, и мы снова вальсировали, задыхаясь и обливаясь потом.

Это было установленное правилами открытие капитаном вечернего бала на пароходе, независимо от того, идет ли война или воцарился мир. К моменту, когда я успела промокнуть насквозь, наша палуба стала наполняться людьми в защитной форме. Маргарет, в пропотевшем вдоль всей спины платье, разбрызгивая капли пота, танцевала в объятиях рослого Нэнкервиса. При следующем круге я на мгновение увидела лицо

Маргарет. Оно выражало острую муку, так как на этот раз Маргарет была в объятиях какого-то джентльмена в коротких брюках, который вертелся волчком. Я уверена, что никакие двуногие существа мужского пола не могут вытворять то, на что способны австралийцы, вдохновленные звуками танцевальной музыки.

Потом наступил мой черед. Мы были двумя единственными противниками этой армии грубо толкающихся, сильно потеющих и нагрузившихся пивом партнеров. Половину этой армии мы победили; вторая половина благоразумно избежала поражения, укрывшись внизу, в баре, где наливалась ледяным пивом, которое отсутствовало шесть недель, до момента прибытия «Матарама».

Конечно, никто из волонтеров не мог рассказать о событиях больше, чем мы знали по радио. Более того, никто из них не принимал событий всерьез. Возможно, что все войны таковы: чем ближе к ним находишься, тем меньше в них обнаруживаешь романтики. А здесь, на островах, все напоминало вздорное содержание опереток Джильберта и Салливена. Местные плантаторы со всей серьезностью сформировали волонтерскую армию, так как, по мнению плантаторов, здешнее начальство действовало слишком медленно и не торопилось просить центральную администрацию на островах Фиджи о присылке воинских частей для усмирения малаитян. (Обо всех волнениях туземцев надлежит доносить центральной администрации на островах Фиджи. Здешнее начальство не склонно к посылке донесений, портящих служебную репутацию губернатора, который может занимать этот политический пост сколько угодно лет, если имеет хороший послужной список и соответствующие приятельские связи в австралийских министерствах. Если же какой-нибудь администратор позволит туземцам убивать за один раз больше одного белого,

репутация будет испорчена. Что касается организации плантаторами собственной армии, то это был неслыханный скандал.)

Начальство отомстило плантаторам на свой лад, заставив волонтеров заниматься строевой подготовкой под палящим солнцем по восемь часов в день. Несомненно, местное начальство было уверено, что вместе с потом у волонтеров испарится всякое желание дальнейшего пребывания в составе волонтерской армии.

Но волонтеры претерпели все мучения и в конечном счете выхлопотали для себя армейский оклад содержания, паек и собственного командира. Они потребовали (и ухитрились получить) нечто не предусмотренное никаким армейским уставом — по кварте хорошего виски на человека в неделю, которое считалось лекарством против малярии.

Именно сегодня был день выдачи противомалярийного довольствия, а потому волонтеры считали войну с малаитянами вздором и ерундой и собирались через неделю вернуться на свои плантации, неся на своих штыках скальпы убитых врагов.

— А каковы сейчас отношения между надсмотрщиками и малаитянами-рабочими на оставленных вами плантациях? — спросила я своего задыхающегося партнера. Он взмахнул головой, как лошадь хвостом, чтобы стряхнуть с себя капли пота, и ответил на пиджин-инглиш:

— О, ничего… Они смотрят за ними как следует, по всей строгости…

Когда я направилась к Маргарет и капитану, было уже около полуночи. Палуба опустела, Нэнкервис исчез, а Маргарет сидела на поручнях и, сняв туфлю, рассматривала поврежденный партнерами носок.

Правительственный транспорт «Ренанди» стоял почти рядом с «Матарамом», и его палуба была запружена нашими воинственными партнерами.

— Нэнкервис собирался примкнуть к волонтерам. Где он сейчас? — спросила я у Маргарет.

— Не знаю, он…

Но тут на «Ренанди» прозвучал колокол, а «Матарам» ответил ревом гудка, способным разбудить мертвых в потустороннем мире. После этого поднялся свист, вой, рев, и «Ренанди» тронулся в поход на остров Малаита.

Внизу, вдоль поручней нашей грузовой палубы, виднелись черные, перегнувшиеся через борт фигуры голых людей, повернувших головы в сторону уплывающего «Ренанди».

Эти люди молчали… Только на нашей палубе хрипел задыхающийся патефон. Потом и он замолчал. И лишь огни на военном корабле подмигивали кому-то на затемненной оконечности острова.

Необъятный темно-темно-синий купол неба дремотно моргал глазами звезд мирному острову, медленно гасившему елочные огни.

— Все! — сказали мы с удивлением.

— Да, все… — согласился капитан. — А что вы намерены дальше предпринять?

— Мы думали переночевать на «Матараме», а после завтрака переехать в город и поселиться в гостинице.

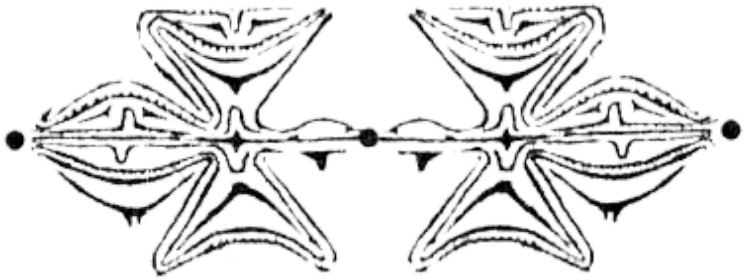
— Гостиница переполнена дикими животными… — сказал капитан. — Вы там не выдержите. Но если вы твердо решили туда перебираться, то это надо делать сейчас. Утром «Матарама» здесь не будет. Сегодня ночью мы снимемся с якоря и уйдем в Гувуту. На следующий день мы будем в Су-У на Малаите, а потом в Биренди на Гвадалканаре…

— Вы говорите, что пароход идет на Малаиту? — прервали мы капитана. — Разве вы все-таки туда отправитесь, несмотря на…

— Мы будем грузить копру в Су-У, как обычно… — услышали мы истинно британский самоуверенный ответ.

— Тогда и мы отправляемся на остров Малаита, — заявили мы капитану.

Когда мы повернулись, чтобы направиться в каюту, мне показалось, что началось хорошо знакомое нам сотрясение. Для проверки я посмотрела на капитана, успевшего надеть свой китель. Он не был застегнут, и поэтому я не увидела привычного глазу капитанского сотрясения.



Глава пятая



Прибыв на следующее утро в Гувуту, куда пароход зашел по пути на Малаиту, мы пережили, насколько я понимаю, наиболее обычную на этих «людоедских островах» форму близости к насильственной смерти.

Впервые проснувшись ранним утром на Соломоновых островах, я ощутила себя на грани беспамятства и смерти. Мне понадобилось не менее четверти часа, чтобы убедиться в том, что я жива. В моем мозгу мелькало смутное зрелище казни дикарями человека, которого намазали кокосовым маслом и привязали на солнцепеке к столбу, где его приканчивали муравьи. Я ясно ощущала терпко-сладковатый запах кокосового масла, чувствовала укусы муравьев, нестерпимую жару, слышала четкий бой барабанов и восторженные крики дикарей.

Это зрелище возникло в результате прочитанной книги, описывавшей подобную казнь на Онтонг-Джаве[12]. От одного воспоминания я лишилась возможности шевелить пальцами, которые от жары и вчерашних танцевальных упражнений распухли до размера банана.

Открыв глаза, я увидела врывающийся сквозь иллюминатор поток ослепительного солнечного света, в котором кружились и жужжали сонмища насекомых. Это были не москиты, а кокосовая мошкара, неизменно

сопутствующая всякой погрузке копры. Спящая Маргарет, вся покрытая испариной, корчилась в кошмарном сне, по-видимому тоже съедаемая «муравьями».

Но даже теперь, когда я окончательно проснулась, до меня доносились дикие и воинственные крики. Пошатываясь, я подошла к иллюминатору и схватилась за раму, чтобы попытаться высунуть голову наружу. Раскаленная солнцем рама иллюминатора немедленно меня обожгла. Ослепленная солнцем, я с минуту ничего не видела, а потом сумела рассмотреть, что мы стоим против стены громадного склада, построенного из серого волнистого железа.

Нестерпимая жара, отраженная от крыши, струилась кверху потоками воздуха и делала неясными на фоне ослепительно белого раскаленного неба очертания растущих позади склада кокосовых пальм. А весь шум, грохот барабанов, исступленные выкрики и топот ног — все это было здесь, рядом со мною, между товарным складом и нашей грузовой палубой.

Огромная черная дыра грузового люка зияла на палубе нашего парохода, а на берегу виднелись широко распахнутые ворота склада. Между этими чудовищными черными отверстиями двигалась живая двойная цепочка темно-коричневых «муравьев» ростом с человека. Выбегая из черной пасти склада, они сгибались пополам под тяжестью мешков копры, весивших больше самого грузчика. Быстро взбежав по сходням, рабочий сбрасывал мешок на палубу, издавал широко раскрытым ртом дикий возглас, выпрямлялся и превращался из «муравья» в человека. Затем он сбегал вниз по деревянному трапу, барабаня по нему своими большими плоскими ступнями, и бежал к складу.

Закрыв глаза, я могла принять этот топот за дикую дробь барабана.

Вот они, появившиеся наконец перед нами меланезийские модели, ради которых мы пересекли полмира! Они работали обнаженными, только бедра были обмотаны ситцевой повязкой. Я не различала отдельных лиц и их особенностей. Передо мной переливался двусторонний поток худощавых людей с огромными лицами, казавшимися еще больше из-за необычайного размера изощренно накрученных причесок. Перед моими глазами струилась волнистая рябь человеческих тел, покрытых потом, кокосовым маслом и отливавших цветом шелковистой хны. Когда они пробегали мимо меня, солнце играло на их мускулах с такой же выразительностью, как оно это делает на мышцах породистых лошадей. Никакие белокожие не смогли бы создать столь чудесного зрелища.

В пути мы достаточно наслышались о лени этих «черных скотов», но я нигде и никогда не видела, чтобы люди какого-либо другого цвета кожи работал и с такой быстротой, как эти впервые увиденные мной меланезийцы. (Часть этого «энтузиазма» в работе надо отнести к некоторым особенностям погрузки судов. Дело в том, что пароход обязан соблюдать расписание, независимо от количества предъявленной к отправке копры. Поэтому чем больше копры надо погрузить, тем быстрее должны работать все завербованные на плантацию рабочие. Самый факт прихода парохода вызывает среди туземцев такое же возбуждение, как и у белых людей.)

Положив купальный халат на раскаленную раму иллюминатора, я попыталась возможно дальше высунуть голову. От жары и волнения я еле стояла на ногах, удерживаясь подбородком за раму. Вдруг раздался взрыв хорошо мне знакомого голоса:

— Эй, вы… Разве я не запретил вам показываться на солнце без тропического шлема…

Мне оставалось только кивнуть в знак согласия.

И как только капитан не понимал разницу между мной и собой! Он лыс, а у меня на голове волос ничуть не меньше, чем у любого туземца, а в прочитанных нами книгах нигде не описывался случай гибели туземца от солнечного удара.

Вопрос о тропическом шлеме имеет свою историю, возникшую еще в Сиднее, когда Маргарет и я совершали немудрящие закупки снаряжения для нашей экспедиции. Тогда я решительно заявила, что в мыслях не имею стать похожей на изображение туристки, восседающей на верблюде, а потому не хочу шлема (о том, что шлемы очень дороги, я умалчиваю). Но Маргарет подобный образ был по душе, и она приобрела шлем, напоминавший по изяществу гусеничный танк. Поля этого шлема в дюйм[13] толщиной изгибались книзу Сзади шлем был длиннее, чтобы защищать верхнюю часть позвоночного столба. Когда Маргарет надевала эту прелестную шляпку, то определить, в какую сторону она намерена двигаться, можно было, только посмотрев на положение ног обладательницы шлема. Только улегшись на пол, можно было увидеть сияющее от радости лицо Маргарет в убийственно-зеленом освещении, отражаемом зеленой подкладкой полей шлема. Этот цвет выбран для одновременного отражения вредных для нервов инфракрасных лучей и поклонников мужского пола. В отличие от всякой любой шляпы, для шлема не существует положения, при котором он может быть к лицу даже такой хорошенькой девушке, как Маргарет. Теперь, когда было ясно, что мы обе не можем ходить рядом с подобными монументальными сооружениями на головах, именно сейчас капитан решил преподнести мне тропический шлем.



Позже мы увидели нашего капитана с непокрытой головой, игравшего в теннис на нестерпимом полуденном солнце. Но это случилось позже.

— Возьмите шлем и спрячьте в него голову... Кроме того, разве вы не слышали удар гонга, зовущего к завтраку? Побыстрее только... У меня сидит дикарь, с которым я хочу вас познакомить...

Приглашенный капитаном к завтраку «дикарь» оказался управляющим плантацией Гувуту, и начало завтрака было посвящено любимому на островах развлечению — напусканию страха на новичков.

Оба старожила начали разговор об опасности солнечных ударов, после чего перешли к малярии, черной лихорадке, нарывам и язвам (которые хотя и различны между собой, но и те и другие выглядят совсем как сифилис), москитам, аллигаторам, холостым мужчинам и глистам. Затем темой обсуждения стали людоеды и охотники за скальпами, а в заключение появилась неизбежная тема о восстании на острове Малаита, что заставило наших собеседников сделаться очень серьезными.

Что-то действительно произошло накануне нашего прибытия, или, по крайней мере, появились слухи о каких-то событиях. Рассказывали о том, что один из плантаторов вынужден был бежать со своей плантации, и до настоящего времени его лодка не прибыла в Тулаги. Таковы были голые факты, достигшие восточных островов архипелага.

— Интересно… — вымолвил капитан.

— Очень… — сказал его собеседник.

С трепетом в душе мы встали из-за стола и твердо решили приступить к работе.

По расписанию пароход должен был все утро стоять под погрузкой, и управляющий Гувуту предложил нам нарисовать одного из его рабочих, который, по его мнению (тут он бросил быстрый взгляд на капитана), будет распрекрасным дикарем. Работать надо было в доме управляющего, куда он обещал прислать натурщика, как только тот отмоется от грязи.

Мы направились к дому управляющего, но грозный окрик заставил меня вернуться на пароход за пробковым шлемом; этому предмету было суждено стать поводом к войне между капитаном и мною.

Итак, мы ступили на землю одного из Соломоновых островов. Острова мы почти не увидели, так как длинная извилистая дорожка, ведущая к дому управляющего, поросла по краям кустарником, над которым плотной

стеной стояли полчища кокосовых пальм. Дорожка была покрыта ослепительно белым коралловым песком, на котором причудливо плясали синие тени качающихся ветвей. В сочетании с жарой это вызывало полное ощущение морской качки. Внешний вид кустарниковой изгороди был еще менее успокоительным: перед нами были лимонно-желтые, перемежающиеся с темно-зеленым стены, покрытые кричащими пятнами ярко-алого цвета. Добрую четверть мили тянулся удушливый тоннель, покуда мы дошли до дома управляющего. Описывать дом нет никакой нужды; он в точности такой, какие строят в странах умеренного климата, с соблюдением подробностей, на которые способны только тоскующие по родине невольные обитатели острова.

В доме нас встретила хозяйка Гувуту, которая принимала гостей — беженцев с острова Малаита.

Было всего лишь девять часов утра, но гости сидели за маем, не за ледяным чаем, а за хорошим, крепким, обжигающе горячим английским чаем.

— Вы обязательно должны выпить чаю… — сказала нам хозяйка. — Вы должны пить больше жидкости. Пройдя от пристани до дома, вы израсходовали добрую кварту жидкости, находившуюся в нашем организме. Увидите сами, как вы похудеете, если останетесь здесь надолго. Поэтому кушайте больше, хотя бы через силу…

Мы выпили чаю и были втянуты в разговор о восстании малаитян.

Оба гостя (одним из них была жена миссионера из Су-У, то есть порта, куда мы сейчас направлялись) были в восторге, получив возможность рассказать нам об этих ужасных язычниках-малаитянах. Пятнадцать лет подряд она и ее супруг трудились над спасением заблудших малаитянских душ, и что же… посмотрите: они были вынуждены бежать с острова…

— Но что случилось? Неужели туземцы в самом деле напали на вас? — спросили мы с надеждой.

Вместо ответа раздался общий взрыв негодования: малаитяне дерзки, неверны, развращены, глупы, ленивы, коварны, неблагодарны и обладают всеми пороками, известными в мире.

На протяжении всего разговора двое слуг-малаитян в безукоризненно чистых набедренных повязках с синей каймой и вышитыми на них монограммами бесшумно разносили чай. Ни один волосок не выбивался из их шарообразных причесок, украшенных ярко-красными цветами. У них были чистые, красивые руки с длинными, сухими, сужающимися к концам пальцами, — как у эстетов или у тех, кого мы хотим назвать эстетами (у большинства встреченных мною любителей изящного были толстые короткие пальцы). Тщательно обрезанные, но необычайно продолговатые ногти были бледно-лилового цвета (поскольку под ногтями отсутствует пигмент). И эти руки обращались с хрупким чайным фарфором с изяществом, достойным китайской поэзии.

Пока мы глотали «цивилизованный» кипящий чай, в наших ушах непрерывно звучали слова сурового осуждения, и к одиннадцати часам утра мы были готовы поверить, что туземцы не заслуживают доверия, и причиной тому было отсутствие натурщика.

Когда при прощании мы поднялись с места, Маргарет пошатнулась.

— Вы, очевидно, принимаете хинин? — осведомилась хозяйка. — Когда ваша кровь станет менее густой, вы будете чувствовать себя лучше. Потерпите немного…

Эта милая женщина напомнила нам мать, отправляющую детей в школу.

Обратно мы шли по тому же самому тоннелю. Солнце стояло в зените, тени на песке врезались неподвижной инкрустацией в белый коралл. Мы шли медленно, нам некуда было торопиться, поскольку еще был слышен

отдаленный шум ведущейся на пристани погрузки. В воздухе ощущался сильный запах, напоминающий запах свежей крови. Я стала нюхать цветы, чтобы разгадать его происхождение. Яркие цветы ибиска совсем не пахли, а обычно сильно пахнущий красный жасмин и гардении издавали совсем слабый аромат. В каждом цветке копошились муравьи. Нагнувшись, чтобы понюхать надломленную гардению, я подумала о том, что будет, если… если все эти пароходные грузчики, полсотни рабочих этой плантации и эти слуги с изящными руками, вся эта сотня-другая туземцев бросит оземь мешки с копрой и подносы с чайной посудой и восстанет? Что мы тогда будем делать? Я остановилась и прислушалась: кругом была тишина, ни единого звука. Очевидно, «Матарам» закончил погрузку, и наступило безмолвие, подобное безмолвию безлунной ночи в пустыне.

— Нам надо поторапливаться… — начала было Маргарет, но вдруг замолкла. И в мертвой тишине, разрезая Вселенную, раздался человеческий вопль с завыванием на одной последней ноте. Так продолжалось секунду-две, а может быть, и дольше. Потом звук замер, и остался только звенящий стон в наших ушах. Следующее, что мы услышали, было еще страшнее: это был топот бегущих нам навстречу ног…

Если бы мое творческое воображение художника должно было создать образ дикаря, приготовившегося к убийству, то я не смогла бы создать ничего более убедительного, чем явление, возникшее перед нами на повороте тропинки. Это был настоящий дикарь, изумившийся встрече с нами не менее, чем мы его внешности. Он остановился, тяжело дыша и вытаращив на нас глаза. Его гигантский рот был широко раскрыт, а вывернутые наружу ноздри раздувались над длинным белым, продетым сквозь нос обломком кости. Белки его черных глаз дико вращались на фоне огромного

широкоскулого лица, вымазанного белой краской. Весь этот страшный вид дополнялся привязанными к рукам и ногам трепещущими ветками кустарника и стиснутыми в руке длинными острыми пятифутовыми копьями.

Покрываясь холодным потом и цепенея от ужаса, стояли мы — Маргарет и я — перед лицом нашей судьбы и, опустив головы, ожидали печальной развязки. Дикарь тоже стоял…

Когда у меня хватило решимости поднять голову, я увидела, что он стоит на том же месте, по-прежнему сверкает глазами и тяжело дышит, но почесывает голову концом одного из своих страшных копий. Такое занятие сильно поколебало наши печальные предположения, ибо никто не будет заниматься мирным почесыванием головы перед тем, как совершить ужасное убийство.

Однако туземец упрямо стоял посередине тропинки и предоставлял нам две возможности: либо отступить, продираясь сквозь живую изгородь, либо уверенно пройти мимо него, но тогда бы он очутился у нас в тылу. Вопрос за нас решил гудок «Матарама», доказывавший, что на пароходе остался кто-то, способный издать гудок, который заставил нас троих подпрыгнуть и опрометью броситься к пароходу. Мы неслись во всю прыть, а за нами, испуская вопли, бежал устрашающий каннибал. Правда, он бежал в почтительном отдалении, но сопровождал нас до самого берега. Подбежав к «Матараму», мы увидели вполне живого капитана, который, как на грех, стоял на мостике и смотрел на нас. Даже на порядочном расстоянии мы без труда увидели, что капитан сотрясается от смеха. И это сотрясение продолжалось до тех пор, покуда мы явились к обеду в кают-компанию.



— Эх вы, неустрашимые охотники за головами... — грохотал он. — Одни лишь американки способны заниматься спортивным бегом в такой стране, как эта.

Он отлично знал, что нас заставило бежать сломя голову. Теперь мы стали сюжетом для анекдота, который во веки веков будет рассказываться на этих островах: «Слышали ли вы, как две американские девицы»... и так далее.

Несколько необычным в этой истории было, что никто не собирался напугать нас — новичков в туземных делах. Наш дикий преследователь был обещанной нам моделью, и никем больше. Никто ему не приказывал

одеться подобно воинственному ирокезу. Ему было велено привести себя в порядок, чтобы попасть на «картину», а он сделал все лучшее, что, по его понятиям, было возможно. С работы его отпустили охотно, так как он был слабосильным рабочим. До того как правительство запретило убийства, такому человеку еще в детстве грозило уничтожение за физическую слабость и непригодность. Теперь, когда ему представилась возможность разукраситься для воинственных плясок, он это сделал с наибольшей тщательностью. Отсюда и этот страшный вид с отвисшими губами и вращающимися белками глаз.

Услышанный нами и разрезавший Вселенную нечеловеческий вопль тоже имеет объяснение. Здесь, в Меланезии, существует обычай отмечать окончание погрузки парохода диким ревом артели грузчиков. В следующий раз мы стали свидетелями, как после уборки грузового трапа раздался душераздирающий рев. Огромные темные лица, широко раскрытые рты, раздутые ноздри, высунутые языки, ряды ослепительно белых зубов и истерическое завывание — все это заставляло волосы становиться дыбом. Трудно преувеличить впечатление, создаваемое этим безрадостным ревом. Попробуйте спуститься в погреб и совершенно всерьез начните неистово кричать, держа перед собой зеркало. Вы почувствуете, как мороз пройдет по вашей коже.

Мораль этой главы заключается в том, что приехавший на «каннибальские» острова автор не должен сваливать причину своей гибели на здешних дикарей. Сочетание жары, вздорных рассказов, на которые падки новички, незнание туземцев и небольшая доля воображения — вот что дает пищу для досужего журналистского повествования. Если к этому прибавить возбуждение, вызванное событиями на Малаите, то станет понятным, почему мы пережили собственную

насильственную кончину по рецепту, описываемому журналистами.

На «Матараме» заканчивались последние приготовления к отплытию на Малаиту, когда прибежал один из изящных слуг и принес нам записку от хозяйки плантации Гувуту. В этой записке нам любезно предлагалось остаться в Гувуту и использовать в качестве моделей всю рабочую команду плантации. Придя в восторг от приглашения, мы помчались к капитану с просьбой задержать отправку парохода, покуда мы выгрузимся на берег.

— Плюньте вы на это… — коротко отрезал капитан.

И мы без излишних объяснений и сожалений плюнули на то, что являлось оазисом цивилизации в этой стране.



Глава шестая



Перед нами Малаита!.. Освещенный лучами восходящего солнца остров казался длинной и тонкой полоской, отделенной от нас морской гладью, на которой блики сверкали так ярко, что берег казался лишенным красок. Это было похоже на модернистски-беспредметный морской пейзаж.

Оба конца растянувшегося на сотню миль острова исчезали во мглистом месиве раскаленного неба и водной глади. Лежавший прямо перед нами берег от зазубренного верхнего края, резко выделявшегося на фоне пламенеющего неба, и до ровной прибрежной линии казался серым. Не чувствовалось ни высоты неисследованных горных вершин, ни близости белоснежного прибоя, вонзившего зубы в нижнюю губу океана и создавшего непреодолимую преграду для всех, кто попытается разгадать тайны острова.

Над горизонтом, словно гирлянда сигнальных флагов, висели кучевые облака — обычный признак того, что среди океана лежит кусок раскаленной суши. Восходящее солнце делало свое дело, и облака становились меньше и меньше, покуда растаяли совсем. Потом, когда оно осветило западный склон, пейзаж стал еще более беспредметным. На серой плоскости возникли вершины гор, но перспектива продолжала

отсутствовать, и потоки света не смогли обрисовать контуры долин.

Даже приблизившись к берегу, мы нигде не смогли рассмотреть следов пребывания десятков тысяч этих «негодяев и убийц». В густой зелени не было ни единого просвета, который указывал на плантацию или вырубку. Все было сплошной массой листвы серо-зеленого тона, без малейшего отклонения к другому оттенку, характерному для садов или возделанной земли. Не видно было дыма или хотя бы речки, придающих оживление однообразному пейзажу. Все было закрыто густой листвой, и только крайним напряжением зрения, несмотря на яркий свет утра, можно было различить полосу пальмовых деревьев, красовавшуюся как усы над белыми зубами прибоя.

Су-У целиком скрывалось под этими прибрежными пальмами и считалось более значительным местом, чем прочие, куда заходит пароход, так как имело свое название.

Перед нами возник огромный склад из волнистого железа, несколько небольших железных домиков, построенный на сваях европейский дом плантатора, несколько дальше — едва видимое здание духовной миссии, еще дальше — туземная деревушка.

Миссионеры и жена плантатора убежали в Гувуту и Тулаги, а плантатор — единственный оставшийся здесь белый — ночевал в лодке, спасая свою жизнь. От кого? От чего?

В день нашего прибытия дела шли как обычно. Полоса берега перед большим пакгаузом кишела грузчиками, а баржа, груженная мешками копры, непрерывно циркулировала между берегом и нашим пароходом.

Местом своей работы на это утро мы наметили соседнюю туземную деревушку и сразу съехали на берег. Вместо красок и холстов мы вооружились

цветными карандашами и большим свертком темно-коричневой бумаги. Такое снаряжение было легче таскать с собой, чем ящик с масляными красками, а карандашные зарисовки можно было тут же скатать в трубку и возить с собой до тех пор, покуда где-нибудь в тихой гавани мы не сумеем превратить эскизы в написанные маслом художественные композиции.

Плантатор из Су-У пошел вместе с нами. Перед этим за совместным завтраком он не произнес ни одного слова. Так же как и наш капитан, плантатор был шотландцем, но совсем иного склада. Прежде всего вдвое тоньше капитана, затем вдвое мрачнее и, наконец, злее черта на жителей Синаранго. По не совсем для нас понятной причине эта злость распространилась и на американскую экспедицию охотников за головами, а потому при переезде на берег он хранил полнейшее молчание.

Мы пытались выяснить, не может ли он обеспечить нам переводчика, который пошел бы с нами в деревню, но никакие силы не могли заставить этого джентльмена раскрыть рот. Прибыв на раскаленный берег, мы погрузили на спины наше имущество и приготовились пуститься в неизвестность без чьей-либо помощи. Но тут заговорил наш спутник и сразу превратился в средневекового рыцаря в блестящих латах.

— Подождите… — сказал он.

И мы стали ждать.

— Вам нужен тип для зарисовок?

— Да…

— Настоящий житель горных зарослей?

— Да…

— Подлинный малаитянин?

— Да…

— Это невозможно…

Но именно тут выяснилась одна совершенно исключительная возможность: в одном из прибрежных

домиков содержался взаперти житель Синаранго. Его должны были отправить в Тулаги, чтобы судить за участие в восстании малаитян.

Прочесывая районы побережья в поисках туземцев, участвовавших в недавних событиях и, может быть, рассеявшихся по берегу, полиция вчера приволокла этого парня. Был ли он жителем Синаранго, принадлежал ли он к числу «этих негодяев и убийц» — все это было неясно. Но полиция считала, что он откуда-то из тех краев и вдобавок не может объяснить свое нахождение так далеко от родной деревни.

Убийца или нет, но он был неподдельным жителем горных зарослей, и для нас этого было вполне достаточно.

Я не могу в точности определить, что именно мы ожидали от нашей будущей модели, но прибрежные жители острова Малаита уверяют, что обитатели лесов во внутренних горных районах представляют собой длинношерстных и длиннохвостых обезьян. Но ни один меланезиец не видел обезьян, так как они здесь не водятся. Следовательно, эти россказни явно белого происхождения. Легенда о хвостатых обезьянах лишний раз доказывает, как мало туземные обитатели побережья знают о своих горных сородичах.

Миссионер-этнограф Браун упоминает, что встречал горных лесных жителей, несомненно чистокровных меланезийцев, которые были светлыми блондинами. То, что мы уже знали об их «коварстве», нашедшем свое выражение в недавних убийствах, делало очень колоритной предстоящую встречу с волосатым, хвостатым и светловолосым жителем горных лесных зарослей.

В ожидании его появления мы расположились возле северного входа в пакгауз, который должен был служить нам студией. Грузчики с мешками копры на спинах пробегали мимо нас взад и вперед, и мы впервые

могли вплотную наблюдать исключительную энергию этих людей. Вблизи эти прибрежные жители выглядели несколько иначе, чем на расстоянии. Они были несколько выше ростом, чем Маргарет или я, их лица были курьезно большими, а под тяжестью мешков копры их мускулы напрягались, как у боксеров (вербовать на работу разрешается только физически здоровых туземцев, и плантаторы стараются заполучить людей в отличной рабочей форме). Нас несколько пугала непосредственная близость этих горланящих людей, но внезапно перед нами появились полицейские, приведшие нашу модель. По-видимому, наша драгоценная модель затерялась где-то между ними, так как мы видели отряд высоких, мускулистых коричневых людей. Местная полиция представляет собой сливки прибрежных деревень; в нее вербуют рослых, храбрых молодых парней. В форменных фуражках, надетых на верхушки больших вычурных причесок в стиле «помпадур», эти парни имели заносчиво-франтоватый вид. Кожаные пояса туго обхватывали талию, хотя поддерживать было нечего, кроме небольших набедренных повязок.

В отличие от остальных жителей, полицейские имеют право носить оружие, но мы увидели перед собой безоружных. Возможно, что их обезоружили, поскольку циркулировали слухи о всеобщем восстании малаитян. Потом эта мысль показалась нам смешной. Право, не стоило ходить с винтовками, чтобы конвоировать такого арестованного.

И вот он стоял перед нами, этот «убийца и негодяй»... Этот коричневый человечек был по крайней мере на голову ниже своих гогочущих тюремщиков. Он не был покрыт шерстью и отличался тщедушным, прямо девичьим телосложением.

Мы пришли в восторг от мысли, что этот жалкий карлик сумел гордо задрать нос перед одной из самых

могущественных держав земного шара. Это из-за него и его товарищей вышел в боевое плавание австралийский военно-морской флот. Это он со своими товарищами заставил сформировать целую опереточную армию из людей, бросивших работу и имущество на произвол судьбы для борьбы с ним.

Волнующая фигура, что и говорить!

Каким бы ни был этот бушмен по своей природе, на его лице не было ни малейших признаков кровожадности. Когда толпа рослых полицейских расступилась, он предстал перед нами, едва держащийся на ногах от изумления, с вытаращенными от ужаса глазами. Этот страх внушали ему мы — два неведомых белокожих создания женского пола. Посередине его рыжих волос трепетало, словно пронизываемое электрическим током, большое перо из петушиного хвоста. Точно так же трепетал длинный обезьяний хвост, представлявший собой узкую полосу мочала, охватывавшую его поясницу и свисавшую, как свиток, до самых лодыжек. Одинаковое по окраске с телом своего владельца мочало легко могло быть принято за настоящий хвост.

Маргарет протянула бушмену сигарету, считая, что это успокоит перепуганного беднягу. Он взял, повертел ее в руках и остался недвижим. Полицейские заржали изо всех сил. Подумать только, этот дикарь не знал, что табак бывает и в таком замечательном виде; табак, ради которого они, полицейские, готовы хоть на руках ходить…

Мы закурили сами, но когда Маргарет поднесла бушмену зажигалку, он отскочил в сторону, испугавшись огонька, неожиданно сверкнувшего в руках Маргарет. Полицейские снова заржали…

Презрение прибрежных жителей к их горным собратьям имеет глубокие корни, поскольку предки одних сумели оттеснить предков других далеко в горы.

Такова история большинства племен этих островов. Жители побережья давно приобрели некоторые космополитические навыки, и облеченные властью полицейские были особенно нетерпимы к своему пленнику.

Самым жестоким оскорблением для туземца является издевательский смех над ним (в деревнях это является одним из действенных методов общественного воспитания). А эти полицейские непрерывно хохотали и издевались над своей беззащитной жертвой.

Наступил единственный случай, когда я использовала преимущественное положение белого человека.

— Послушайте вы, дикари... — крикнула я полицейским. — Хватит!..

Что означало «хватит» — они не поняли, но обращение к ним со словом «дикари» возымело действие, и они замолчали.

Маргарет взяла нашего карлика за руку, отвела на место, где я намеревалась его рисовать, и усадила на пол. Он замер в одной позе и не изменил ее до тех пор, покуда Маргарет не опустила его руку для отдыха.

— Не трогайте его руками... — заметил наблюдавший за происходящим суперкарго. И, отвечая на наш удивленный взгляд, предостерегающе добавил: — Дикарь... зараза... дизентерия... язвы... все, что угодно. А главное — дикарь... Берегитесь...

Я работала, сидя на полу, всякий раз высовываясь из-за доски с прикрепленной на ней бумагой, когда мне надо было взглянуть на модель. Мальчик, а это был почти мальчик, не сводил испуганных глаз с того края доски, из-за которого, совсем как кукушка в стенных часах, выскакивала моя голова. Он не понимал, что с ним делают, но, очевидно, подозревал, что в любой момент может произойти нечто ужасное.

Он был обладателем интересной человеческой головы «длинного» негроидного типа. Волосы были довольно коротко острижены; череп позади ушей очень узкий и далеко выдавался назад, что заставляло шею казаться чрезмерно тонкой, а широкие скулы и челюсти слишком большими. Эта диспропорция была менее заметна у полицейских благодаря монументальным прическам, скрывавшим форму головы.

Мы испытывали удовольствие при виде смущения полицейских, когда я посматривала на них, сравнивая с моим натурщиком. Полицейские отлично знали, что такое фотокарточка, и очень охотно позировали перед фотоаппаратом. Но то, что для живописного портрета надо терпеть разглядывание художником, было для них чем-то новым, и, встречаясь с моим пристальным взглядом, с глупым видом отходили в сторону.

Ни у одного из полицейских не было украшений на голове, но у всех были общепринятые браслеты из травы выше локтей и ниже колен. У каждого из них в мочках ушей было по одному отверстию различной величины; в носовых перегородках также имелось отверстие, куда полагалось вставлять кусок кости, служащей украшением.

В ушах и носу нашей модели было множество отверстий, прокалывание которых, вероятно, очень болезненно. Отверстия в ушах шли от мочки уха вверх по краю, и в каждое был вставлен кусочек белого коралла. Отверстия в носу шли вокруг кончика носа, от одной ноздри к другой, и были заполнены деревянными палочками, напоминавшими формой ямайский перец.

Отверстия прорезываются остро отточенной раковиной, затем в них продевается пучок травы, препятствующий отверстиям срастаться. Эта операция, как правило, проделывается над ребенком, а количество и место отверстий соответствует обычаям той или иной деревни. Даже покинув родную деревню, туземные

полицейские редко меняют украшения, хотя иногда добавляют к эмблемам клана современную татуировку собственного имени, написанного неровными буквами на груди или руке.

Повсюду на Соломоновых островах роль карманов играет плетеная сумка. Прибрежные жители носят ее на косой перевязи через плечо, а наш маленький бушмен носил ее на шее, и она болталась вдоль спины.

Всякий обычный туземец носит в сумке самые ценные для него в мире вещи: бетелевый орех, разукрашенную орнаментом коробочку с известью и лопаточку, иногда также вампум[14] — связку кораллов и всегда запас местного табака[15]. В сумке обязательно хранится деревянный гребень и двустворчатая раковина, служащая для выщипывания бакенбардов. А если зеркало для бритья уже проложило себе дорогу в горные районы, откуда появился наш бушмен (а зеркала всегда являются предметом торговли между дружественными племенами), то оно должно лежать в его сумке. Впоследствии мы убедились в том, что зеркало является неизменным спутником каждого меланезийского мужчины. Впрочем, когда портрет был закончен, у нас появились основания сомневаться в том, что наш бушмен когда-либо видел собственное отражение.

Я подошла к натурщику, чтобы осмотреть его ярко-рыжие волосы; он без малейшего колебания позволил мне ощупать голову. Передо мной был тонкий веер жестких, как проволока, волос, идущий от одного уха к другому. Волосы, образующие веер, были подлинными, но цвет — искусственным. Легенда о светловолосых меланезийцах рассеялась как дым перед нашими глубокими знаниями подлинности голливудских блондинок. Перед нами были крашеные волосы.

Этот веер и петушиное перо впоследствии получили противоречивые истолкования различных авторитетов,

рассматривавших мой рисунок. Один из специалистов утверждал, что прическа веером доказывает совершенное ее носителем убийство по «этическим соображениям». Другой авторитет объяснил, что это доказывается не прической, а петушиным пером. Оба знатока, принадлежащие к числу «просвещенных» жителей побережья, сходились на том, что бушмен имел право на эти эмблемы мужества только после совершения убийства. Впрочем, в деревне подняли бы на смех каждого, кто не сумел бы проявить такого мужества.

Наиболее примечательным различием между нашей моделью и его полицейскими угнетателями был цвет его кожи, значительно более светлый, чем у любого туземца этой местности. Можно предположить, что жители гор принадлежат к более древнему роду, имеющему примесь полинезийской крови. Мы думаем, что более светлый цвет кожи вызывается окружающей обстановкой. Впоследствии, посетив глубинные районы острова, мы обнаружили, что обитатели горных зарослей живут в постоянном полумраке. Полное отсутствие ультрафиолетовых лучей, которых здесь никогда не бывает в избытке даже на полном солнце, а также хроническое недоедание — вот где кроется простое объяснение физической неразвитости и некоторой женственности нашего «дикаря».

Другая особенность, связанная с окружающими условиями, — коротко остриженные волосы. Жителю горных зарослей нет нужды в огромных копнах волос, служащих прибрежному туземцу защитой от солнца. Род занятий может объяснить слабую развитость торса нашей модели. Сильное развитие ног объясняется тем, что он постоянно совершает большие горные переходы, чтобы прокормиться скудной охотничьей добычей. Жители прибрежных районов, если только они не работают у белых плантаторов, добывают пищу,

передвигаясь на лодках; любое из этих занятий хорошо развивает руки. Отсюда также хорошо развитые торсы и длинные тонкие ноги.

Только увидев женщин, прибрежных и горных житель ниц, занятых одинаковой работой в одинаковых условиях (на освещаемых солнцем огородах), мы могли бы окончательно установить, существует ли разница в типах этих двух племен.

Мой первый рисунок меланезийца оказался своеобразным и редким, как и его модель.

Я закончила рисунок головы в тот миг, когда на берегу послышался убийственный вопль грузчиков, означавший окончание работ и готовность «Матарама» к отплытию. Скачущие и орущие грузчики со всех ног бросились в пакгауз, чтобы внимательно рассмотреть то, что все утро видели только мимоходом. Маргарет велела нашему испуганному бушмену встать и подвела его к портрету, возле которого восторженно визжали полицейские. Не думайте, что они восторгались портретом; они просто ржали над бушменом, который предстал перед ними в рисунке и в натуре. Больше всего их забавляло, что бушмен глуп и не узнает своего изображения. Среди всего этого шума бушмен молча, без всякого признака удивления смотрел туда, куда тыкали пальцами остальные туземцы. Создавалось впечатление, что он никогда не видел отражения собственного лица и если и заметил петушиное перо, то, видимо, принял его за другое, а не за изображение собственного.

За три часа наш натурщик не произнес ни слова; ни разу не изменилось выражение глубокого испуга на его лице. По выносливости он был лучшей моделью, которую я когда-либо видела. Мы подарили ему плитку табаку (которую он сразу узнал), но ни одного звука мы не услышали сквозь его сжатые губы, а озабоченность ни на минуту не сошла с его лица.

Овладевшие им снова полицейские подтолкнули его, окружили и увели вдоль сверкающего берега. И последнее, что мы увидели, был длинный обезьяний хвост замученного маленького малаитянина среди леса мускулистых ног рослых жителей побережья.



Глава седьмая



Длинный трепещущий хвост — последнее, что мелькнуло перед нашими глазами, но память об этом бушмене мы сохранили надолго. Для нас он остался символом духа возмущения, который вставал перед нами всякий раз, когда мы склонялись на сторону «цивилизации».

Принадлежал ли этот робкий карлик к числу пленников, которые впоследствии умерли в тюрьме Тулаги, прежде чем успели предстать перед лицом правосудия в качестве обвиняемых по делу об убийствах в Синаранго?

Свыше сотни туземцев стали жертвами облавы, для осуществления которой понадобились трехнедельные совместные действия армии волонтеров и военно-морских сил, действовавших с противоположного берега. Конечно, туземцы были рассеяны, а белые мстители сожгли их деревни, уничтожили огороды и начисто лишили туземцев продовольствия, чего в междоусобных войнах не делали даже дикари. Местное население было потрясено этим поступком, так как туземцы не в состоянии понять, как можно уничтожать продовольствие, хотя бы и принадлежащее врагу.

Семеро пленников, ожидая суда, умерли в тюрьме от тоски по дому, страха и отчаяния, вызванного лишением привычной свободы. Шестерых пленников объявили подстрекателями и повесили, заставив работавших в Тулаги малаитян присутствовать при повешении. Но так как присутствовавшие были не лесные, а прибрежные жители Малаиты, то вряд ли они поняли урок, который хотела преподать им администрация. Может быть, зрителей даже забавляли дрыгающие ноги бушменов, так как обитатели горных зарослей всегда являлись объектами насмешек для прибрежных жителей.

(Удушение не является в Меланезии чем-либо новым, но жертвами удушения всегда являлись младенцы, уничтожавшиеся по религиозным соображениям. Первый родившийся в семье ребенок закапывался в песок из тех соображений, что младенцем владеют злые духи, если оставить его в живых, он вырастет болезненным или слабоумным. Весьма вероятно, что истинные причины уничтожения младенцев, как и другие ритуальные убийства, совершавшиеся на многих изолированных островах, объясняются страхом перед перенаселением, означавшем катастрофу еще много веков назад.)

Смертная казнь через повешение является неприемлемой для дикаря формой. Будучи исключительно прямолинейным в своих действиях, дикарь сразу убивает жертву копьем, ножом или дубиной, после чего отрубает голову, язык или половые органы, чтобы приобрести храбрость, заключенную в этих частях тела. Вот и все.

Только цивилизованные умы могут оценить изысканное наслаждение, доставляемое медленным удушением надежды на жизнь у посаженного в тюрьму нарушителя законов или зрелищем, когда жертва отчаянно борется за свое освобождение, а суд угрожает ей смертной казнью.

Разве зрители переполняют залы суда не для того, чтобы насладиться агонией жертвы? Разве не с той же целью осужденному к смертной казни предоставляют несколько месяцев для мучительных раздумий о неизбежном конце? Разве не для этого его торжественно душат «гуманным способом»?

На этот раз часть пленников была приговорена к длительному тюремному заключению, являвшемуся, с точки зрения туземцев, разновидностью смертной казни. Остальных отпустили в родные горы, считая, что они умиротворены.

Неожиданно воспылав отеческой любовью к уцелевшим туземцам, администрация снабдила их некоторым количеством риса, достаточным, чтобы избежать голодной смерти до того времени, пока восстановленные после разорения огороды не начнут приносить урожаи.

После всего происшедшего на покоренной земле должны были наступить мир и благоденствие.

Но разве наступил этот мир? Была ли административной расправой устранена причина, приведшая к убийству?

Как и почему целое селение карликов, таких, каким был наш натурщик, решилось поднять восстание и уничтожить группу представителей администрации? Было ли это «склонностью дикарей к убийству» или в этом был какой-то смысл, понятный даже нам?

Убитые во время восстания представители администрации выполняли свои функции по взиманию налогов с жителей деревни Синаранго. Каждая деревня, находящаяся под контролем администрации, обязана платить ежегодную подушную подать в размере двух долларов. Все мужчины от 16 до 36 лет уплачивают причитающиеся с них налоги кокосовыми орехами. От уплаты налогов освобождаются туземные полицейские, отцы многочисленных семейств и деревенские старосты,

зачастую назначаемые администрацией вместо законных наследных вождей.

За исключением одного места (порт Моресби, Папуа) жители нигде не участвуют в местном управлении. Единственное право, которое им предоставлено, — право молча уплачивать налоги.

Правда, многодетные матери, имеющие не менее четверых детей, получают от администрации пособие в размере пяти шиллингов в год и по одному шиллингу на каждого добавочного ребенка. Но если не поощрять деторождение, то численность туземного населения уменьшится и, следовательно, иссякнет источник рабочей силы. А без дешевой туземной рабочей силы стала бы невыгодной эксплуатация этих островов.

Налоги, взыскиваемые с местных жителей, частично поступают на оплату медицинской помощи «доктора» — туземца или белого, знания которого зачастую ограничиваются умением оказать первую помощь. По мнению туземцев, доктор бесполезен, так как болезни «напускаются злыми духами».

К числу прочих благодеяний, оказываемых администрацией жителям контролируемых деревень, относится защита от набегов врагов, если только в этой защите есть надобность. Мы не слыхали, чтобы из взыскиваемых налогов оплачивалось еще что-либо, кроме судебных органов, строго наказывающих туземцев за неподчинение правительственным распоряжениям.

Помимо этих благ, налоги должны, по мнению администрации, «подогревать» интерес туземцев к работе на плантациях, ибо в таких случаях уплата налогов за рабочих производится плантатором.

Рассматривая вопрос с точки зрения местных жителей (а другой точки зрения и быть не может!), следует признать, что уплата налогов ведет лишь к лишению свободы. Все правительственные «табу» столь

многочисленны и так непонятны местным жителям, что между ними и администрацией создалась глухая и непреодолимая стена взаимного непонимания. Эта стена сильно мешала нашей экспедиции в общении с натурщиками.

Туземное население никогда не знает, что и когда будет запрещено администрацией и за что будут наказывать в ближайшем будущем. А потому лучше ничего не рассказывать белым людям, ничего им не объяснять и ничего не предлагать; проще всего отвечать на каждый вопрос словом «да». По крайней мере, такой ответ не портит настроения белого человека.

Естественно, что первое «табу» относится к запрещению набегов и убийств, независимо от того, совершаются ли они по соображениям нравственного характера или в результате длительной и непримиримой вражды.

Но набеги являются формой своеобразного спорта, иначе мир был бы скучен и однообразен.

Аборты тоже незаконны. Такая деятельность может серьезно повредить продающей магические средства бабке-колдунье, если только белым людям удастся ее уличить. Правда, ни один туземец никогда не донесет на столь ценимую в деревне личность.

Происходит непрерывная борьба черной и белой (всегда справедливой!) магии, причем все относящееся к черной является строго наказуемым.

В деревнях, не находящихся под властью администрации, действия волшебников и колдунов являются единственными способами осуществления права и порядка. Там нет полицейских, нет судов и особых способов наказания дурных людей, и на протяжении столетий боязнь кары злых духов, поддерживаемая колдунами, оберегала племена от взаимного уничтожения.

Вероятно, и в нашем белом мире было бы гораздо спокойнее, если бы в нем исчезла полиция.

Но администрация объявила колдовство вне закона, так как оно является формой «запугивания». В равной степени «запугивающими» объявлены многие обычаи тайных обществ, на которых построена вся социальная структура туземной деревни.

Таинственные обряды, совершаемые над новичками при посвящении в тайное общество, а также устрашение женщин, детей и не принадлежащих к тайным обществам, совершаемое якобы духами-покровителями обществ, — все это приказано прекратить.

В своей личной жизни ни один налогоплательщик не имеет права иметь более одной жены, независимо от того, какое количество жен он мог бы себе позволить. Такой новый порядок создает в туземной деревне переизбыток неустроенных старых дев, что сильно сказывается на моральных устоях.

Кстати говоря, мы с нашим узаконенным единобрачием не смогли решить той же моральной проблемы.

В деревнях всегда было множество собак, используемых местными жителями для охоты. В годы, когда дичи было мало, эти собаки съедались их владельцами, а собачьи клыки всегда служили разменной монетой и предметами личного украшения, но администрация приказала уничтожить собак и установила норму: не более двух собак на каждого охотника.

Домашних свиней, разводимых на воле в огромных количествах на протяжении многих столетий, единственных санитаров туземных деревень, этих свиней заставили держать в загонах, так как их походы в огороды соседей дают якобы повод для междоусобной вражды.

С каждой новой уплатой налогов чиновники отнимают у населения все больше и больше элементов его прежнего свободного существования.

Требуя от населения повиновения и уплаты налогов, чиновники заставляют обитателей расчищать дороги и тропы, по которым шествуют в одном направлении законы, а в другом — взыскиваемые в погашение податей кокосовые орехи. А зачастую эти тропы облегчают доступ племенам, с которыми жители деревни враждуют на протяжении ряда поколений.

* * *

Как же могло случиться, что столь стойкий народ, численно превосходящий белых пришельцев, мог отказаться от своей свободы без поголовного кровавого уничтожения?

Этот процесс покорения известен под названием «мирного проникновения» — исключительно хитроумной механики, которая могла быть изобретена только «богоданными строителями империи».

Безобидные миссионеры проникали сюда зачастую Раньше, чем «строители империи». Поддерживаемые администрацией островов, миссионеры мирно и благочестиво взывали к деревенским жителям, ранее не знавшим белого человека.

Несколько позже появлялся полицейский офицер — милейший человек, широко одаривающий табаком, кусками хлопчатобумажной ткани и столь насущно необходимыми топорами. А если кому-либо из туземных вождей казалось, что все это плохо пахнет, то офицер нашептывал льстивые слова соперничающему с вождем колдуну, назначал колдуна главой деревни, жаловал его эмблемой власти — форменной фуражкой и поясом,

ставил выше соперника, не пожелавшего играть в опасную игру с белыми людьми.

Фуражка и пояс делали свое дело… Задачей вновь назначенного главы деревни было следить, чтобы его подчиненные держали наготове кокосовые орехи в тот день, когда на будущий год полицейский офицер пожалует собирать налоги. При отъезде офицер дарил наиболее несговорчивым ворчунам немного табаку, а через год возвращался, собирал налоги, выкладывал на стол кучу затрудняющих жизнь законов и угрожал тюрьмой тем, кто не заплатит.

Такой процесс требовал времени, но «строители империи» всегда отличались терпеливостью.

Еще через год нескольких наиболее строптивых жителей примера ради отправляли в тюрьму, находившуюся в прибрежной резиденции островной администрации, и с этого момента «контроль» считался установленным, а операции по «мирному проникновению» развертывались дальше и дальше, в горные области.

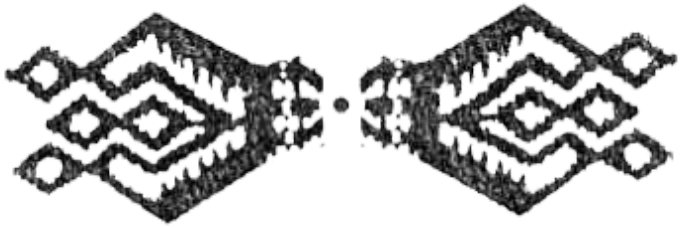
Иногда первобытные дикари рассуждали, как вполне разумные человеческие существа. На острове Малаита жители недавно покоренных деревень настоятельно посоветовали полицейскому офицеру убраться ко всем чертям, предупредив, что если в будущем году он еще раз сунет сюда свой нос, то ему несдобровать. Так встретили и жители Синаранго представителя администрации при его первом появлении, а когда он явился в следующий раз, они осуществили свою угрозу. Это произошло в год приезда нашей экспедиции.

Туземцы дали офицеру, «доктору» и полицейским возможность пройти на площадку и сесть за стол. Затем жители встали в очередь и полицейские бегло осмотрели каждого, нет ли у него в руках камней. Но каждый туземец держал только кокосовые орехи. Когда офицер наклонился, чтобы сделать в своей книге первую

запись об уплате налога, то получил этим налогом удар по затылку. В тот же миг стоявшие позади туземцы напали на захваченных врасплох полицейских, избивая их кокосовыми орехами. Из хижин выбежали женщины с дубинами и копьями, и, раньше чем полиция успела применить оружие, все было кончено.

Одному из раненых полицейских удалось бежать и донести о случившемся, но ему не довелось стать свидетелем сладкой мести, на которую способен только белый человек. Он умер от ран раньше, чем расправились с его лесными сородичами.

Такова была обстановка, в которой жили наши будущие модели. Деревни, в которых нам предстояло работать, были под контролем администрации. Их жители, вольно или невольно, стали налогоплательщиками, а потому мы могли рассчитывать на прием, соответствующий духу, вселенному в них белыми пришельцами.



Глава восьмая



— Скажите, это и есть злополучная самка анофелеса с возбудителями малярии на ее хоботе? — спросила я, протягивая нашему хозяину руку, на которой сидел и пил мою кровь какой-то комар.

Пока мой собеседник рассматривал комара, последний становился все толще, пока не превратился в шар, наполненный кровью.

— Я не уверен насчет его пола, но это, бесспорно, анофелес.

— А вы не считаете, что рановато для анофелеса? — пытаясь сохранить спокойствие, продолжала я. — Ведь анофелесы появляются только с наступлением темноты…

— Но не у нас в Гвадалканаре… — рассмеялся хозяин. — Здесь у них нет установленного расписания…

Был час захода солнца, а точнее половина шестого, и мы любовались закатом, сидя на балконе в Биренди, где нас сегодня бесцеремонно высадил наш капитан. Он решительно объявил, что мы приглашены в Руавату не на чашку чая, а на «стоянку», то есть в гости. Было заявлено, что мы должны принять приглашение погостить в Руавату, хотя бы потому, что там можно

помыться в ванне. В Руавату нас доставят из Биренди на лодке, а «Матарам» в следующий свой рейс из Сиднея зайдет за нами в Руавату и возьмет на борт, если мы того пожелаем. Все это было решено при закрытых дверях, без нашего участия. Мы не оказали сопротивления; более того, мы преисполнились благодарности за это несказанное счастье.

По странному совпадению, в Биренди оказался не кто иной, как молодой Нэнкервис, но не как восстановитель попранных на острове Малаита прав империи, а в качестве помощника управляющего плантацией. Никто в мире так не страдал от упущенной возможности сделаться героем, как Нэнкервис, но теперь в качестве утешения с небес свалилась Маргарет. Более Нэнкервиса обрадовались нашему появлению только местные насекомые, и надо отдать справедливость Биренди, что по количеству и разнообразию насекомых эта плантация не имела равных на Соломоновых островах.

Биренди знаменитая старая плантация. Во времена Джека Лондона она принадлежала какому-то американцу, проживавшему здесь со своей дамой сердца — не то испанской, не то русской графиней. В те годы дом в Биренди считался «дворцом» со всеми европейскими признаками богатства: породистыми лошадьми, празднествами с шампанским и бесконечным потоком гостей. Говорят, что дом в Биренди был столь гостеприимным, что если какая-либо лодка пыталась пройти мимо, не нанося визита хозяину, то с балкона дома ее обстреливали ружейным огнем. Затем, как рассказывает предание, графиня сбежала с каким-то вербовщиком рабочей силы, а американец покончил жизнь самоубийством. Плантацией завладела одна из крупных компаний, экспортирующих копру, и сейчас, сорок лет спустя, мы сидели на открытой веранде в

хромоногих креслах и сражались со всеми видами кусающихся существ, исключая аллигаторов.

Обед, после того как были подняты тосты за «благополучный заход солнца», крайне напоминал старомодную студенческую вечеринку. Хозяйство в Биренди велось кое-как, на холостяцкий лад. У хозяина, прожившего очень много лет на островах, хватало сил только влачить существовании от одного отпуска до следующего.

Слуги, которых здесь были полчища, мало напоминали сверкающих чистотой и вышитыми монограммами слуг из Гувуту, где дом вела хозяйка. За исключением повара, все здешние слуги были неотесанные деревенские парни-малаитяне, присланные с плантации для прислуживания гостям на парадном обеде.

Обеденный стол представлял интереснейшее зрелище. В качестве скатерти было постлано нечто, подозрительно напоминавшее простыню. Поверх этой скатерти-простыни были расставлены различные предметы в том порядке, в каком они стояли где-то на полке. Здесь были полупустые бутылки с кетчупом, чилийским и шотландским соусами, пакеты с пряностями, пикули, горчица, лук, приправы к салату, уксус, различные сорта варенья и ряд других вещей, значение и применение которых осталось нам неясным. На столе фигурировали все виды приправ и пряностей, которыми отчаявшиеся белые обитатели островов заливают и посыпают консервы, тщетно пытаясь улучшить их вкус. Во всяком случае, на столе стояло все, что когда-либо требовал к столу местный хозяин, дюжины вилок и ножей, ложек и тарелок всех размеров и фасонов были в диком беспорядке разбросаны по столу. Такой широкий ассортимент избавлял повара от риска оказаться со свернутой головой за то, что какая-нибудь вещь будет забыта в сервировке.

А так как окна не были защищены сетками, а посередине стола горела яркая лампа, то над всем этим летали тучи насекомых, которые немедленно обрушились на нас. Они застревали в волосах; попадали к нам на зубы, когда наш рот расплывался в вежливой улыбке; издыхали в банках с вареньем или, смертельно обожженные, агонизировали в наших тарелках. Это было полбеды, поскольку насекомые были видимыми. Но были еще невидимые орды москитов, летавшие в темноте под, столом и отвлекавшие наше основное внимание. Я сидела в плетеном кресле и была дополнительно атакована снизу.

Положение осложнялось тем, что хозяин соблюдал строгий светский этикет, называя нас «миссис такая-то», а его «мистер такой-то». Гораздо более уместной была бы простая и симпатичная непринужденность, которая позвонила бы нам решать вопросы так, как это, скажем, решают коровы при помощи деревьев. Наши исключительно воспитанные собеседники должны были понять, что вопросы высокой культуры практически интересовали нас гораздо меньше, чем происходящее под столом. Мы непрерывно меняли положение ног, словно играли в футбол, и пытались одновременно одной рукой почесывать укушенное на ноге место, а другой извлекать из супа тонущее насекомое.

Между подаваемыми блюдами, число которых доходило до дюжины, происходили длиннейшие перерывы. Видимо, нечто ужасное происходило за дверью, откуда время от времени выскакивали полуголые слуги. Из кухни без умолку доносился звон разбиваемого фарфора, грохот падающих кастрюль, лязгание ножей, непрерывное гиканье и топот босых ног. Все это сотрясало старый дом, стоящий на ветхих сваях. Сквозь бесполезную дверь, отделявшую столовую от загадочного смежного помещения, пробивались клубы дыма и кухонного чада, а каждый раз, когда слуга

пулей влетал через дверь, она визжала в предсмертном исступлении и захлопывалась с грохотом выстрела.

Пренебрегая всем этим шумом, хозяин дома пытался привлечь наше внимание рассказом о своей тетке художнице, занимавшейся росписью фарфора. На каком-то полуслове его лицо сделалось багрово-красным, и он рявкнул изо всей мочи:

— Эй, вы…

Несколько слуг, словно выброшенных катапультой сквозь дверь, ведущую в кухню, предстало перед хозяином:

— Да, сэр…

— Черт побери… — ревел хозяин, близкий к апоплексическому удару. — Принести пальмовый лист… Живо…

Слуги застряли в дверях, пытаясь поспешно выскочить. Через несколько секунд один слуга вернулся с пальмовым листом.

— Выгнать всех из-под стола… — приказал хозяин.

Но слуга стоял вытаращив глаза и с широко раскрытым ртом. Глаза его сверкали, как у дикого коня.

— Черт возьми!.. Гони их… — вскричал хозяин и, выхватив лист из рук изумленного слуги, начал рассекать воздух во всех направлениях. Слуга забрал лист и начал обмахивать стены.

— Вдоль стола!.. — зарычал хозяин.

Слуга подбежал к столу и сзади нанес удар нашим прическам. Мы были на грани истерического смеха, видя фыркающего хозяина, пытающегося изгнать насекомых из-под стола. Теперь сам хозяин орудовал листом, а слуга двигался следом, тщательно копируя невооруженной рукой все движения хозяина.

Проделав полный круг, хозяин передал лист слуге и приказал повторить все сызнова. Вытерев пот салфеткой и выплюнув попавшую в рот бабочку, он сел на свое место и безразличным тоном сказал:

— Не расчесывайте голых ног. У вас появятся местные накожные болезни…

Мы сумели пережить обед до конца. Когда же, сонные, измученные и оцепенелые, мы перешли на веранду, погруженную в благословенный мрак, Нэнкервису обязательно захотелось танцевать. Наш хозяин принес пачку патефонных пластинок.

От длительного лежания в жарком климате, где они попеременно размягчались и застывали, пластинки напоминали корявые холодные оладьи. Несмотря на это, их ставили на заржавевший патефон, и мы, время от времени просыпаясь от трудно сдерживаемой дремоты, покорно шаркали ногами по нестроганому деревянному полу. В перерывах между танцами мы погружались в такой сон, что даже осатаневшие от ярости анофелесы не были в состоянии его прервать.

В конце концов нам удалось добраться до постели, но тут-то мы по-настоящему и проснулись…

Первая ночь на берегу была полна неожиданностей. Предоставленная нам комната практически служила местом хранения всякого хлама, пустых чемоданов, и в ней можно было обнаружить все, за исключением мебели. Строго в центре комнаты стояла накрытая пологом от москитов кровать, очень похожая на катафалк. Должно быть, эта кровать осталась со времен графини, но блеск тех времен на ней померк. Посеревший от ветхости противомоскитный полог выглядел так, будто подвергся пулеметному обстрелу. Самые крупные пробоины были стянуты ниткой, наподобие розеток; ряд других дыр мы закололи шпильками, но оставалось еще великое множество более мелких, через которые беспрепятственно шныряли завладевшие нами орды анофелесов. Под пологом кровать пахла могилой и многолетней сыростью. Примерно полчаса мы лазили внутри этого курятника, вылавливая и уничтожая пробравшихся

вместе с нами комаров. Еще полчаса у нас ушло на заделывание мелких дыр, после чего мы непрерывно прислушивались к яростному писку обиженных комаров, оставшихся по ту сторону полога. В конце концов, удостоверившись в своей безопасности, мы потушили лампу.



Но тут и начались ночные радости. Кровать оказалась населенной существами, укус которых вызывал ужаснейший зуд.

Это были песчаные мухи, славящиеся тем, что обладают самым совершенным кровососным устройством среди всех известных насекомых мира. Они обладают способностью прокусывать все, кроме крокодиловой кожи; и отличаются замечательной способностью безнаказанно исчезать. Эти твари

облепляют вас, сосут вашу кровь, а когда вы хлопаете по ним ладонью, они исчезают в мгновение ока, а укусы превращаются в волдыри, которые вы расчесываете.

На рассвете я была изумлена, увидев Маргарет стоящей у двери вовсе не с целью эстетического любования восходом солнца. В полусне я не слыхала, как она встала с постели, но сейчас я ясно видела, что Маргарет с помощью маникюрных ножниц срезала со своей руки присосавшихся москитов. Нечто подобное она уже раз сделала со свисавшими над нами пауками, которых боялась раздавить.

В восемь утра мы стали понимать, почему наш капитан рекомендовал как место для мытья плантацию Руавату. Мне понадобилось не менее четверти часа, чтобы выяснить, где моются в Биренди.

Наши хозяева давно ушли на плантацию, оставив нас на попечение двух отнюдь не расположенных к нам слуг. Всякий слуга холостяка хозяина живет в непрерывном страхе перед возможностью появления «миссис».

В доме я не обнаружила следов ванной комнаты, а слуги решительно не желали понимать слово «ванна», с каким бы ударением я его ни произносила. Тогда я решила сама начать розыски, предоставив Маргарет возможность продолжать операции над москитами.

Вокруг дома стояло несколько маленьких однокомнатных домиков. Один из них был кухней, где медленно подгорал готовящийся для нас завтрак. После длительных поисков я обнаружила темное сооружение, по размеру и форме напоминающее поставленный стоймя гроб. Поскольку там был мокрый пол и лежал кусочек мыла, я приняла это сооружение за ванную, хотя здесь не было тазов, ванны и даже полотенец.

— Бой!.. — крикнула я в направлении кухонного домика, ловко подражая манере и голосу хозяина. Из

дома выскочил слуга и со страхом посмотрел на меня. — Воды!..

Слуга произнес длинную фразу, содержание которой было мне непонятным, но последнее слово напоминало глагол «мыться».

— Да.

Слуга исчез, и немедленно из кухонного домика донестись звуки льющейся воды. Потом все затихло, и я уселась на ступеньках веранды, разглядывая этот необычайный островной мирок.

Дом стоял неподалеку от берега, и между ступеньками и горизонтом не было ничего, кроме полосы ослепительного песка, ослепительного прибоя и еще более ослепительного океана. Мне казалось, что я нахожусь посреди моря на голом острове; впереди не было малейших признаков тропической зелени, и только по бокам кокосовые пальмы окаймляли пейзаж.

Море является единственным путем сообщения, и все дома плантаторов строятся в непосредственной близости к этой столбовой дороге, насколько позволяет морской прибой. Каким привычным стал нам скупой пейзаж, состоящий из песка, полосы прибоя и бесконечного моря, в этой яркой по краскам стране.

Наконец ведро воды было принесено и установлено на верхней перекладине «гроба». Повесив халат на ручку двери, коль скоро не было признаков какой-либо вешалки, я дернула за веревку механизма, в котором было установлено ведро воды. Но механизм был в неисправности, и ведро кипятка вылилось на меня сразу (как выяснилось впоследствии, воду для мытья надо кипятить во избежание заболевания лихорадкой). Я отскочила в сторону, напоролась на какие-то гвозди и, накинув насквозь мокрый халат, бросилась наутек.

Когда Маргарет и я направлялись к берегу, где собирались благополучно выкупаться, повстречался наш хозяин.

— Купаться нельзя... — предупредил он. — Сильный отлив...

Мы улеглись на берегу, где нас осыпало песком, и, лежа в этом тропическом рае, мы мечтали о возможности выкупаться в море, не зная, какую угрозу таит в себе купание на этих островах.

Глава девятая



Для новичка самым приятным в морской прогулке на Соломоновых островах является расставание с тем, что осталось на берегу. Теперь, когда отвратительные песчаные мухи и москиты остались по ту сторону прибоя, мы могли свободно вздохнуть, надеть короткие брюки и джемпера-безрукавки. Ничего подобного нельзя сделать на берегу, хотя кинофильмы из тропической жизни всегда показывают хорошо одетых людей. На маленькой моторной лодке можно было пренебречь девической стыдливостью, так как матрос-малаитянин находился на корме рядом с румпелем, а хозяин погрузился в чтение привезенных нами журналов.

Мы улеглись в тени, отбрасываемой парусом, и отдыхали душой и телом. А чтобы душа художника имела полную свободу, я расположила ноги таким образом, чтобы согнутое колено образовало треугольную раму, сквозь которую можно было видеть медленно меняющийся пейзаж.

Гвадалканар — остров той же протяженности, что и Малаита, но в два раза более широкий; залитый полуденным солнцем, он был похож на материк. За

рифами Индиспенсебл мало коралловых островков, столь обычных в южных морях, а вдоль восточного побережья их вообще нет. Берег Гвадалканара представляет почти прямую линию, лишенную выступающих мысов или вдающихся в глубь устьев рек.

В часы прибоя места впадения рек ясно отличимы по широкому очертанию вееров желтой речной воды, вливающейся в прозрачную воду океана. Всего лишь два фута отделяют прозрачную воду от непрозрачной.

Мы плыли близко от берега, подгоняемые попутным ветром, имея перед собой бесконечный, освещенный солнцем океан, переливающий гранями алмазов. Наша лодка плавно подымалась навстречу горизонту, потом медленно опускалась в сверкающее море. Вверх и вниз!..

Летающие рыбы, вспенивая воду, подскакивали кверху с замершими, отливающими радугой плавниками, неистово били хвостами, словно желая оторваться выше от воды. Слышалось монотонно-чарующее поскрипывание снастей, сливающееся с журчанием бегущей мимо воды. Теплый, как человеческое тело, ветер ласково обнимал нас, и казалось, что мы кого-то любим и горячо любимы в ответ.

Наступил момент, когда что-нибудь обязательно должно случиться. Когда вы плывете на лодке, то это почти всегда бывает шквал. Только что небо было без единого пятнышка, но вдруг появляется темное пятно. Оно может показаться на горизонте, иногда над горами или просто где-нибудь посередине. Не важно где, но, однажды возникнув, оно начинает быстро расти, и облака, которые только что были кучевыми, становятся черными, наполненными дождем. Солнце бросает на море и землю огромную тень, неумолимо двигающуюся прямо на нас.

Потом паруса начинают заполаскивать.

— Похоже на дождь... — заметил наш хозяин и взял румпель в свои руки.

Готовясь встретить шквал, матрос-малаитянин убрал паруса, привел палубу в порядок и стал развязывать чехлы на двигателе.

Общеизвестно, что ни один мотор не заводится так, как ему надлежит. Что касается моторов, установленных на местных моторно-парусных лодках, то они не желают заводиться по разным причинам. Туземный матрос не находит нужным заблаговременно выяснить наличие горючего в баке; свечи представляют собой скопление грязи, а электропроводка снята для использования по другому назначению. Иногда это объясняется усталостью мотора от многих лет жизни или отсутствием взаимопонимания с матросом-малаитянином, который способен целыми днями драить медные части лодки, но никогда не понимает, что заставляет винт вращаться.

Не важно, по какой из этих причин, но мотор не заводился. Сначала мотором занимался матрос, затем сам хозяин. Почему-то неисправность мотора привела его в ярость, хотя он мог бы вспомнить, что аналогичная картина возникает каждый раз, когда он пользуется моторной лодкой.

Между тем черная и холодная тень покрыла нас, и начался ливень. И если бы мотор даже имел тайную мысль уступить, то это было бы бесполезным. Потоки воды, принесенные шквалом, обрушились на нас, на провода, на зажигание и на все, что находилось на борту. Кругом, кроме места, где намокали мы, сияло и сверкало с невозмутимо невинным видом солнце. С опущенным якорем в ожидании пуска мотора мы дрейфовали под порывами резкого холодного ветра. В довершение ко всему насквозь промокший хозяин почувствовал начало приступа лихорадки.

Во время этой поездки на лодке мы тащили с собой в Руавату на буксире ялик, в котором находились плетеное кресло-качалка, ящик пива и корзина с

цыплятами, предназначавшимися в подарок нашей будущей хозяйке в Руавату. Там же в ялике находилось наше имущество. Я являюсь столь опытным упаковщиком, что очень немногие физически развитые мужчины в состоянии поднять упакованный мною чемодан. Понадобились усилия четырех слуг, чтобы перенести наш сундук через линию прибоя при погрузке в ялик. Это был дешевый жестяной сундук — лучшее из того, что мы могли себе позволить. Ручки из искусственной кожи давно отлетели, замок перестал закрываться, и потому сундук полагалось обвязывать толстым конским поводом. В сундуке хранились наши рисовальные принадлежности, использованная и неиспользованная фотопленка, фотографические химикалии, портативная пишущая машинка, металлический патефон и хинин — наше единственное лекарство.

Самым ценным была коллекция наших рисунков от Сиднея до Малаиты. Можете себе представить, каково было наше состояние, когда мы обнаружили, что ялике сундуком, цыплятами и всем прочим исчез…

В последний раз мы видели ялик, когда наша лодка, потеряв скорость хода, очутилась рядом с ним. Потом нас повернуло в обратном направлении к Биренди и понесло к прибрежным рифам. С этого момента все наше внимание было приковано к вопросу, что будете нами дальше. По непонятной для меня причине якорь все еще не был спущен; на мой вопрос мне объяснили, что он не достанет дна, пока мы не приблизимся к рифам. Матроса поставили на носу и заставили грести веслом, чтобы повернуть лодку носом к открытому морю. Я села за руль, и тут нас начало сносить боком, прямо на риф, то есть прямо к смерти и разрушению.

Если бы наш хозяин приказал поднять хотя бы кливер! Но он не желал делать этого. Все плантаторы ведут себя на лодках одинаково. Возможно, что

некоторым из них удавалось спасаться иным способом, кроме предложенного мною. А те, кому спастись не удалось, по крайней мере не подвергали опасности жизнь участников экспедиции. Мне кажется, что на этот раз наш хозяин был готов уступить и поднять парус, но тут на помощь явилась Маргарет. Под защитой брезента хозяин и Маргарет принялись поспешно вытирать свечи о штаны в тех местах, где они были еще сухими. Затем Маргарет продула бензопровод, который был забит песком и залит водой задолго до начала потопа. Как только прочищенный бензопровод привернули на место и раскрутили маховик, мотор зачихал и затрещал. Это было как нельзя вовремя, так как лодка уже попала в прибой перед самой полосой рифов.

Маргарет и я спустились в помещение под палубой, чтобы укрыться от холодного ветра. Лодку носило взад и вперед — в открытое море и обратно к белым бурунам рифов. Потом, когда мы отплыли на добрую милю, раздался удивленный возглас хозяина, перешедший в длинную и энергичную тираду на пиджин-инглиш, адресованную матросу, недостаточно тщательно привязавшему ялик к моторной лодке. Я была твердо уверена, что ялик отнесло к бурунам на рифах и сейчас он покоится на дне моря.



Мы шли обратно в Биренди, не обнаруживая нигде чего-либо плавающего на поверхности. Держась возможно ближе к берегу, мы прошли еще две мили, пока не услышали неистовый крик нашего матроса. Четким силуэтом вдали, на фоне тяжелых облаков и волнующегося моря, качался наш ялик. Плетеное кресло-качалка балансировало во все стороны, намокшие цыплята вытягивали взад и вперед длинные худые шеи, как бы желая уменьшить качку ялика.

А когда мы подошли вплотную, то перед нами засверкала мокрая жестяная поверхность нашего сундука.

Была темная ночь, когда мы увидели прекрасные огни Руавату. Дождь прекратился, но остались тяжелые облака. Далеко на южном горизонте виднелась бледно-зеленая полоска сумерек, на фоне которой ярко вырисовывался багрово-черный силуэт нашего матроса с причудливой шапкой волос. Матрос приложил ко рту раковину и издал звук, от которого у нас волосы встали дыбом. Еще один сигнал раковиной, и мы увидели, как от дома до берега заплясали огни фонарей.

— Э-ге-ге-гей!.. — донес к нам порыв ветра.

Мы бросили якорь на почтительном отдалении, опасаясь подойти ближе из-за сильного прибоя. Теперь нам предстояло решить только одну задачу: как съехать на берег.

Мы должны были переправляться по одному. Моя очередь была первой. Маргарет и хозяин удерживали злополучный ялик за концы, привязанные к носу и корме, а матрос сидел в ялике на веслах. Я прыгнула из сомнительной безопасности в непроницаемую тьму и, по счастливой случайности, попала в ялик, ударившись грудью о крышку корзины с цыплятами. Ялик метнулся куда-то в бездонную черную пропасть, белая пена набежавшей волны обдала меня, ялик и гребущего изо всех сил матроса. С трудом я разглядела окружившие нас черные головы и руки, и, когда прибой с ревом набросился на нас, эти руки подхватили ялик и не дали волне утащить его обратно в море. С большой ловкостью они вытащили кресло-качалку, и я очутилась на ней как раз в тот момент, когда новая стена пены обрушилась на нас. Я никогда не смогу понять, как туземные рабочие ухитряются сохранять равновесие, перенося на себе тяжелых белых людей через линию прибоя и никогда их не роняя. Этого не бывает никогда ни нечаянно, ни нарочно.

На этот раз они не только держались на ногах, но буквально бежали, неся на себе шестьдесят килограммов моего веса среди бурных водопадов, по расползающемуся под ногами песку. Они не бросили меня оземь, как я того заслуживала, так как весь путь до берега проделала, судорожно вцепившись в драгоценную прическу одного из моих носильщиков.

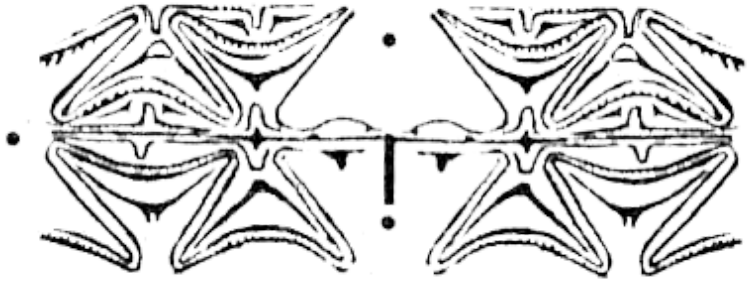
Одичавшие от страха цыплята прибыли со следующей волной, после них ящик с пивом, а в заключение Маргарет.

Так как наши новые хозяева были британцы, то мы запросто сказали им «здравствуйте», как будто на нас были сухие штаны.

Последним появился хозяин нашей лодки. Он продвигался без посторонней помощи, главным образом на четвереньках — его трясло, как в припадке падучей. При свете фонаря его лицо казалось цвета фламинго. Это и была, «будь она проклята, чертова лихорадка»…

Но страдания нашего хозяина были ничтожными по сравнению с нашими собственными, когда несколько часов спустя доставили на веранду наш сундук.

Именно его ухитрились уронить в воду!..



Глава десятая



Всю первую неделю в Руавату мы посвятили попыткам спасти рисовальные принадлежности и вернуть к жизни остальное наше имущество. Видимо, наш сундук довольно долго лежал в воде — когда все из него вынули, на дне остался добрый фут воды.

Наши рисунки, превратившиеся в листы намокшей бумажной массы, были живым доказательством, что даже искусство не вечно. Мы расстелили их на песке перед домом и придавили по краям камнями, чтобы не сдуло ветром. Рулон чистой рисовальной бумаги был разостлан вдоль берега, вдали от линии прибоя, и на протяжении четверти мили прижат к песку камнями, так что ветер получил полную возможность рвать бумагу, хотя по замыслу она должна была сохнуть. Солнце в тропиках тоже не умело сушить, а только коробило бумагу. Десятки небольших крабов и ряд прочих представителей животного мира нашли приют под сенью развернутой бумаги, вырыли норки и начали счастливую семейную жизнь.

По совету наших хозяев мы оставили бумагу и рисунки лежать всю ночь под открытым небом. В те дни Руавату страдал от засухи, и даже пережитый нами во время поездки на лодке шквал пронесся мимо, не

наполнив цистерны водой, стекающей с железной крыши дома.

Наутро мы обнаружили новое разорение: какие-то ночные насекомые или звери прогрызли дыры в чистой бумаге и рисунках. Бумага, которой мы пользовались, обычно применяется при упаковке мяса. Для меньшей промокаемости она промаслена, что делает ее очень удобной для рисования, так как на нее лучше ложится карандаш. К счастью, проголодавшиеся потребители промасленной бумаги прогрызли дыры в чистых от рисунка местах. Впрочем, когда мы подняли портрет нашего малаитянина-бушмена, от его лица отвалился ряд незаштрихованных карандашом кусков.

После просушки все рисунки были тщательно уложены в папку, где они так и не высохли. Не высохла окончательно и рисовальная бумага. Рисовать на ней было не легче, чем на смятой мокрой тряпке. Если надо было стереть рисунок резинкой, то бумага сдиралась слоями, а сильный нажим карандаша протыкал бумагу насквозь.

Цветные карандаши в восковой оболочке совсем не пострадали, но обычные карандаши, состоящие из двух склеенных половинок, развалились, и мы связали их веревочками в тщетной надежде, что солнце склеит их вновь.

Угольные карандаши, красные мелки, резинки и чертежные кнопки мы жарили на плите до полной готовности. Резинки несколько пережарились, но когда остыли, стали значительно лучше, чем до жарения.

Когда в Сиднее мы запасались фотоматериалами, то не смогли достать фотопленку в герметичной металлической упаковке. Пришлось удовольствоваться обычной фотопленкой, завернутой в оловянную фольгу. Теперь все негативы, как проявленные, так и непроявленные, погибли. Фотобумага и химикалии так отсырели, что стали непригодными.

Единственные предметы, которые восстановились полностью, были пишущая машинка и патефон. Полежав в керосине, они возродились к жизни.

Не стоит вдаваться в подробности: ведь вся материальная часть экспедиции хранилась в сундуке. Единственное, что не вызвало у нас сожаления, была каша из хинина. И все же мы ее сохранили, а Маргарет решила впредь принимать хинин ложкой или отламывать кусочки, если только эта каша когда-нибудь высохнет.

Когда размер аварии был выяснен, мы затянули пояса потуже, подперли головы кулаками и написали длинную и дорогостоящую радиограмму сиднейской фирме, торгующей рисовальными принадлежностями. Мы просили прислать нам все необходимое в водонепроницаемой упаковке, независимо от ее веса. Но послать телеграмму с Соломоновых островов вовсе не столь просто, даже если у вас есть для этого деньги. Радиостанция находится в Тулаги, до него было полсотни километров, а лодки в Руавату не было.

Плантатор владел лодкой пополам с соседом, который сначала отправился вместе с волонтерами уничтожать восставших малаитян, а теперь послал на лодке старшего рабочего вербовать тех же малаитян для работы на плантации.

Было решено послать радиограмму с посыльным, который теоретически должен был помчаться в Биренди, откуда наш прежний хозяин при первой возможности доставит радиограмму в Тулаги, а еще через шесть недель, когда «Матарам» вернется сюда, мы получим наши рисовальные принадлежности.

Пока что мне предстояло работать с материалами, уверенность в которых была не большей, чем у дровосека, рубящего топором, который слабо насажен на топорище. От такого топора можно даже погибнуть. Но работать мне не пришлось…

Вблизи Руавату было два туземных селения. В одном из них находилась французская католическая школа для туземных девушек. Другое селение было расположено к востоку, примерно в трех милях от нас; именно эту деревню мы избрали нашей целью.

Большинство прибрежных деревень «принадлежит» (то есть подкуплено подарками, табаком, мануфактурой) какой-либо религиозной миссии. В некоторых деревнях даже имеются собственные церкви. Деревня, выбранная нами, принадлежала одному новозеландскому миссионерскому обществу, но я не хочу сообщать его названия во избежание привлечения к суду за клевету в печати. Эта деревня имела не только собственную церковь, но даже туземного священника. Меньше всего такое место, казалось бы, может служить художнику для поиска натурщиков, но мы прекрасно понимали, что ни церковь, ни священник ничуть не изменили языческого быта обитателей деревни.

Где-то нам надо было начинать. Нынешние времена были не совсем обычными, а слухи о приближении нашей экспедиции создавали еще более напряженную обстановку.

Когда после трехмильной прогулки вдоль берега по отчаянной жаре мы добрались до деревни, нас встретила стая маленьких желтых псов, насупивших морды и настороживших уши в знак полного неудовольствия встречи с нами. Потом псы быстро удрали, поджав хвосты (эти костлявые маленькие псы являются помесью всех собачьих пород, населяющих нашу планету. Мы обнаружили сходство этих дворняг даже с дикими собаками Гаити).

Бегавшие по площадке деревенские жители — мужчины, женщины и дети — не обращали на нас ни малейшего внимания, хотя они не могли не слышать собачьего лая, возвестившего о нашем приближении. Не ради нас ли они разоделись в пух и прах! Женщины,

обычно обнаженные, напялили поверх туземных юбок из травы ситцевые нижние юбки. Не видно было ни одного голого ребенка. Девочки также ходили в юбках из травы, а мальчики в набедренных повязках на манер взрослых мужчин. Некоторые из мужчин разгуливали в безупречно чистых белых рубашках.

Трудно было понять, что происходит в деревне: жители ходили взад и вперед, забегали в бамбуковые хижины, снова из них выскакивали, о чем-то тараторили и хохотали. Только дети с визгом разбегались при нашем приближении.

Лишь один человек сохранял спокойствие и не пошевелился даже тогда, когда мы подошли вплотную. Это был назначенный правительством деревенский староста. Его костюм был сочетанием всех видов одежды. На тщательно подстриженных курчавых волосах красовалась эмблема власти — форменная фуражка; ниже он был священником в черном стихаре; ноги с растопыренными пальцами были по-туземному босы; на голых лодыжках виднелись белые рубцы заживших язв. В глазах сверкал дикий огонек, характерный для взволнованного туземца. Не дав нам раскрыть рот для объяснения цели нашего прихода, он обрушил на нас поток слов на пиджин-инглиш, из которого мы сумели понять, что «Божий ковчег» должен сегодня прибыть в деревню.

«Божий ковчег» — шхуна, принадлежащая миссионерскому обществу, — совершает рейсы между островами южных морей, поддерживая деятельность религиозных миссий. На этой шхуне наиболее отличившиеся новообращенные туземцы посылаются на юг, где из них готовят священников. «Божий ковчег» появляется один раз в год и сегодня, в силу рокового стечения обстоятельств, должен был посетить и эту всполошившуюся деревню. Ничто на свете не могло так взволновать туземцев, как ожидание этого посещения.

Впоследствии нам никогда не удавалось видеть туземную деревню в состоянии столь крайнего возбуждения.

Нам стало ясно, что до отплытия шхуны нет ни малейшего шанса не только достать натурщика, но даже поговорить с кем-либо.

Мысль заполучить модель из числа учениц миссионерской школы улыбалась нам гораздо меньше, чем рисовать Деревенских новообращенных, но, потерпев в деревне неудачу, мы решили посетить французскую католическую миссию. Наш план оказался нереальным, поскольку мы его задумали, пренебрегая островным распорядком дня, обязательным даже для гостей; именно в этом была вся загвоздка.

Все обитатели острова независимо от цвета кожи отдыхают два часа после полудня. Здесь все ложатся на это время в кровать, а если новичок пренебрежет обычаем, то он будет одинок на безлюдном острове. С нашей стороны было невежливо и бесполезно отправляться в миссию в момент полуденного отдыха. Надо знать, что после двухчасового сна полагается пить чай, что отнимает еще один драгоценный для художника час дневного света. Никто не обязан пить этот кипящий горький напиток, но вы ни от кого ничего не добьетесь, покуда он не «освежится».

По каким-то соображениям наша хозяйка решила, что мы встретим гораздо более радушный прием, если она и ее супруг представят нас миссионерам. Мысль о необходимости быть представленными в этой стране, крайне пестрой в отношении светских формальностей, очень нас удивила, но мы были готовы изучать местные особенности. Для начала нам предложили подождать.

Истинным тираном плантаторского дома в Руавату был ребенок, уходу за которым наша хозяйка отдавала все время. На посещение миссии у нее оставалось в течение дня не более получаса.

Хозяин не мог отправиться с нами, так как даже в обычное время не полагается оставлять женщину в одиночестве на плантации. В полном отчаянии мы изъявили готовность нести ребенка на руках, завернув его в противомоскитную сетку, если только хозяйка согласится взять ребенка с собой. Оказалось, что у ребенка сыпь, обычная в этих климатических условиях, и она усиливается от завертывания в пеленки.

Этот чудный младенец жил как в инкубаторе. Его вынимали из окруженной сетками колыбели только для купания, и эта церемония совершалась в специально выстроенном для него домике с двойными стенками. Между внутренней и наружной стеной был зазор в два фута. Крыша была двойная, и весь домик, как, впрочем, и основной плантаторский дом, был построен на сваях, обитых железом, чтобы не могли проникнуть муравьи. Помещение детского домика ежедневно так опрыскивали инсектицидом, что песчаным мухам и москитам было неповадно даже нюхать наружную стенку. Вход в домик шел через двойные двери, и в тамбуре требовалось осмотреть свою одежду, чтобы не занести какое-нибудь насекомое.

В плантаторском доме было трое слуг, коим не разрешалось входить в детский домик или касаться вещей ребенка, так как их прикосновение может вызвать заболевание дизентерией, глистами и всем прочим. Единственный раз побывав в этом святилище, я рисовала ребенка, заглядывая сквозь сетку. Благодаря этим предосторожностям ребенок рос веселым и здоровым, и, если не считать сыпи, он походил на любого младенца, живущего в более умеренном климате.

Так или иначе, но проблема нанесения визита на Соломоновых островах была решена, и притом вовремя, иначе у меня самой появилась бы сыпь от разрыва лопающихся от нетерпения кровеносных сосудов. Все

обитатели плантаторского дома и кое-кто из рабочих отправились совместно наносить миссионерам визит.

После полуденного отдыха в субботу к дверям дома подъехала коляска. Это был древний рессорный экипаж, запряженный еще более древней лошадью. Поступь этого коня крайне напоминала движения лунатика, и двигаться он мог, лишь когда один из слуг вел его под уздцы, а другой шел на почтительном расстоянии, держа в руках вожжи. Позади шествовало еще пятеро слуг. Голова лошади была закрыта ветками с густой листвой, а под листвой виднелась морда с ужасающей язвой диаметром в три дюйма. Мы с любопытством смотрели на язву. Так вот она какая, эта накожная язва, от которой страдают не только животные, но и люди всех цветов кожи! На язве сидели большие зеленые мухи, и целый рой мух жужжал среди листьев над головой лошади.

Когда лошадь встряхивала головой, слуги, даже находившиеся на расстоянии, в страхе разбегались.

Неужели эта кляча могла их пугать? Как ни странно, но могла. Дело в том, что до того, как плантаторы привезли сюда лошадей и коров, местные жители не имели понятия о животных ростом более крокодила или мелкого кенгуру. А лошади задавали нелегкую работу неопытным конюхам при каждой седловке или взнуздывании. Запряженная в рессорный экипаж лошадь не была старой клячей; это была молодая лошадь, изнуренная неподходящим кормом и измученная малярией.

Из дома вынесли трижды завернутую в сетку колыбель с наследником Руавату и установили ее на заднем сиденье под брезентовый навес. Измученная лошадь крепко спала. Плантатор с супругой влезли на козлы, а мы встали на запятки, но скоро сошли. Туча мух вилась над нами, трое слуг выстроились сбоку, а пятеро рабочих с плантации замыкали шествие, похожее на

изображаемое на фресках. Блистательный туземный эскорт имел свое особое назначение: вытаскивать экипаж из песка, как только лошади станет не под силу везти, а это происходило всю дорогу.

Такая поездка была для слуг редкой возможностью поглазеть на девиц из миссионерской школы. Как правило, слугам с плантации категорически запрещено переступать границы миссии, за исключением случаев, когда они сопровождают своего хозяина. Но даже в подобных случаях их появление не встречает одобрения. Поэтому наши парни решили возможно успешнее использовать представившуюся возможность. Прически наших слуг были украшены цветами, а браслеты на руках и ногах — разноцветными листьями. В ход были пущены все драгоценности: ожерелья, браслеты из стеклянных бус и узорчатые кожаные пояса. На черных прическах белели проведенные известью полоски, а домашние слуги напудрили волосы мукой. Что говорить, парни имели сногсшибательный вид.

Дорога проходила через плантацию, и только сила воли удерживает меня от подробного описания красоты представшего перед нами пейзажа.

Вырубка, на которой расположилась миссионерская школа, была окаймлена высокими кокосовыми пальмами, но между ними и видавшими виды зданиями не было ни малейших признаков растительности. По этому голому плацу разгуливало множество туземных девушек, одетых в длинные прямые рубахи, закрывавшие их от горла до некрасивых, худых икр. Если это делалось скромности ради, то цель явно не достигалась. Что могло быть более волнующим для злонамеренных мыслей, чем две острые точки грудей, упрямо торчавших под рубашкой! Наши парни, видимо, имели вполне нормальную склонность к злонамеренности и подняли такой галдеж, что им велели убраться с площадки. Впрочем, они отошли недалеко и заняли отличную

позицию для наблюдения; их тоже было хорошо видно, а голоса доносились с предельной ясностью.

Наш полуторачасовой мучительный визит закончился безрезультатно. Духовная миссия не могла, во всяком случае в настоящее время, предоставить нам натурщиц. Прежде всего, уехал отец настоятель — единственный человек, владеющий английским языком. Он отправился в деревни читать проповеди и собирался вернуться, насколько мы смогли понять сестер-монахинь, через три недели. Обе монахини говорили только по-французски, а мы только по-английски, произнося для понятности слова с плохим французским акцентом. Мы все же сумели объяснить, что мы художницы, и, казалось, почти достигли цели, но тут монахини поняли, что мы желаем писать девушек голыми, без их рубах. Увидев, насколько монахини шокированы, мы отступили и были готовы согласиться писать девушек даже в енотовых шубах, но было поздно. Во время переговоров мы все обливались потом, а монахини в черных выгоревших облачениях благоухали так, что мы старались не дышать носом.

В конце концов мы расстались друзьями и удалились, горя желанием изрубить в лапшу этих тощих, бледных святош.

Они ничего не могли для нас сделать до возвращения отца настоятеля.

Глава одиннадцатая



Обо всех событиях, происходящих на острове, в доме плантатора становится известно с черного хода, через слуг, ловящих слухи на лету. Обо всех новостях, приходящих с моря, первым узнает плантатор. При первом же сигнале он выбегает на веранду и исследует горизонт в лежащий наготове бинокль. Задолго до подхода судна плантатор узнает, кто плывет к острову. На этот раз мы узнали раньше, чем взволнованные жители деревни, что «Божий ковчег» вошел в пределы нашего тесного мира, и помчались в деревню.

Этой шхуной мы заинтересовались еще в Окленде, когда нажимали на все кнопки, включая кнопки архиепископского облачения, чтобы получить разрешение добраться на «Божьем ковчеге» до Соломоновых островов. Но «Божий ковчег» возил только людей, избравших христианство своей профессией, а наша профессия была гораздо ближе к язычеству. Наше нынешнее стремление скорее посетить «Божий ковчег» объяснялось не только интересом выяснить, что мы потеряли, не попав на шхуну раньше, но и желанием использовать находящегося на ковчеге святого Ноя, который, будучи авторитетом для местных жителей, мог

бы объяснить на понятном им языке сложную проблему позирования, рисования и оплаты. Несомненно, что, выступая от нашего имени, Ной сильно поднял бы наш престиж, который в таком подъеме нуждался.

Жители деревни были уже в лодках, готовые устремиться к медленно подплывавшему «Божьему ковчегу». Мы ринулись в полосу прибоя и вскочили в переполненную туземцами лодку. Не успели на шхуне спустить трап, как мы уже были на борту.

Будучи единственными белыми посетителями, мы пользовались исключительным вниманием и были немедленно приглашены к чаю, разносимому темнокожими христианами. Мы познакомились с новым священником — туземцем, прибывшим к месту службы. Затем нам удалось посмотреть альбом великолепных рисунков, сделанных новообращенным христианином, которого везли в Окленд для религиозного просвещения. Местный Ной подарил нам туземные браслеты и плетеные корзинки, собранные на различных островах, и объяснил туземному старосте наши желания. Получив от него обещание все исполнить, он отправил нас к берегу на собственной шлюпке. Туземные матросы перенесли нас на руках через линию прибоя.

Вернувшись в Руавату, мы в ожидании отплытия «Божьего ковчега» и успокоения жителей принялись за портрет наследника наших хозяев и заодно написали их портреты.

Все это было не к добру.

Следующая неделя после отплытия «Божьего ковчега» казалась бессодержательной по сравнению с предыдущей. На фоне окружавших нас песка, моря и неба не происходило ничего; с таким же успехом Руавату мог бы находиться на рифе среди океана.

Обычно в Руавату останавливалось судно, развозившее товары из Тулаги и принимавшее заказы от

потребителей. Но теперь даже и это судно не появлялось. Наш хозяин высказывал предположение, что судно обслуживает волонтерскую армию на острове Малаита. Мы придерживались другого мнения и считали, что причиной является забастовка Докеров в Сиднее, что заставило «Матарам» привезти только почту и казенный груз. По этой причине не стало горючего для частных моторных лодок, и пользоваться ими стали крайне осмотрительно.

С продуктами стало очень трудно. Руавату терпел недостаток консервированного масла и чая, а керосина осталось так мало, что с наступлением темноты мы пользовались свечами, да и то очень экономно.

Жизнь белых плантаторов крайне хрупкая штука, если происходящая в полутора тысячах миль отсюда забастовка могла поставить жизнь под угрозу (блокада, могущая возникнуть в дни войны, полностью изолирует эти острова).

Мы чувствовали себя крайне неловко, помогая уничтожать скудные запасы хозяйского продовольствия, но ничего не могли поделать. Мы находились в таком месте, откуда нельзя было послать самим себе телеграмму, срочно вызывающую нас домой. Ничто не могло спасти хозяев от нашего присутствия до прихода «Матарама». Положение становилось еще более острым из-за продолжающейся засухи. Мы наблюдали черные столбы ураганов, проносившихся в морской дали, но ни единая капля дождя не упала на железную крышу Руавату. Уровень чистой воды в цистерне не достигал четверти, и эта вода использовалась только для питья, готовки пищи и купания ребенка. Ни о какой ванне в Руавату нам нечего было и мечтать.

Через плантацию протекала река, в которой можно было плавать. Мы спросили, есть ли в реке аллигаторы (точнее, крокодилы), и нам ответили, что крокодилы водятся в ограниченном количестве, но зато есть акулы,

которых следует опасаться. Океанский прилив на берегу Гвадалканара отличается большой мощью, и волны, затопляя песчаный бар, глубоко врываются в устья рек. Вместе с приливом попадают в реку акулы, которые остаются в реке, поскольку песчаный бар непроходим после отлива. С окончанием прилива река становится темно-коричневой от прогнивших обломков деревьев и каких-то извивающихся морских существ. Помимо этого, река протекает мимо туземных деревень, и, плавая в ней, можно наглотаться вдосталь возбудителей дизентерии. Несмотря на все, единственным препятствием для наших экспериментов с крокодилами, акулами и бактериями дизентерии были наши раны. Все они были результатом расчесывания мест укусов всяких насекомых. Стоило почесать укушенное место, как немедленно возникало пятно, которое не исчезало даже при ежедневном лечении и перевязках. Оно становилось шире и глубже, доставляя нам серьезное беспокойство.

К аллигаторам надо было отнестись со всей осмотрительностью, так как привезенные нами из Биренди драгоценные курицы, обязанные нас снабжать свежими яйцами и даже собственным мясом, исчезли сразу в одну ночь. По этой причине мы опасались без соответствующей молитвы ходить в темноте в уборную. Это сооружение находилось над рекой, в конце мостков, и, хотя мы брали с собой керосиновый фонарь, постоянная угроза встречи с крокодилом отбивала всякую охоту ходить туда. К вышеизложенному надо добавить кусающихся москитов и часто находимых на сиденье сороконожек. Что находилось под сиденьем, известно лишь Богу.

Будучи художниками, то есть принадлежа к существам широко известным своей неприязнью к мытью, мы могли с грехом пополам довольствоваться весьма незначительным количеством воды. С

относительной стойкостью мы отказывались за столом от чуть-чуть прогорклого консервированного масла.

Когда ночная прохлада снижала температуру крови, мы готовы были простить миссионеров за то, что они задерживают нашу работу.

Но совершенно немыслимой стала нам казаться жизнь днем в непрерывно возрастающей жаре. Днем и ночью ни одного дуновения ветерка... Верхушки пальм недвижно поникли в замершем воздухе, и, казалось, даже морской прибой изнемогает от одуряющей тяжести солнечного зноя. Термометр на веранде показывал всего лишь 30° по Цельсию, но это было 30° в бане. Домашние слуги ссорились теперь не только на кухне, они перенесли свои сражения в столовую, где перебрасывались тарелками и другими грохочущими предметами. Хозяйка выражалась на пиджин-инглиш, а хозяин, выпив последнюю бутылку пива, ожидал неминуемого землетрясения. Даже Маргарет и я ухитрились обменяться колкостями по поводу исчезнувшей пилки для ногтей, одновременно служившей инструментом при укреплении колков на гавайской гитаре.

Можете считать это дезертирством, но мы решили, что в понедельник нас здесь не будет. Мы намеревались отправиться в деревню: но наступила пятница, а с ней конец засухи. Первый ливень начавшегося сезона дождей обрушился на торжествующих жителей плантаторского дома. Холодный дождь, целое море дождя хлынуло на раскаленную железную крышу дома. За один час уровень воды в цистерне поднялся на целую четверть. Маргарет и я, одетые, ополоумевшие от восторга, бросились на двор и, широко раскрыв рты, глотали холодные струи воды, лившейся с неба в наши глотки. Затем, раздевшись, мы встали под водопад, низвергавшийся с крыши. Стоя голыми под этим потоком, мы с остервенением мыли головы.

Ветер бесчинствовал вдоль всей плантации, задирая юбки листьев над головами пальм. Сотни орехов валились на землю, барабаня артиллерийским огнем по железной крыше дома. Рев прибоя достиг своего предела, но, перекрывая его, звучали пронзительные крики веселящихся туземных рабочих.

Это была дикая, но чудесная ночь... Мы спали в кроватях, таких сырых, будто их опрыскали из пульверизатора. Но зато было прохладно, даже холодновато, и мы могли снова дышать, не вывешивая наружу языка.

Наутро все обитатели дома, кроме ребенка и нас, страдали от малярии.

Клубы пара поднимались над землей, а в полдень снова наступила такая жара, что слуги возобновили битье посуды, Маргарет и я продолжили пикировку по поводу исчезнувшей пилки, а хозяйка дома слегла из-за приступа лихорадки.

Плачущий ребенок, может быть, и не заслуживает упоминания в рассказе о приключениях такой экспедиции, как наша. Но на этот раз детский плач едва не положил конец нашей деятельности в Руавату. Надо отметить, что здешний ребенок не принадлежал к числу плакс, но плакать он начал одновременно с ливнем и только в субботу вечером сделал небольшую передышку, чтобы набрать воздуха для новых взрывов плача. У ребенка слегка поднялась температура и появились симптомы дизентерии.

Наша хозяйка была в ужасе, так как расстройство желудка может служить признаком очень различных заболеваний. Ближайший врач находился в тридцати милях, что при отсутствии моторной лодки все равно что триста. Пока посыльный сбегает за лодкой, покуда лодка, присланная из Биренди, отвезет больного в Тулаги, — ребенок может умереть.

Сейчас, когда посыльный ушел в Биренди, мы более чем когда-либо чувствовали себя неуместными гостями.

Наступил понедельник, и если до этого дня мы были очень сочувствующими, но посторонними свидетелями наступающего кризиса, то теперь совершенно неожиданно оказались главными действующими лицами.

Около десяти часов утра послышался сигнал о приближении судна, и наш хозяин сразу установил, что это не лодка из Биренди, а правительственный катер «Ренанди», который, по нашим сведениям, должен был находиться в районе острова Малаита. Как бы там ни было, это судно могло доставить ребенка в больницу. Все население дома высыпало на берег, когда «Ренанди» держал курс прямо на Руавату. Но каков был наш ужас, когда, приблизившись настолько, что его можно было окликнуть, «Ренанди», вместо того чтобы отдать якорь, продолжал медленно двигаться дальше параллельно берегу. Мы побежали вслед за катером, и я вспомнила графиню из Биренди, имевшую привычку открывать стрельбу по судам, отказывавшимся остановиться.

— Остановитесь!.. — отчаянно кричал наш хозяин, стараясь перекричать шум прибоя. — Почему вы не останавливаетесь?..

Трое белых людей стояли на палубе. Один из них сложил руки рупором и крикнул:

— Здесь тоже есть заболевшие?..

— А в чем дело? — крикнула наша хозяйка.

— Корь!.. — ответили с судна. — Эпидемия… ее занес «Божий ковчег». Мы должны установить карантин в деревне…

Я пришла в ужас. Ведь мы посетили «Божий ковчег», мы обменивались рукопожатиями с членами экипажа, мы принесли оттуда корзинки и браслеты, а потом прямехонько направились к колыбели ребенка и на

протяжении трех дней, ежедневно по получасу, рисовали его портрет. А сейчас у ребенка температура, возможно, она вызвана корью.

Врач с «Ренанди» со всей серьезностью отнесся к рассказу о нашем часовом пребывании на «Божьем ковчеге».

В этих краях заболевание корью не является приятным домашним отдыхом от школьных занятий, как у нас, в белых странах. Здесь это опасная болезнь, не менее опасная, чем оспа в городах со скученным населением. Даже более опасная, потому что в городах имеются больницы с неограниченным количеством врачей на каждого больного, непроницаемые карантины и все необходимые средства лечения.

Здесь, на островах, было всего лишь два настоящих врача и слишком мало туземных лекарей даже для того, чтобы справиться с обычными перевязками болячек у туземцев.

Недавно целые селения полностью погибали при эпидемии кори, так как местное население не имело представления о карантинах. Любое эпидемическое заболевание распространяется в этих краях, как степной пожар. Местные жители мрут как мухи, а белые обитатели, расслабленные все той же малярией, страдают большей восприимчивостью к заболеванию.

Маргарет и я, наполненные здоровой американской кровью, чувствовали себя виноватыми в отсутствии у нас повышенной температуры.

Инкубационный период для кори продолжается от десяти до четырнадцати дней; с момента посещения нами «Божьего ковчега» прошло пока девять дней. Следовательно, срок для заболевания не мог наступить ни для нас, ни тем более для ребенка. Пока инкубационный период не пройдет, ничего нельзя было предпринять. Врач должен был объехать все деревни вдоль побережья, где побывал «Божий ковчег» и где

повсюду были случаи заболевания корью, оставить в каждой деревне полицейского и туземного лекаря, которые должны были следить за соблюдением карантина и оказывать помощь в необходимых случаях. Через три дня врач обещал вернуться и забрать ребенка в больницу.

Тем временем и в Руавату был установлен жесточайший карантин.

Напряженное ожидание в последующие дни, стыд даже за то, что мы продолжаем существовать на свете, наше молчаливое сочувствие находившейся в отчаянии матери, наши страдания при звуках непрекращающегося детского плача — все это могло бы занять целую главу, если бы мы хотели заставить читателя страдать наравне с нами.

Непостижимой загадкой для врача было, что в Руавату никто не заболел корью. Возможно, что Маргарет и я болели корью в раннем детстве, чего и сами не помнили; может быть, мы не были носителями инфекции или же не соприкасались с ребенком достаточно близко, чтобы передать ему заразу с «Божьего ковчега». Вернувшийся к нам врач решил пока не отвозить ребенка в больницу, а пробыть в Руавату до истечения четырнадцатидневного срока для наблюдения за всеми нами. Как бы оправдывая свое пренебрежение к судьбам туземцев, он заметил, что они все равно умрут. Такое заявление не было признаком бессердечности: в голосе врача звучало отчаяние беспомощности.

Как бы там ни было, но, ожидая конца эпидемии, этот блестящий врач — специалист по лечению кори, черной лихорадки, дизентерии, проказы, венерических болезней, укусов аллигаторов и акул — занимался тем, что измерял температуру ребенка и внимательно осматривал его рот, чтобы установить, нет ли на деснах

признаков кори. И тут он заметил что-то белое на нижней десне.

Это были два только что прорезавшиеся зуба…

Какая злая ирония была в том, что «Божий ковчег», долженствующий спасать души человеческие, сделался орудием их превращения в души бессмертные.

От разнесенной им эпидемии только в одной нашей деревушке умерло тридцать пять человек. Таким образом, в селении, насчитывавшем когда-то триста обитателей, осталось восемьдесят. Занесенная сюда после Первой мировой войны эпидемия инфлюэнцы уничтожила тысячи жителей островов южных морей.

Обычно население меланезийских деревень никогда не превышает трехсот человек, но правительственная администрация, поддерживаемая духовными миссиями, заставляет дружественные племена объединяться. Укрупнение деревень облегчает административное управление ими и делает более удобным спасение языческих душ, но одновременно способствует распространению эпидемий.

Жалобы антропологов на «исчезновение отсталых существ» перестали быть для нас книжной цитатой. Тридцать пять наших моделей исчезли, прежде чем мы успели их нарисовать. Оставшиеся в живых были на длительное время отделены от нас карантином.

Болезни, занесенные белыми людьми, объединились с религией, чтобы воспрепятствовать нашей работе!..



Глава двенадцатая



Вынужденное безделье в Руавату натолкнуло нас на разгадку истинной причины нашей поездки в Меланезию. Она была гораздо глубже, чем возвышенное стремление увековечить в памяти человечества исчезающий народ. Желание досыта наесться кокосовых орехов — вот истинная причина. Я точно знаю, когда возникло это желание; оно появилось, когда в восьмилетием возрасте я заподозрила, что в жизни нельзя всего достичь честным путем, и когда после нескольких недель отчаянных поисков обнаружила, что тертые кокосовые орехи для покрывания глазурью пирожных мама хранит в жестянке из-под кофе, стоящей в кладовой.

Крушение иллюзий наступило в момент, когда власть надо мной имеющие обнаружили, что рот у меня набит орехами. Неудовлетворенное желание превратилось в подсознательное стремление, нашедшее свое окончательное выражение в организации экспедиции для зарисовки первобытных людей Меланезии. Не случайно же эти люди жили на родине кокосового ореха.

Помимо подсознательного стремления к тертым кокосовым орехам, имелась другая, не менее серьезная причина, заставившая меня проделать тысячемильный путь на Соломоновы острова. Это было тайное

стремление многих, подстегиваемых жизнью американцев предаться грезам, отказаться от честолюбивых замыслов и превратиться в ничто, но под таким благовидным предлогом, который бы не противоречил пуританским понятиям. Американцы мечтают удалиться на какой-нибудь тропический островок, лежать на теплом песке и утруждать себя лишь в случаях, когда надо раскрыть рот и проглотить в изобилии капающие с деревьев необходимые витамины.

И вот, очутившись на тропическом острове, мы решили выяснить, почему наша планета делится на четыре великие области погружения в мир грез. Одна из них простирается от Соединенных Штатов до Восточной Европы, и ее население клянется, что для забвения действительности лучше всего хлебное вино. От западного побережья Америки до демаркационной линии суточного времени уход из мира реальностей осуществляется с помощью сока кавы — корней одного из видов перца. Область потребителей бетелевого ореха простирается от Меланезии до Индии, образуя большую группу с общей культурой, отличающуюся от жителей Океании и монголоидов, одурманивающих себя наркотиками.

Вино и кава были нами уже испробованы, а теперь мы решили нажеваться до остолбенения бетеля, прежде чем отослать наш отчет в Королевскую академию. В одно прекрасное утро мы направились к берегу, запасшись бетелевым орехом и всем необходимым. У нас не было никакой особой цели, кроме созерцания «листьев травы» по Уолту Уитмену. Отправляясь на «мягкий, теплый песок» острова, о котором пишут в книгах, мы на всякий случай надели непроницаемые для песчаных мух брюки, непрокусываемые москитами шерстяные носки и наглухо застегивавшиеся у горла и кистей рук рубашки. Наши драгоценные мозги были защищены пробковыми шлемами, глаза закрыты

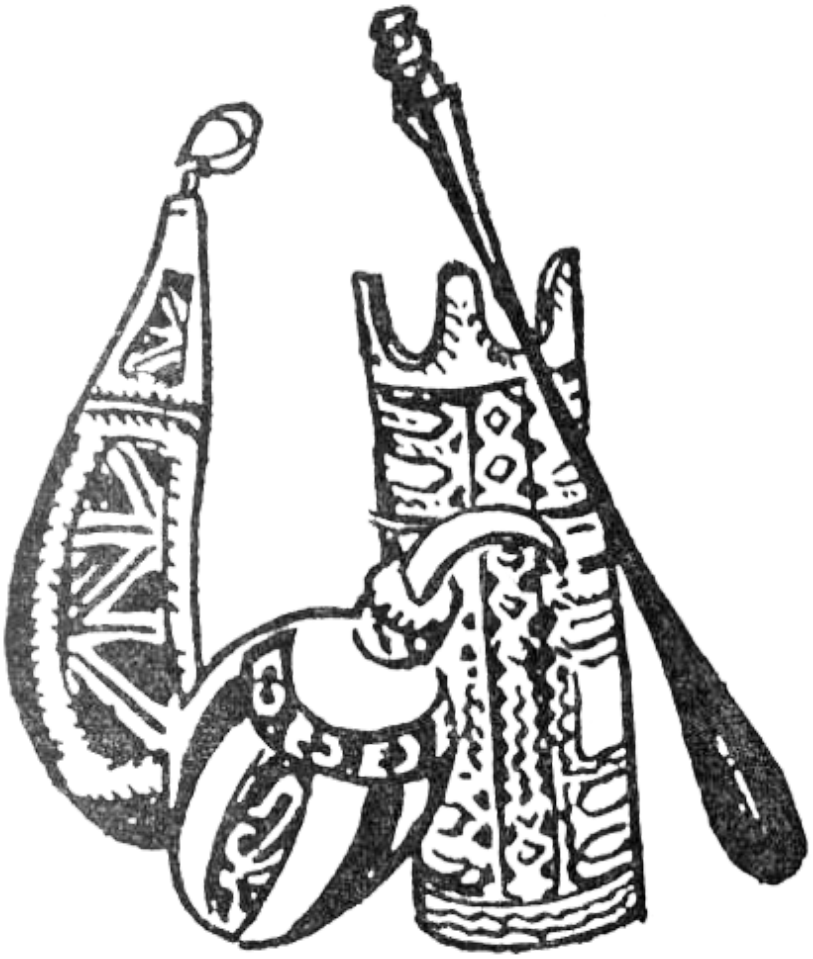
темными очками, а каждый оставшийся незащищенным квадратный дюйм нашей кожи, был тщательно обработан средством от насекомых.

На всем побережье мы не смогли найти полоски травы, столь поэтически воспетой Уитменом. Мы выбрали место, затененное очень красивым деревом, под которым в разных направлениях сновали муравьи. Здесь мы сразу принялись за дело.

Бетелевый орех напоминает по форме и цвету мелкий лимон. Листья — сердцеобразной формы — имеют скрученный стебель, подобно листьям винограда.

Вторым ингредиентом в опыте с бетелевым орехом является известь, полученная из обожженного куска коралла, растолченного в порошок.

Весь набор принадлежностей для приготовления бетеля принадлежал одному из рабочих плантации. Известь, чтобы хранить ее сухой, находилась в разукрашенной маленькой тыкве, заткнутой деревянной пробкой, заканчивавшейся превосходным кабаньим клыком. Лопаточка для известкового порошка представляла собой длинную черную палочку с веслообразным концом и красивой резной ручкой. Весь этот набор принадлежностей для порочных наслаждений был по-своему столь же изящен, как какая-нибудь табакерка времен регентства.



Нам объяснили, что нет необходимости дезинфицировать ингредиенты и опасаться заражения дизентерией. Как только мы положили бетель в рот, мы поняли бессмысленность дезинфекции. Поступая в точности так, как нас учили, мы положили лист бетеля между передними зубами и нижней губой. Поверх листа была помещена четверть ореха, а все это обильно посыпано известью. Получился комок размером в мячик для гольфа, и, для того чтобы его удержать, мы подпирали нижнюю губу ладонью.

Кто лечился у зубного врача, знает, как одно сознание того, что нельзя проглотить руку, находящуюся у вас во рту, вызывает немедленно поток слюны. Засунутые в наши рты комки бетеля вызвали потоки слюны, которая при соединении с известью

шипела и пенилась; от волнения слюна текла все обильнее и обильнее, и потоки превратились в потоп. Мы обязаны были терпеть этот потоп потому, что под действием влажной извести на орех и лист извлекаются необходимые для эффекта соки. И, задыхаясь, мы крепко сжали губы…

Пена шипела у нас где-то в голове, а рот стягивало, как при полоскании перекисью водорода. Все это было пока только действие извести, но, к сожалению, я должна сообщить, что мы не смогли выдержать достаточно долго, чтобы добиться других ощущений. Сначала мы сдержанно отплевывались, надеясь дождаться чего-либо интересного, но чем больше мы плевали, тем больше появлялось слюны. Через полчаса мы плевали нежно-розовой слюной, в то время как идеалом считается ярко-красная. Наркотического онемения мы не чувствовали нигде, за исключением места, обожженного бетелем. Ощущение было в точности такое, какое бывает, когда возьмешь в рот спирт-сырец. Тут мы решили, что такой способ погружения в мир грез является слишком болезненным, чтобы с ним стоило возиться. Даже когда мы выплюнули бетель, поток слюны не прекратился.

Мы пенились, отплевывались и не могли прикоснуться к еде еще целые сутки, а у Маргарет слезла целая полоска кожи с разъеденной известью нижней губы. Эксперимент с бетелем доказал нам, что люди, желающие жевать бетель, должны обладать безрассудством и упрямством американцев эпохи сухого закона.

Возвращаясь к вопросу о мирном созерцании жизни, можно сказать, что американец может наслаждаться ничегонеделанием только в случае болезни. Созерцание ползавших вокруг деловитых насекомых заставляло нас непрерывно жаждать какой-то деятельности, тем более что наверху, в густой листве, шла оживленная борьба за

существование между голубями, обильно поливавшими нас своими экскрементами. В этой жизни происходит слишком многое, чтобы можно было себе позволить предаваться созерцанию. Чтобы оторвать нас от спокойного созерцания, достаточно было шума работы, донесшегося к нам с плантации; при первых же возгласах рабочих мы рванулись вперед, как старые пожарные кони при звуке сигнальной трубы.

* * *

Разведение кокосовых пальм, то есть добывание копры, и побудило европейцев захватить эти острова. Это «большой бизнес» с присущими ему организационными формами и безжалостностью. Большая часть плантаций контролируется одной из двух огромных английских компаний по заготовке, перевозке и промышленной обработке копры. Практически эти компании захватили все острова южных морей. Поскольку здесь не существует частной собственности на землю, компании арендуют землю у правительства, нанимают управляющих плантациями, владеют всеми пароходами (которые являются единственными средствами пассажирского сообщения), контролируют на лондонской бирже цены на копру и производят на своих дочерних предприятиях все, что может быть сделано из кокосового масла.

Для художника во всей этой сложной и высокоиндустриальной картине могли представлять интерес только прекрасные по внешнему виду кокосовые плантации.

Местная кокосовая пальма, столь изысканно кланяющаяся ветрам вдоль всех островных берегов, вырастает из упавших на землю и проросших орехов. Несмотря на некоторую банальность, местная пальма

очень красива. Однако почтительный поклон пальмы считается с точки зрения плантатора плохим тоном. Пальма должна быть прямой, как стрела, и для этого ее сажают под определенным углом. Шеренги пальм должны выстраиваться на расстоянии тридцати футов одна от другой, чтобы одинаковое количество солнечных лучей ровно ложилось на землю по всей плантации. Хотя такой порядок посадки губит естественную красоту, но когда стоишь среди деревьев, то кажется, что находишься в огромном соборе. Насколько хватает глаз, простираются боковые приделы этого храма. Громадные колонны холодно-серых стволов с полосами колец на месте опавшей листвы устремляются вверх на пятьдесят — шестьдесят футов. Тонкие переплетения надземных корней образуют причудливые цоколи колонн, а мощные капители украшены гроздьями коричневых орехов с ярко-рыжими хвостами древесного волокна. Широко разросшиеся вершины деревьев тянутся одна к другой, образуя крестообразный свод из переплетающихся листьев. Просвечивающее сквозь листья прозрачное небо становится похожим на причудливо граненый хрусталь. Подножие храма устлано ковром вьющихся по земле растений, мешающих росту высокой травы, и этот мощный ковер заглушает звук человеческой поступи.

В этих затененных местах мы увидели богатство красок, впервые обнаруженное Гогеном. Резные тени пальм кажутся лиловыми на фоне серых стволов и темно-синими на фоне зеленого ковра. В часы яркого солнечного освещения не видно перспективы; здесь чувствуешь только высоту и замкнутость, как это бывает в церковных зданиях. Ночью, когда отмершая листва пальм сжигается на кострах, это ощущение еще сильнее. Повсюду тлеют костры, освещающие оранжевым светом колонны, и густые клубы дыма, собирающиеся под сводами. Лунный свет, пробиваясь

сквозь кроны пальм, становится похожим на лучи с неба, какими их рисовали в старинной церковной живописи.

Заходящее солнце освещает этот величественный собор яркими, дробящимися о колонны снопами света, заставляя сиять даже тени. Эту картину легче изобразить словами, чем кистью.

Миллионы муравьев непрерывно ползут вверх и вниз по стволам; большие белые какаду с лимонно-желтыми хохолками пронзительно кричат в зелени пальмовых вершин.

Парообразные рои маленьких желтых бабочек летают среди деревьев, а изредка в вышине пролетает изумительная синяя бабочка величиной с птицу (этот редчайший на земном шаре вид бабочек встречается только здесь. Такой же редкостью является желтая с синим разновидность, которая встречалась в Папуа, где позировавший нам юноша украсил голову такой бабочкой. Коллекционеры платят местным жителям до двух фунтов стерлингов за неповрежденный при поимке экземпляр. Мы нарисовали портрет юноши, купили у него за шиллинг бабочку, но муравьи сожрали ее, оставив нам только крылышки). Что касается желтых бабочек, то добытый из них краситель применяется туземцами для окрашивания плетенных из травы браслетов.

Пройдя на рассвете через плантацию, можно увидеть интереснейшие результаты деятельности невидимых днем насекомых. Работавшие всю ночь пауки раскидывают гигантские сети от ствола к стволу, укрепив паутину к свешивающимся листьям пальм. Капли утренней росы дрожат и переливаются в косых лучах восходящего солнца, освещающего бесконечное количество сотканных пауками кружевных занавесей, ограждающих волшебную страну. Паутина столь крепка, что туземцы пользуются ею, как липким пластырем, для заклеивания ран. Однажды я использовала паутину

вместо сетки для волос, которые падали мне на лицо и мешали работать. Снимать эту паутину пришлось скипидаром, и понадобилось три часа упорного труда, чтобы избавиться от липкой массы, похожей на жевательную резину. И нет ничего удивительного в том, что целые рои желтых бабочек беспомощно трепещут в этой цепкой паутине. Местные жители обычно собирают куски паутины с прилипшими бабочками и добывают из них желтый краситель.

С пяти часов вечера и до половины восьмого утра плантация неописуемо хороша своей сказочной красотой. Но с половины восьмого этот величественный собор становится похожим на грандиозный цирк, оглашаемый окриками кокосовых магнатов.

В Руавату дело было поставлено несколько иначе, и окрик был слышен только рано утром, когда туземцы отправлялись на плантацию.

Сборщики орехов работают группами по четыре-пять человек. Каждый рабочий несет три пустых мешка, которые он обязан наполнить упавшими на землю орехами. Иногда молодые парни развлекаются, бросая орехами в товарища. Смысл игры заключается в том, чтобы товарищ подпрыгивал возможно выше, увертываясь от бросаемых ему под ноги орехов. Надо учесть, что орех достигает размеров футбольного мяча, а по весу превышает шар кегельбана. Игра сопровождается выкриками, но к концу дня, когда рабочие едва волокут на себе тяжелые мешки, у них хватает сил только для вздоха облегчения в тот момент, когда последний мешок свален в кучу.

Возле сушильной площадки земля очищена от всякой растительности. Непрерывный говор людей, сверкание длинных ножей-мачете, белая масса кокосового ядра орехов и бесконечная кокосовая мошкара — все это смешивается со сладковатым запахом сохнущей копры и дыма.

И этот запах дыма переносил нас в мечтах за тысячи миль, к родному очагу.

Здесь, на площадке, орех превращался в копру. Несколько молодых рабочих сидели на земле и работали. Поставив орех острым концом на землю между коленями и удерживая его одной рукой, они другой рукой наносили удары ножами-мачете, имевшими в длину до восемнадцати дюймов. Ловкость, с которой рабочие отсекали толстые куски ореховой скорлупы, служила великолепной иллюстрацией того, что могло произойти с шеями белых плантаторов при соответствующих настроениях местного населения. Два сильных удара, одно колющее движение, и небольшое ядро ореха очищалось от скорлупы, еще один удар, и орех рубился надвое, а молоко текло на землю. Еще два движения, и белая масса ореха летела в общую кучу. На протяжении целого дня коричневые руки наносили удары, причмокивая при этом языком, а над всем этим жужжали полчища копровой мошкары и качались сине-пурпурные тени пальмовых вершин, покрывавших узорами коричневую землю и коричневых рабочих.

Перед нами было кокосовое сырье, будущий тертый кокосовый орех для пирожных, ради которого мы организовали экспедицию и пересекли Тихий океан. Перед нами лежали горы больших кусков белой массы, и мы приступили к удовлетворению желания, мучившего нас всю жизнь.

Первое впечатление было, что я кусаю дерево; правда, мягкое, но все же дерево. На запах это было настоящее дерево, но не столь хорошо пахнущее, как продаваемые в цивилизованных странах зубочистки. Вот и все наши ощущения; есть сырой кокосовый орех невозможно. А как насчет замечательного кокосового молока, о котором мы столько читали? Один из рабочих выбрал спелый орех, ловко прорубил в нем небольшое отверстие и со смехом протянул орех нам. Мы пили

прямо из ореха, и вкус жидкости напомнил мне нечто, стекающее с волос, когда моешь голову. Это был запах мыла. Вот и все…

Впоследствии нам пришлось кушать и тертый кокосовый орех и пить кокосовое молоко (из перезрелых орехов) на обеде, приготовленном для нас уроженцем островов Тонга. Каждому из нас был подан целый цыпленок, фаршированный тертыми кокосовыми орехами и запеченный в кокосовом тесте; все это заворачивалось в листья и пеклось на раскаленных камнях. В качестве напитка было подано кокосовое молоко, отжатое из тертого кокосового ореха. На Десерт нам подали нарубленные спелые бананы, запеченные в толстую оболочку из тертого кокосового ореха. Мы Уничтожили по целому цыпленку с начинкой и оболочкой, выпили все поданное нам молоко, с жадностью проглотили амброзию из бананов и кокосовых орехов, после чего провели сутки в полном уединении…

Кокосовая масса содержит слишком много масла, и кокосовый орех действует как одно из самых быстродействующих и сильных слабительных средств. На этот раз мы навсегда избавились от желания есть тертые кокосовые орехи.

Заключительным этапом производства копры является сушка ядра кокосового ореха. В Руавату была оборудована современная сушилка с печами, в нижней части которых расположен слой горящего древесного угля. Над слоем угля стояли одна над другой рамы с проволочными сетками, нагруженными ядром кокосовых орехов. Через определенные промежутки времени эту массу ворошили, чтобы копра равномерно сохла. Весь процесс сушки, температура печей, время съема готовой копры были научно разработаны, чтобы продукция соответствовала установленному стандарту.

«Дикари», работавшие в сушилке, разбирались в показаниях часов и термометров.

Драгоценный продукт выходит из сушильных устройств в виде небольших твердых кусков желтоватого жира. Это высушенные кусочки кокосового ядра с тоненькой внутренней коричневатой оболочкой. Упакованная в мешки копра ожидает шесть недель, покуда прибудет «Матарам», и тогда проворные малаитяне погрузят мешки на баржу, а потом на пароход. Дальше через порт Сидней копра отправится в различные части света.

Впоследствии она вернется на эти острова из Англии, Германии или США, но уже в виде столового маргарина или мыла.



Глава тринадцатая



Труд завербованного на плантацию рабочего-малаитянина не имеет ничего общего с привычным занятием туземцев[16]. Единственное сходство — в методах этого труда, когда временами кажется, что туземец превращает свой труд в своеобразную игру, идущую на пользу белому человеку. Все этапы работы, начиная с собирания кокосовых орехов и вплоть до погрузки мешков копры на пароход, сопровождаются возгласами, сопутствующими играм любых мальчишек, когда рядом нет взрослых. В криках туземцев всегда звучит удаль, но не чувствуется радости.

Трудно представить себе что-либо безрадостнее жизни рабочих на плантации. Завербованный рабочий обязан отработать два-три года, в течение которых он не получает ни одного дня отпуска. Рабочий может досрочно уволиться с плантации только в случае тяжелой болезни, и, когда он станет непригодным к работе, ему предоставляется право вернуться в свою деревню. На протяжении своей работы на плантации рабочий не имеет права посещать соседние деревни (деревенские жители обязаны следить за этим); завербованным рабочим не разрешается устраивать на

плантации празднеств с танцами и пением. По мнению плантаторов, если рабочим позволить песни и пляски, то празднество будет длиться неделю кряду, а потом плантатору понадобится еще неделя, чтобы навести в работе порядок. Рабочих вербуют только из числа сильных и молодых парней. Женщин на работу вообще не берут. Обычный в результате отсутствия женского общества гомосексуализм здесь является исключительной редкостью и считается туземцами пороком, свойственным только белым людям.

За тридцать долларов в год рабочий обязан ежедневно, кроме воскресенья, работать по девять часов в день. Налоги за него платит хозяин, от которого рабочий получает бесплатную медицинскую помощь, койку, одеяло, противомоскитный полог, фунт вареного риса ежедневно, фунтовую банку консервированной рыбы или мяса еженедельно и новую набедренную повязку ежемесячно.

Железным правилом этой, с позволения сказать, щедрой оплаты является порядок, при котором рабочий не может получить всех заработанных денег, покуда не наступит конец контракта. Закон повелевает, чтобы две трети заработной платы оставались рабочему в форме сбережений. Таким образом рабочему предоставляется возможность принести основную часть заработка в деревню. Но там этот заработок практически бесполезен, поскольку туземная деревня не знает денежного обращения. Вместе с тем рабочий может купить на плантации все, что вздумает, и истратить весь заработок до последнего гроша, независимо оттого, выплачивается он частями или полностью. Для этих целей каждая плантация имеет лавочку или склад товаров.

Плантатор еженедельно выкладывает перед рабочим его жалкий заработок, а потом в прямом или переносном смысле слова отбирает его обратно за

проданные товары — вроде перекиси водорода, идущей для окраски волос, или часов-будильников, охотно покупаемых туземцами за наличие в них звонка.

На плантациях известны установленные правительством правила о ценах, но они применяются лишь в случаях, когда поступают жалобы на несправедливую торговлю. Однако жертвы произвольных цен всегда слишком взволнованы своими покупками, чтобы подозревать плантатора в незаконном повышении цен.

Вопрос эксплуатации туземцев затронул нас в связи с подысканием модели для портрета. В одну из суббот, в день получки, мы подошли к складу, чтобы из числа собравшихся жертв эксплуатации выбрать натурщика. Нам хотелось найти парня, прибрежного жителя, рослого и здоровенного, на манер туземного полицейского. Возле склада мы увидели примерно шесть десятков рабочих, выстроившихся за получением еженедельного пайка, состоявшего из банки консервов, двух плиток прессованного табака и коробки спичек.

Закон предусматривает, что деньги должны переходить из рук в руки, но плантатор пренебрегал этой формальностью и ограничивался выдачей записки на получение желаемого товара. Взяв записку, рабочий уходил в сарай, где получал свою грошовую покупку.

Мы не пошли в сарай, но с интересом следили за сияющими лицами рабочих; никто на свете не мог бы так сиять, став жертвой жульничества (мы не хотим ставить под сомнение честность нашего любезного хозяина. Подобное «жульничество» является общепринятым здесь, на островах. Это очень похоже на то, что происходит у нас, в Америке, где в руках торговцев остается треть продажной цены, а фактический изготовитель получает менее трети).

В качестве модели мы выбрали парня с самым большим ртом и отлично развитой мускулатурой и

попросили нашего плантатора договориться с рабочим насчет позирования нам завтра, в воскресенье, поскольку у рабочего свободный день.

Ни за что... Просить рабочего нельзя, рабочему надо только приказывать... а приказ работать в воскресенье есть прямое нарушение закона. Рабочий, которого заставили работать в день отдыха, имеет право жаловаться островной администрации, а плантатора могли бы оштрафовать за нарушение закона. Так, по крайней мере, утверждает закон (однако, когда «Матарам» прибывает в воскресенье, погрузка идет обычным порядком)...

Как бы там ни было, но позирование для портрета было отложено до понедельника, а парню было приказано начисто вымыться, иначе плантатор обещал свернуть ему голову. Все стоявшие в очереди рабочие выслушали приказ хозяина и направились по баракам, но как только они миновали сарай, раздались возгласы, в которых явно слышались осуждающие интонации.

* * *

Рано утром в воскресенье, вооружившись фотоаппаратом, для которого у нас теперь не было пленки, мы отправились к рабочим баракам. Фотоаппарат служил нам маскировкой наших истинных целей.

Все эти здоровенные «дикари», о которых мы слышали бездну страшных рассказов, сидели на земле в тени сарая, и мы не видели, чтобы они развлечения ради бросали друг в друга ножами. Они очень мирно наводили красоту, и это очень напоминало туалетную комнату при зале для танцев, но с некоторой разницей во внешности и поведении посетителей. Большинство парней смотрелось в продолговатые зеркала для бритья,

такие плохие по качеству, что в них противно было смотреться. Зеркала были зажаты между коленями, а их владельцы, вооружившись двустворчатыми раковинами, со всей серьезностью выщипывали жалкие признаки растительности на лицах. Кое-кто пользовался для подбривания висков огромными ножами-мачете, а один парень даже ухитрился бриться отточенным краем металлической коробки из-под сигарет. Наибольшее внимание уделялось прическам — гордости мужского населения островов.

Растительность на головах местных жителей мало похожа на черные, курчавые, как шерсть, волосы наших негров. Больше всего она напоминает спутанную металлическую проволоку. Парни подравнивали ее, как живую изгородь; они расчесывали волосы во всю длину при помощи трезубого гребня, сделанного из бетелевого орешника; затем, подрезая при помощи ножа-мачете один волос за другим, придавали прическе желательную форму. Ни одна прическа не обрисовывала запросто формы головы, а повсюду возникали большие шары, острия, треугольники, шишки, завитки в стиле «помпадур». Все это сооружалось спереди, то есть в местах, которые можно было увидеть в зеркале, а волосы на затылке подстригались очень коротко.



Курьезно, что каждый причесывался без посторонней помощи и даже волосы на затылке подстригал сам.

Наш будущий натурщик, очевидно готовясь к позированию, соорудил на своей голове монументальную вершину, оканчивавшуюся плетеным пучком. Создание такой прически отняло у него добрых два часа, но в конце концов он достиг идеальной формы, и на прическе не выделялся ни один завивающийся кольцом волосок. Часть времени была потрачена на почесывание головы восьмидюймовым гребнем, а в

заключение порыжевшие на макушке волосы были слегка нафабрены черной сапожной мазью. Покуда наш парень не спрятал банку с мазью в сундучок (с колокольчиком в замке, чтобы сигнализировать о взломщике), мы все ждали, что будут подкрашены также ресницы, но этого не случилось. Он начал примерять серьги, сделанные из обыкновенных спичек, пропускаемых в три дырочки, проделанные в мочке уха.

Другие рабочие также занимались своей внешностью. Известь, полученная из толченого коралла, является отличным средством от насекомых и одновременно применяется для получения светлой окраски волос. Среди рабочих Руавату мы встречали платиновых блондинов, золотистых блондинов, тициановских рыжих, а несколько человек полностью обесцветили волосы, а потом покрыли их другим пигментом. Очень популярной была окраска в синий цвет, а сочетание синих волос с такой же набедренной повязкой считалось очень шикарным. Художнику выгодно такое сочетание, но поскольку на здешних островах не существует естественного синего красителя, то рисунок был бы явной подделкой.

Известь превращают в густую пасту и руками накладывают на голову, а когда паста высыхает, ее стряхивают. Так возникали перед нами ярко-коричневые люди с лимонно-желтой, похожей на кивер прической и с ярко-красными растениями, воткнутыми за уши.

Возня с прическами продолжалась почти все утро. Потом рабочие занялись починкой своих вещей или изготовлением украшений. Наш натурщик открыл свой сундучок с драгоценностями и вытащил любопытнейшую вещь: неоконченный ошейник из стеклянных бусин, образующих по рисунку и расцветке британский флаг. Такое ожерелье нас очень смутило, но парень смущения не испытывал и, пользуясь иглой и тонкой нитью, принялся нанизывать бусины, изящно

отставляя суховатые пальцы, как леди, держащая чашку чая. Время от времени он, как норовистый конь, раздувал широкие ноздри, и мы могли подумать, что он дурачится, так как окружающие хохотали во все горло с визгом и захлебываниями. Наш парень говорил без умолку, повторяя какую-то происшедшую с ним историю, в которой большую роль играла «кай-кай» (еда). Мы едва уловили содержание рассказа, хотя в доме в Руавату мы разговаривали только на пиджин-инглиш для приобретения необходимой нам практики. Домашних слуг мы отлично понимали, но пиджин-инглиш рабочих плантации трещал так, как будто что-то взбивали мутовкой. Как ни странно, рабочие отлично нас понимали, но никто из прихорашивающихся парней не обращал на нас внимания, пока мы с ними не заговаривали.

Нас заинтересовало, имеет ли наш будущий натурщик подлинные туземные украшения. Из своего бездонного сундучка он вытащил длинную, около метра, связку больших клыков. Это была давнишняя мера островной валюты, которую в каждой лавке белые люди ценили в пять долларов (белые торговцы принимают в уплату за проданный товар связки клыков, браслеты из раковин, нанизанные кораллы, отдельные раковины, и все это имеет стандартную цену).

С нашей точки зрения, связка клыков была отличным украшением для нашего умудренного опытом прибрежного жителя.

Нам пришлось решительно настаивать на том, чтобы украшения при позировании ограничились только этой связкой. Но иначе рассуждал наш избранник, который достал три дешевых стеклянных браслета, надел их выше локтя и утверждал, что именно так ходят все люди в деревне. По его утверждениям, бесспорно «деревенскими» считались и новехонькая курительная

трубка из белой глины и пластмассовый пояс с огромной никелированной пряжкой.

Это было нашим первым столкновением с местным специалистом по вопросу о подлинном туземном наряде. Перед тем как отправиться домой, мы тщательно освидетельствовали связку клыков, чтобы убедиться в отсутствии на ней лаконического клейма «Made in Japan».

В тот же день после полудня мы вторично увидели нашу модель. В этот час, вместо того чтобы предаться покою, как этого требуют местные обычаи, Маргарет и я улеглись на стволе дерева, горизонтально повисшего над линией прибоя. Наш парень разгуливал по берегу в обществе еще пятерых спутников. С одним из них он держался за руки, как это часто делают туземцы на прогулке. Вся компания веселилась и хохотала, сверкая стеклянными украшениями и красными Цветами, позаимствованными с любимого хозяйского куста, Росшего над рекой. Когда, не замечая нас, они проходили мимо, мы увидели большие рты, покрытые кровавой пеной бетелевого ореха, жевать который им строго запрещалось. Парни, еще утром предававшиеся такому немужскому занятию, как нанизывание бус, явно направлялись в сторону французской католической миссии.



* * *

Сеансы, начавшиеся в понедельник и продолжавшиеся до среды, не были отмечены никакими событиями, но помогли нам приобрести опыт в рисовании местных жителей.

Поскольку ни одному рабочему не разрешается входить не только в дом плантатора, но даже ступать на веранду, мы были вынуждены работать возле склада

копры, испытывая все мучения от мух и прочих островных мучителей. Маргарет пришлось вооружиться опахалом из пальмовых листьев и разгонять тучи насекомых, мешавших мне ясно видеть модель.

Нашему парню было очень тоскливо сидеть в одиночестве, не имея возможности перебросить и словечком с приятелями, а слабый ветерок, создаваемый опахалом Маргарет, навевал на него сон, и постепенно наш натурщик погрузился в сладкую дрему. Мощная мускулатура и грозное выражение лица словно растаяли и превратили натурщика в бесформенную кучу коричневой лавы.

Обычно Маргарет умела серией интересных вопросов приводить в должное состояние засыпающую модель, но на этот раз на все вопросы она получала один ответ:

— Да, миссис…

А мне хотелось написать портрет туземца, который контрастировал бы с прежним портретом малаитянина — безобидного жителя горных зарослей.

Маргарет задала нашему натурщику вопрос, не принадлежит ли он к числу горных жителей, в тайной надежде, что подобный вопрос заставит его взъерепениться, но это было слишком тонко задумано, и парень решил, что его спрашивают, не житель ли он горных зарослей Гвадалканара. Нет, он с острова Малаита. Из лесного района Малаиты? Нет, он прибрежный житель.

Наше тонкое искусство донимать человека вопросами потонуло в путанице пиджин-инглиш, и мы попросили плантатора дать нам еще одного туземца — уроженца горных зарослей Малаиты, чтобы он стоял рядом и выводил из сонного состояния нашего натурщика.

Такого парня на плантации не оказалось.

Тогда у Маргарет возникла идея: она принесла портрет нашего малаитянина — жителя горных зарослей

и показала его натурщику. Портрет ему не понравился. Сказав, что это житель горных зарослей, наш натурщик немедленно изменил выражение лица, как это бывает с прибрежным жителем, когда он встречает жителя горных зарослей. Портрет бушмена-малаитянина был повешен так, что наш натурщик непрерывно его видел, а Маргарет задавала вопросы, касающиеся жителей горных зарослей. Когда у нашей модели интерес к портрету начал угасать, Маргарет высказала несколько одобрительных слов по адресу жителей горных деревень.

Сам того не замечая, наш парень напряг свою мощную мускулатуру, а толстогубый рот сложился в презрительную гримасу.

Мои трудности, если их сопоставить с трудностями Маргарет, были чисто технического порядка. Солнце, продвигавшееся к зениту, меняло расположение светотени на рисунке и модели; мне трудно было смотреть из-за яркого света, разлившегося кругом, хотя ни модель, ни фон не были освещены солнцем. А если к числу технических трудностей причислить копровую мошкару, муравьев, мух, москитов и слепней, то мучений, которые мы испытывали обе, было вполне достаточно. Правда, в Руавату я писала в роскошных условиях. Мы находились по соседству с домом, куда время от времени могли удаляться для отдыха. Воздух во внутренних комнатах, защищенных двойной крышей, казался прохладным; мы могли напиться чистой воды, а когда возвращались к нашей модели, то находили ее всегда на том же месте. Иногда наш парень спал, но он был тут и можно было продолжать писать портрет. Дисциплинированность нашего натурщика, хотя и объясняющаяся страхом нарушить приказ плантатора, была преимуществом, которое мы смогли оценить позже, когда начали работать в деревнях.

* * *

— Похож? — спросили мы его.

Он почесал голову длинным гребнем и пробормотал что-то лестное.

— Очень похож?.. — настаивали мы.

— Да, очень похож…

При этом он потихоньку пятился от нас, так как мы отчаянно надоели ему за три сеанса. И вообще, раз сказано «конец», то он желал убраться восвояси.

Мы не могли зажечь в нем ни искорки интереса к портрету, ни вызвать слова удивления перед чудом, которое мы совершили, перенеся его лицо на плоскую бумагу. Мы отпустили его; он был, право, чересчур испорчен цивилизацией.

Некоторое время спустя, когда мы о нем позабыли и занимались приведением в порядок рисовальных принадлежностей, позади раздался голос.

— Не похож…

Наш парень стоял рядом и протягивал связку клыков, одновременно указывая на портрет.

В чем дело? Оказывается, на портрете не хватало клыков, так как часть из них была закрыта шеей натурщика, а я нарисовала только те, что свисали на грудь и были видны.

Эта критика привела нас в восторг, и мы от души смеялись. Однажды мне пришлось писать портрет женщины, сделавшей мне такое же замечание. Женщину никак нельзя было отнести к числу дикарей с уровнем культуры каменного века. Она была «культурной» и взрослой представительницей белой расы, наследницей стального короля, умела считать до шестидесяти и поэтому знала счет жемчужинам своего ожерелья, в котором передо мной позировала.

Ее не смущало, что мои глаза не рентгеновские трубки и я не могу сквозь ее шею видеть задние жемчужины ожерелья. И мне пришлось под угрозой неполучения платы за написанный портрет изобразить все шестьдесят жемчужин, чтобы те, кому в наследство достанутся портрет и жемчуг, знали, что им причитается.

Вот потому мы так и смеялись, когда наш малаитянин обиделся, что мы не изобразили все количество его жемчужин.

* * *

— Э-ге-ге-гей! — послышался крик на плантации. Этот крик был подхвачен еще кем-то, затем еще кем-то. Мы с нетерпением ожидали сообщения плантатора, кто приближается к берегу. В конце недели ожидался приезд Нэнкервиса и плантатора с Биренди, но сегодня была только среда.

— Похоже на… Нет… Даю слово, это лодка из Биренди… Очевидно, что-то произошло…

Да, произошло… Нэнкервис был мертв… Смерть наступила от мозговых осложнений, вызванных малярией, но начало было положено действиями рабочих-малаитян.

— Да… — сказал плантатор Биренди, тыча пальцем в написанный нами портрет прибрежного жителя Малаиты. — Вот как раз такие его убили!

Нэнкервис убит! Мы с трудом могли поверить этому сообщению. И вот он похоронен там, на острове, где его убили два дня назад.

Плантатор передал нам несколько фотографий, отпечатанных для нас Нэнкервисом; на одной из них была снята смеющаяся Маргарет рядом с Нэнкервисом на борту «Матарама». Это было всего лишь месяц назад.

Причиной смерти явилась постоянная, непрекращающаяся борьба туземцев с белыми людьми, которую плантаторы называют «системой извода». Являлась ли эта система одной из форм борьбы за освобождение от владычества белых людей или желанием сделать жизнь более занимательной, все равно — конец один. Благодаря таким действиям туземцам удалось в прошлом избавиться от многих плантаторов и многих принудить к бегству. Это вечная тема для рассказов о малаитянах и слухах о восстаниях.

Способ борьбы прост, и он начинается с уклонений от работы. Завербованный рабочий, если он болен, имеет право не выходить на работу. Более того, он может прекратить работу, объявив себя больным. Но если хозяин пожелает выяснить его температуру, то рабочий вправе не разрешить ставить термометр. Он может отказаться принять хинин или касторку, а приняв их, может выплюнуть и по-прежнему не выходить на работу.

Но плантатор заплатил вербовщику по пятьдесят долларов с головы, и ему нет смысла выгонять рабочего за непослушание. Единственным способом воздействия на непокорного рабочего является кулачная расправа.

Закон запрещает плантатору применять оружие, а применяя кулаки против группы рабочих, плантатор рискует получить сдачи. При столкновении один на один туземцы не знают, как использовать свои кулаки, — они дерутся, как бабы, наотмашь. Обычно они нападают сообща, после чего отправляются к ближайшему чиновнику и заявляют, что плантатор набросился на них первый. Плантатора могут вызвать в суд и оштрафовать на пятьдесят долларов.

Пережив однажды подобное столкновение, плантатор приобретает навыки старожила и впредь умеет показать каждому рабочему в отдельности, где раки зимуют, каждому, кто намеревается его

«изводить». Он спокойно уплачивает первый штраф и в дальнейшем только заботится о поддержании своей репутации злобного дьявола.

Что касается новичков, питающих какое-то уважение к закону, то они сдерживают собственную злость, в результате чего возникает непослушание отдельных зачинщиков, быстро перерастающее в общее возмущение. При таком положении вещей работа на плантации никак не идет, и новичку приходится либо добровольно уходить с работы, либо ждать, покуда компания его уволит со службы за «неумение управлять плантацией».

За несколько дней до своей гибели Нэнкервис, отлично осведомленный о настроениях рабочих, отправился с группой туземцев на расчистку кокосовой плантации, расположенной на одном из островов к западу от Гвадалканара. Он должен был вернуться в Биренди к концу следующей недели. Так как он уехал на единственной на плантации моторной лодке, то плантатор не мог понять, почему Нэнкервис не вернулся в обусловленный срок, и только в воскресенье вечером от вернувшегося с острова бывшего слуги плантатора узнал, что Нэнкервис «почти совсем кончился».

Из рассказов удалось выяснить, что на острове не было хорошей воды и ее надо было возить с плантации. Но рядом протекала речушка, откуда и брали воду. Это и привело к общему заболеванию дизентерией, хотя повар отлично знал, что воду сначала следует кипятить.

Местные жители легко заболевают дизентерией, но у них она протекает в гораздо более слабой форме, чем у белых. Короче, захворавший Нэнкервис, вместо того чтобы вернуться на плантацию и лечь в постель, остался на ногах и продолжал работу. Рабочие, как только заболели, отказались работать и предпочитали лежа под деревьями жевать запрещенный бетель.

Так прошла почти вся неделя, во время которой у Нэнкервиса начался первый приступ малярии. Измученный дизентерией и приступом новой для него болезни, Нэнкервис вынужден был лечь на носилки.

Ночью повар решил украсть и раздать своим товарищам запас продовольствия. Очнувшись, Нэнкервис увидел, как повар при свете горевшего керосинового фонаря раздает украденные консервные банки. Собрав все силы, Нэнкервис набросился с кулаками на повара и сбил его с ног. Погас фонарь, и град камней посыпался на Нэнкервиса. Один угодил ему в голову, и Нэнкервис лишился сознания.

Через некоторое время один рабочий подтащил его к носилкам, но Нэнкервис был слишком тяжелым, чтобы его можно было поднять. Над ним повесили противомоскитный полог, а бывший слуга плантатора добрался до Биренди и рассказал о случившемся, Когда плантатор приехал к месту происшествия, Нэнкервис еще жил, но был без сознания. У него началась черная лихорадка. Послали за врачом в Тулаги, но один врач находился в зоне военных действий, а другой уехал на «Ренанди» для борьбы с эпидемией кори, разнесенной «Божьим ковчегом». Когда врач на «Ренанди» прибыл, Нэнкервис был мертв. Смерть последовала от церебральной малярии...

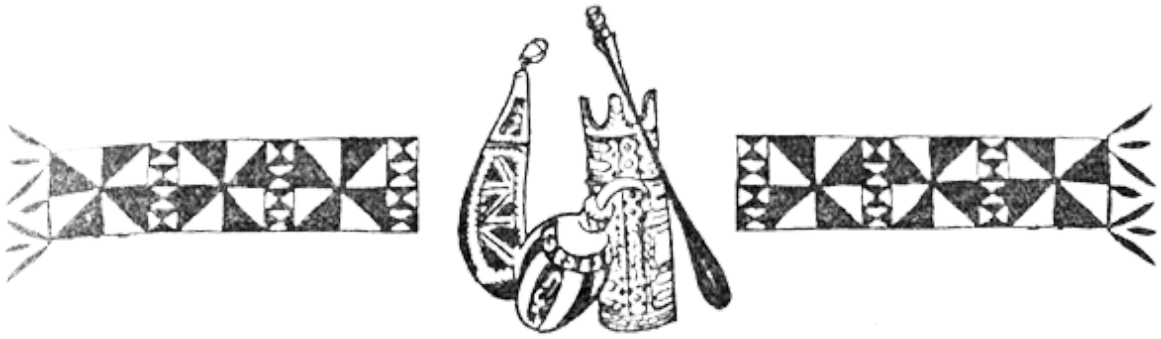
— Какая там малярия... — сказал плантатор. — Это все они, проклятые убийцы...

Он пристально посмотрел на портрет нарядного малаитянина, и его лицо стало бледным и суровым. Помолчав немного, он сказал:

— Здорово нарисовано...



Глава четырнадцатая



Если вам когда-либо случалось заблудиться в пустыне Гоби и за завтраком, приготовленным из яиц динозавра, увидеть адресованное вам письмо, то вы поймете наше волнение при виде адресованной нам в Руавату записки, которая была прислонена к тарелке с ванкуверской лососиной.

Кто мог знать, что мы здесь, в этой пустыне Гоби? Как записка сюда попала? Кто мог ее прислать, если мы здесь никого не знали?

Письмо напоминало китайскую головоломку, которую надо решать постепенно, покуда доберешься до сути. Внешний конверт был покрыт жирными отпечатками пальцев и выглядел так, будто прошел через огонь и воду. Второй, внутренний, конверт был без отпечатков пальцев, но чернила на адресе расплылись. Третий конверт имел четкую надпись, но не был заклеен. В нем содержалось приглашение посетить Танакомбо — плантацию на западной оконечности нашего острова.

В письме содержался ряд заботливых указаний на случай принятия нами приглашения. Например, в Танакомбо не имелось моторной лодки, но если мы напишем о нашем согласии, то за нами в назначенное время будет прислана лодка с соседней плантации.

Размышления над ответом продолжались недолго, и в тот же день, воспользовавшись находившейся здесь лодкой из Биренди, мы пустились в путь «навстречу свободе», захватив с собой гонца, принесшего приглашение из Танакомбо. Было решено пробыть двое суток в Биренди, покуда гонец с нашим ответом вернется в Танакомбо, откуда за нами пришлют моторную лодку.

Вечером мы высадились в Биренди, где плантатор немедленно вручил наш ответ гонцу и приказал ему отправиться в путь.

— Не может же он ночевать в лесу… — заявили мы протест нашему хозяину. — Он не может всю ночь идти…

— Может… — отрезал плантатор. — Сейчас полнолуние… Отличные условия для прогулки…

— Но он должен хотеть спать… — настаивали мы.

— Туземцы, — заявил плантатор, — мало спят в светлые лунные ночи. В деревнях гонец встретит бодрствующих туземцев, может быть даже своих соплеменников, с которыми он посудачит и которые его накормят. Такой стокилометровый пробег является прекрасным развлечением для туземного рабочего.

Поев на дорогу риса, получив от нас в подарок две плитки табака и спрятав наше письмо в прическу, гонец двинулся в путь. Шел небольшой дождь — остаток шквала, который мы и на этот раз встретили в пути. Тучи ушли вслед за заходящим солнцем, а к моменту отправления гонца на востоке взошла полная луна.

Мысль о человеке, пробирающемся ночью сквозь тенета липкой паутины, мимо населенных духами зарослей, через деревни, зараженные корью, переплывающем мутные реки, с находящимися в них аллигаторами, проходящем милю за милей вдоль озаренной лунным светом полоски берега, где прибой рассыпается серебром в голубом сиянии, — эта мысль

придавала особую романтическую окраску банальным словам нашего письма, где говорилось: «Мы с радостью принимаем и т. д.».

В этих краях подлинная война — упорная, непрекращающаяся и яростная — ведется не между белыми захватчиками и темнокожими хозяевами земли и даже не между человеческими существами, бактериями, насекомыми и прочими обитателями. Люди всех цветов кожи ведут отчаянную войну с природой за право удержаться на этой земле. Против людей сражается растительность, яростно пытающаяся выбросить с островов жалких представителей человеческого рода.

Райская картинка, изображающая, как некто разлегся на спине и манна небесная сыпется ему в рот, — отличная картинка. Возможно, она подходит для каких-либо других тропических островов, но не для Меланезии. Здесь надо уметь выращивать пищу, здесь надо уметь культивировать почву. В этой оранжерейной атмосфере повсюду, где плодородная девственная земля освещается солнцем, буйная растительность вырастает чуть ли не за один день. В огородах постоянно видишь женщин, у которых только одно занятие: полоть, полоть и полоть. Полоть надо без устали эту непрерывно родящую землю. Если на короткий срок прекратить пропалывание, то оставленный участок можно отличить от окружающей природы только по двум признакам: отсутствию на нем больших деревьев и невероятной густоте выросшего кустарника.

Каждый зеленый побег возле плантаторского дома немедленно выдергивается. Это делается не только потому, что кустарник служит убежищем для ядовитых змей, но из-за того, что если не удалить растительность сразу, то бороться с ней будет трудно. Война ведется непрерывно и будет вестись до бесконечности.

На плантациях содержат скот отнюдь не для молока или мяса (из-за опасности заболевания дизентерией, если местные рабочие будут доить скот или разделывать туши), а для Уничтожения побегов травы. Вдоль границ плантаций постоянно работают топоры туземных рабочих, уничтожающих наступающую на плантацию поросль кустарника.

Жаркий и влажный воздух придает растениям необычайную силу, прежде чем их ростки покажутся из земли.

Цветы и овощи, переселенные из стран умеренного климата, могут здесь выращиваться при условии абсолютного внимания, иначе они немедленно идут в семя, минуя обычно длительное время цветения и плодоношения.

Местное население ограничивается посадкой клубневых, какими являются таро[17] и род местного сладкого картофеля. Даже посадки местных банановых деревьев надо очищать от кустарника, хотя само дерево не требует какого-либо ухода. Сама деревня — всего лишь кусок земли, отвоеванный у леса. Все женщины и девочки непрерывно удаляют всякую постороннюю растительность возле деревень.

Кокосовые пальмы на побережье всегда наклоняются в сторону моря, как бы убегая от наступающего на них кустарника.

Лишенные выдумки австралийцы называют это маловыразительным словом «кустарник», хотя здесь налицо все признаки джунглей. Внешнюю стену джунглей, не проникая в глубину, мы обследовали в первые же дни, когда искали красочный «гогеновский» фон для наших малаитянских моделей. Цветов мы не обнаружили, а использованные нами красные гроздья не были цветами, а семенами одной из пальм. Никогда и нигде на островах мы не видели нарисованных Гогеном экзотических цветов или крупных, массивных растений,

растущих даже в Калифорнии. Единственный цвет, который видишь вдоль всей стены кустарника, — зеленый. Временами создается ощущение, что кустарник — нечто способное двигаться, подавлять и душить.

Сплошная, без единого разрыва или отверстия стена растительности имеет сто футов в высоту, а поверх стены торчат мертвые вершины деревьев, удушенные снизу сорняками и паразитами. Тысячи летающих лисиц (точнее, летучих мышей) висят вниз головами на мертвых ветвях деревьев, представляя собой отличные мишени для плохо стреляющих охотников. Испуганные выстрелом, они тучей взлетают со своих мест и снова повисают в нескольких метрах от прежнего места, чтобы продолжать дневную спячку.

Несколько ниже виднеются зеленые побеги вьющихся растений, упрямо пытающихся перебросить на культурные посадки кокосовых пальм, если только они находятся поблизости. Еще ниже, под листвой деревьев, свисают петли лиан, достигающие вершин самых высоких дикорастущих пальм.

Нижняя часть этой стены отражена в живописи Руссо. Здесь можно увидеть сложнопереплетенный рисунок, напоминающий узор на замерзшем стекле, со всем многообразием безумствующей природы. Мало найдется мастеров рисунка, способных скопировать бесконечные комбинации зеленого узора. В равной степени не найдется слов, чтобы их описать. Когда присмотришься к стене, то перед глазами возникают самые разные растения: пышные, словно поросшие мхом, липкие, покрытые бородавками, зеркально гладкие и сборчатые, с зубцами по краям листьев и с разрезами, массивные и едва различимые. Можно увидеть кружевной узор сине-зеленого цвета с медными прожилками, настолько прозрачными, что в них видна циркуляция соков растения. Листья растут параллельно

стене кустарника, что делает ее похожей на причудливый китайский шелк. Можно увидеть огромные, величиной с зонтик мохнатые листья; перед вашим взором красуются сотни пород пальм с самыми причудливыми очертаниями листьев, и только специалист может определить, к какой семье они относятся.

Внизу, у самой земли, виднеются огромные, похожие на слоновые уши листья таро. Там же растут папоротники, а кое-где видны длинные листья, свисающие с банановых деревьев, и ярко-красные гроздья семян.

Тысячи видов насекомых ползают по земле и растениям, а различные коконы нашли приют на нижней стороне листьев. Насекомые из породы богомолов, напоминающие зеленые веточки, действуют совсем как разумные существа. Муравьи, похожие на обычных, кусаются сильнее любого Дракона. Бесчисленные пауки опутывают все кругом дрожащей паутиной и превращают деревья в рождественские елки, покрытые золотыми нитями мишуры.

Все это австралийцы называли «кустарником», а мы — «джунглями». Но, проникнув за зеленую стену, мы поняли, как далеки от истины оба названия.

* * *

Экспедиция держала путь в деревню, находящуюся всего лишь в двух часах ходьбы от побережья.

Наш отряд всерьез походил на настоящую экспедиционную партию. Во главе отряда на боевом белом коне восседал соседний плантатор, на голове которого красовались две надетые одна на другую широкополые войлочные шляпы. Маргарет и я оделись, как настоящие «леди-путешественницы», но прежде чем

добраться до границ плантации, наши безупречно белые брюки намокли от пота и покрылись черными жирными пятнами от старых седел.

Стремена оборвались сразу, как только мы попытались ими воспользоваться; тогда их скрепили проволокой, но сгнившие от сырости ремни рвались каждый раз в новом месте, и мы стали напоминать посадкой жокеев, вместо того чтобы походить на «леди-путешественниц».

Головы лошадей были покрыты болячками, привлекавшими тучи мух, которые лезли нам в глаза и углы рта. Вооружившись связками пальмовых листьев, мы всю дорогу грациозно обмахивали себя и лошадей.

Я ехала впереди, за мной двигалась Маргарет верхом на кобыле, которую неотступно сопровождал жеребенок. Маргарет должна была замыкать шествие, но моя лошадь решительно не выносила, если кто-либо двигался позади. Когда-то, переплывая реку, она была укушена крокодилом, о чем красноречиво свидетельствовал незаросший шерстью шрам.

Плантатор, посадив меня на эту лошадь, оказал высокую честь моему умению обращаться с лошадьми, а еще более моим нервам. Не будь с нами носильщика, моя лошадь совершенно испортила бы наш поход.

Носильщик в нашей экспедиции был всего лишь один, но его личные качества восполняли нехватку количества. Его прическа была произведением искусства: выкрашена в белый цвет, расчесана и подстрижена. Чтобы не измять красный цветок, воткнутый в вершину снежно-белой копны волос, носильщик нес наши бутерброды и одеяла в мешке за спиной. Этот болтающийся мешок вызывал подозрения моей лошади, и носильщику пришлось идти далеко позади моего лягающегося кенгуру.

От дома мы начали движение шагом, но потом аллюр был изменен. Обычная австралийская лошадь знает либо

шаг, либо галоп. Через плантацию мы пронеслись во всю прыть, размахивая, как знаменами, пальмовыми листьями, сопровождаемые жеребенком, восторженно описывавшим вокруг нас широкие круги; при этом мой кенгуру шарахался из стороны в сторону, как пьяный фавн. Несмотря на отчаянную скачку, полчища мух вились вокруг нас. Пятница — как мы прозвали нашего носильщика — бежал поодаль, придерживая рукой цветок в прическе. Казалось, что мы скачем по усыпанному камнями пересохшему руслу, так как повсюду в траве валялись упавшие кокосовые орехи.

Мы не успели доскакать до границы плантации, как наши руки оказались растертыми от поводов, которыми мы непрерывно удерживали спотыкающихся лошадей. Все мы были в мыле — лошади и люди, хотя ехали в густой тени…

Перед нами показался подъем, поросший тигровой травой. Это единственный вид невысокой, около десяти футов, травы, которую мы обнаружили на здешних островах. Шедшая впереди лошадь, видимо, отлично знала дорогу и двинулась прямо через густую траву.

Здесь не было даже признака тени, только метелки на верхушке травы свисали над нами. Этот коридор в траве оказался сущим адом: лошади шли шагом, а мухи облепили нас, так как наши соки показались им не менее вкусными, чем лошадиные болячки. Я терпеть не могу ходить пешком, но в отчаянии чуть было не слезла со своего тяжело дышавшего коня. Мы подъехали к зеленой стене кустарника.



Насколько хватал глаз, в этой стене не было даже признаков прихода. Некоторое время мы двигались гуськом вдоль освещенной утренним солнцем сплошной зеленой массы, потом наш плантатор вместе с лошадью нырнул и исчез в стене. Только животное с его безошибочным чутьем может так знать дорогу. Отверстие в зеленой стене было полуприкрыто тонкой лиственной завесой, позади которой шел тоннель. Здесь могла пройти только лошадь, и нам пришлось наклониться вперед, прижимая головы к шеям лошадей. Так мы двигались до тех пор, покуда не послышался голос плантатора:

— Все в порядке...

Все кругом было почти черным; пахло сыростью, как в пещере. Маргарет громко крикнула, и откуда-то издалека ответило эхо. Когда глаза освоились с темнотой, мы изумились открывшейся перед нами картине. Мы действительно очутились в какой-то подымающейся кверху пещере, наполненной сталактитами и сталагмитами. Самым удивительным было полное исчезновение признаков джунглей. Здесь не было ни зарослей, ни кустарника, ничего зеленого на земле. Перед нами были гигантские, далеко отстоящие друг от друга стволы деревьев. Они поднимались вверх, совершенно прямые, лишенные ветвей, и только на высоте восьмидесяти и более футов раскидывали сплошной зеленый свод, через который едва мерцал дневной свет. Как в куполе огромного цирка, свисали, похожие на канаты, безлистые лозы ползучих растений. Внизу, тесно переплетаясь с мощными корнями деревьев, ползучие растения, как гигантские питоны, неудержимо ползли вверх, тесно сжимая огромные стволы и оплетая их сплошной сетью. Нет ничего удивительного в том, что у деревьев не было нижних ветвей; только освещенные солнцем кроны могли противостоять этой армии паразитов.

Мы проезжали через лабиринты воздушных корней по черной массе, столетиями гниющей от невысыхающей влаги. В прохладном воздухе ощущался сильный запах прелого листа и гниющего дерева. Кое-где виднелись упавшие на землю гигантские стволы, но даже в месте их падения не было просвета в зеленом своде.

Трудно понять, как в этой темноте вырастают новые деревья, но все же тут и там виднелись прямые, как стрела, молодые деревца; их оголенные стволы тянулись вверх, к слабо мерцающему свету, протягивая ввысь редкие прозрачно-зеленые листья. Это были единственные красочные пятна во всей огромной пещере.

Гниющая на земле листва была темно-коричневой, почти черной. Холодно-серые стволы деревьев были покрыты коричневыми пятнами лишайников. Весь лес был пронизан своеобразным зеленоватым сумраком, таким характерным Для всякого густого леса.

Если бы не наш плантатор, мы прозевали бы первый встреченный нами на острове цветок. Высоко на дереве виднелась бледная, желто-зеленая, похожая на небольшую бабочку гроздь. Это была орхидея.

Только спрятавшись от солнечных лучей, могло вырасти и расцвести это нежное растение.

Все кругом, кроме звуков, напоминало пещеру. Отовсюду слышался писк, визг, свист, скрежет пилы, удары и карканье.; Кто-то невидимый кричал, как ребенок. Не видно было столь привычных на плантациях какаду, но их хриплые выкрики доносились сверху. Нет ничего удивительного в том, что жители зарослей, или, как мы их зовем, «бушмены»[18], живущие в полумраке, среди криков и воплей, стали анимистами.

Непрерывный звон, раздававшийся в ушах, объяснялся не птицами. Воздух был наполнен любящими полумрак анофелесами. Сопровождавшие нас полчища мух оставили нас по ту сторону зеленой стены, а сейчас наши лошади, да и мы сами были покрыты насосавшимися кровью анофелесами. Моя измученная лошадь с опущенной книзу головой с трудом перебиралась через высокие корни. Другие лошади, все в мыльной пене, были в таком же жалком виде. Я слезла с седла и решила пойти пешком.

Ноги вязли в гниющем фунте, и я выбилась из сил, пройдя всего несколько метров. Снова усевшись на лошадь, я ощутила странное сочетание жары и холода.

Внезапно начался шторм. Мы услышали его рев, донесшийся сверху, через вершины деревьев. Начавшись в отдалении, рев становился сильнее, и вдруг все потемнело, словно наступила ночь, безлунная

и непроглядная. Как по мановению волшебной палочки, прекратился птичий гам. Один порыв ветра за другим проносился по зеленому своду, потом налетел ураган. Шум урагана несравним ни с чем; это сочетание стона, рева и завывания неописуемой силы. Удар молнии с треском разорвал в клочья крышу листвы и на секунду осветил свисающие лианы, раскачиваемые чьей-то могучей рукой. Мириады листьев посыпались сверху, а за ними полетели ветки.

Перепуганный жеребенок метнулся в темноту, а мой конь перестал слушать повод, остановился и задрожал мелкой дрожью. Я все боялась, что он бросится в сторону. Нам пришлось слезть с лошадей и искать места для коновязи. Для этой цели наш Пятница был бесполезен; он ни за что не соглашался приблизиться к лошадям.

Потом начался дождь. Послышался глухой шум, и сплошные потоки полились с верхних ветвей и свисавших лиан. Когда порывы ветра заставляли зеленую крышу раскрываться, ведра воды опрокидывались на наши головы. Стволы деревьев, по которым хлынули струи воды, стали похожи на вставшие дыбом потоки и светились белой зыбью. Наша тропа, вернее, все, что от нее осталось, превратилась в сплошной поток воды. Холодный ветер дул и дул, заставляя мурашки пробегать по коже.

А мне, как ни странно, было жарко… Вернее, одновременно я ощущала холод и жару. А глаза надулись, как резиновые, и когда я ими вращала, то ясно чувствовала, как они касаются моих мозгов. Все мускулы и суставы болели, а кожа была одновременно влажной и сухой. А главное, я чувствовала себя очень жалкой.

Это была она — малярия…

* * *

У плантатора начался приступ малярии, у Пятницы начался приступ малярии, у моей лошади тоже была малярия. Только лечившиеся хинином жеребенок и Маргарет избежали заболевания.

Мы стали жалкой карикатурой на экспедицию, когда, не достигнув цели, были вынуждены вернуться на побережье. Я не сомневалась, что умру от церебральной малярии (от которой погиб Нэнкервис) и не сумею увековечить в живописи меланезийцев. Я чуть не ревела, думая о Маргарет, которая вынуждена будет скоро, может быть даже послезавтра, похоронить меня на этом заброшенном острове. А затем одинокой Маргарет придется совершить длиннейший обратный путь только для того, чтобы быть встреченной единственной фразой: «Вот видите, мы вам говорили…»

Обратный путь на плантацию казался мне бесконечным, и я думала о прожитой греховной жизни, но больше всего меня занимала мысль о головной боли.

Моя малярия оказалась наиболее приятной — перемежающейся. Приступ повторялся через сорок восемь часов на протяжении недели, после чего прекращался до следующей простуды. Мы даже решили, что приступ начинается одновременно с дождем. Во время сезона дождей последние начинаются регулярно в одно и то же время суток, но каждый раз на несколько минут позднее. Мой приступ начинался в тот момент, когда солнце скрывалось за дождевыми облаками. На протяжении вечера и ночи, покуда лил дождь, моя температура достигала точки плавления металла, но с появлением солнца я обливалась потом и приступ прекращался до следующего дождя.

Я не разделяю взглядов плантаторов, считающих приступ малярии относительной помехой в работе на

плантации. Не сомневаюсь, что люди могут даже в моменты головокружения и резкого недомогания управлять плантацией, но заниматься в таком состоянии живописью — никак нельзя. Поэтому я улеглась в постель, а туземные модели исчезли, твердо считая, что я умираю.

Через некоторое время я стала более оптимистически смотреть на вещи. В перерыве между двумя приступами я становилась обычным европейцем, которому в тропиках не без труда даются физические и умственные усилия. Как только приступ кончался, у меня наступал период, когда я работала с подъемом и энергией, и порой мне удавалось сделать гораздо больше, чем в обычном состоянии.

Маргарет с ее жалкими нарывами и болячками просто мне завидовала. Как бы там ни было, но после заболевания малярией я стала чувствовать себя испытанным старожилом, а Маргарет оставалась несчастным новичком.

Прошло немного времени, и мы восстановили репутацию нашей экспедиции, проникнув в глубь островов.

Глава пятнадцатая



Подплывая к Танакомбо, мы с первого взгляда заметили разницу между этой плантацией и всеми остальными[19]. Прежде всего, дом был расположен не на плоском берегу океана, а светился огнями где-то высоко, над вершинами пальм. Позади дома вместо привычного узора пальм виднелся темный сплошной фон джунглей. По-видимому, дом был построен на вырубке.

На фоне неба нечеткий силуэт дома отличался изящной линией от конька до нижнего ската веранды, чего никогда не увидишь, если дом покрыт волнистым железом. Как все туземные постройки, дом в Танакомбо был покрыт слоем пальмовых листьев. Приблизившись, мы увидели мягкую бахрому пальмовой крыши, узорно вырисовывающейся на оранжевом фоне освещенной лампами веранды. Своды поддерживались грубо отесанными столбами, с которых была снята только кора. Пол веранды был из тонких, пружинящих под ногой жердей молодого бетелевого орешника.

Голос хозяйки дал нам лучшее представление о том, с кем придется иметь дело. Еще на берегу,

переправляясь в темноте через шумную линию прибоя, мы услышали голос культурной англичанки, воскликнувшей с необычной для англичан сердечностью:

— О, как я рада, что вы приехали…

И тут же мы услышали взволнованное сожаление, что сегодня она не сможет обеспечить нам удобную постель.

При свете фонарей мы не смогли рассмотреть ничего, кроме худощавых голых ног хозяйки, обутых в стоптанные туфли. Очутившись на ярко освещенной веранде, мы увидели перед собой стройную женщину, скорее похожую на девушку, с тонким бледным лицом, окаймленным вьющимися светлыми волосами. Если бы волосы были причесаны несколько пышнее, лицо было бы менее угловатым и более красивым.

— Я так рада, что вы смогли приехать… — повторила она и поспешно добавила: — Я здесь так одинока…

Признание прозвучало как человеческая ласка, как вопль о необходимости общения между живыми существами. Очень скоро мы узнали, что этот красивый дом построен на туземный образец из местных материалов, что наша хозяйка — вдова с тремя детьми и Что она управляет плантацией без чьей-либо помощи. Болтая весь вечер напролет, хозяйка оживилась, и ее бледное, строгое лицо словно помолодело. Она нам показалась какой-то близкой и родной, и мы были счастливы при мысли о том, что нам предстоит прожить под одной кровлей по меньшей мере полтора месяца.

Первая ночь в Танакомбо напоминала сказку о принцессе на горошине. В ожидании нашего приезда хозяйка одолжила на соседней плантации кровать, но ее вовремя не доставили. Нам пришлось спать на затянутых сеткой носилках, поставленных в пристройке к веранде. Эта пристройка должна была стать нашей комнатой и представляла собой подобие маленькой

туземной хижины, лишенной крыши. Возле пристройки имелась яма или канава, где мы могли стирать или мыться. Пока что это место для умывания было просто ямой, где под покровом ночи шныряли и крякали какие-то таинственные ночные существа, населяющие темные ямы в незнакомых местах.

Так очутились мы — три белые женщины с тремя маленькими детьми — в доме, окруженном джунглями и туземными селениями.

Светила яркая луна, кое-где виднелись тучи — остатки пронесшегося шторма, неизбежно возникающего при каждой нашей поездке по морю. Всю ночь ветер налетал на дом, бесчинствовал в ближнем лесу и доносил к нам звуки, резко отличающиеся от ласкового шелеста нашей крыши, крытой пальмовыми листьями. Луна, вылезая из-за огромного облака, освещала вершины кокосовых пальм, росших между нашим домом и берегом, превращая их в море мерцающих бликов. А из растущего позади нас леса слышалось нечто очень похожее на «Реку» композитора Сметаны, перемежающееся с дробными ударами дождевых капель, изредка барабанивших по крыше. Далеко на востоке обрисовывалась цепь высоких гор, прерываемая чернотой долин. Над всем этим царила величественная тишина, а здесь, под крышей, творилось нечто неописуемое: ящерицы издавали малопонятные звуки, а крысы, преследуя ящериц, носились по столбам и балкам, издавая в охотничьем азарте яростный писк. Они взлетали по нашим противомоскитным пологам, забирались под потолок, исполняя цирковые гимнастические номера на трапеции, что заставляло крышу шуршать и шевелиться. А где-то далеко в лесу таинственное существо пилило и пилило до самого рассвета, покуда ему это не осточертело. Несколько позже под домом кукарекнул петух, а ошалелые спросонок куры выскочили из черной ямы дворика и

уселись на барьер веранды, раскачивая это ветхое сооружение. Потом куры завладели всей верандой и с довольным клохтаньем выбивали клювами дробь по деревянному полу, склевывая дохлых насекомых, налезших и налетевших ночью на огонь нашей лампы. Еще позже появились три собаки, сохранившие отдаленное родство с овчарками. Виляя хвостами от смущения, они обнюхивали нас со всех сторон Через противомоскитные пологи. Затем по ступеням загрохотали шаги боя — домашнего слуги, направившегося на кухню, откуда немедленно начал методично раздаваться грохот разбиваемой посуды.

Услыхав снова какое-то бормотание и шорох, я повернулась на бок, подняла полог и увидела пару черных глаз, заглядывающих через край веранды. Глаза принадлежали ребенку, вскарабкавшемуся вверх по столбу. Когда я приподняла полог, голова ребенка спряталась, словно кукушка стенных часов, и сразу же послышались вопли ужаса и взрыв гортанных звуков туземного говора.

На противоположной стороне двора сидела туземная женщина, одетая только в юбку из травы, а испугавшийся меня голый, ревущий во все горло ребенок искал спасения, пытаясь влезть матери на спину. Лицо матери метало громы и молнии, но обе руки, как ни в чем не бывало, продолжали полоть траву. По-видимому, ее лицо и руки выражали самые различные и независимые проявления чувств.

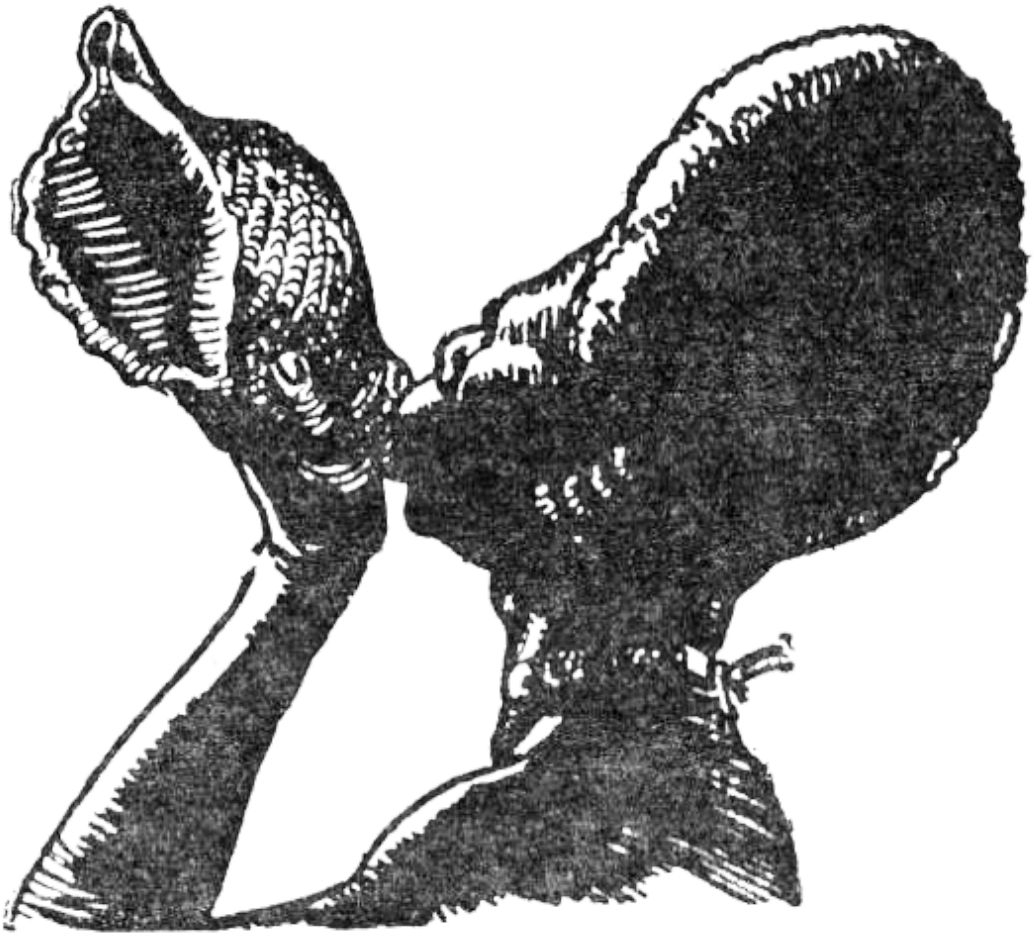
Ребенок все еще продолжал реветь, а мать метать молнии, когда на противоположном конце веранды появилась наша хозяйка. Мы были рады увидеть ее в ночной рубашке, так как слышали, что белая женщина в присутствии туземцев может ходить только полностью одетой. Распущенные волосы и повелительный вид делал нашу хозяйку похожей на леди Макбет.

Весь дом затрепетал, когда хозяйка прошла по веранде, бросая полольщице какие-то фразы на пиджин-инглиш. Курицы немедленно улетели, собаки убрались восвояси, а на кухне сразу начали готовить утренний чай. Мы не хотим подозревать нашу хозяйку в том, что она воздействовала на слугу ударом сковородки по голове, но как только хозяйка вошла в кухонный домик, оттуда донесся глухой удар, затем визг, после чего из дверей пулей вылетел слуга с розовой раковиной в руках. Слуга подбежал к веранде, повернулся лицом на восток и, напрягая жилы на висках и шее, протрубил сигнал. Это был долгий, красивый звук охотничьего рога, отозвавшийся в горах звучным эхо. Тотчас же где-то внизу, под перистыми листьями верхушек пальм, послышался рокот барабана. Это был сигнал, возвещавший начало работ на плантации. Солнце поднялось еще на дюйм и осветило лучом темно-коричневую полольщицу и успокоившегося ребенка. По неровному полу веранды раздался дробный топот босых ног, и перед нашими пологами появились две чашки крепкого горячего чаю.

— Чай подан, миссис… — возвестил слуга.

Так начался день в Танакомбо…

Не успели мы проделать сложный ритуал утреннего омовения и усесться завтракать на восточном конце веранды, где в этот час не было мух и москитов, как на дороге показалась процессия, двигавшаяся в направлении нашего дома. Две коричневые кариатиды в красных набедренных повязках, удостоверяющих принадлежность их владельцев к мужскому полу, несли на головах матрац. Еще две кариатиды несли пружинную сетку. За парными кариатидами следовали гуськом бока и спинки кровати, а сзади, верхом на коне, ехал соседний плантатор, который вел на длинном поводе двух лошадей. Процессия замыкалась скачущим жеребенком.



Следуя хорошим островным традициям, соседний плантатор явился с дарами, независимо от того, хорошими или плохими окажутся новые пришельцы. В дар были принесены бутылка шотландского виски, кровать, две лошади и слуга. Трое последних предназначались во временное пользование, пока мы будем гостить в Танакомбо. Без промедления, раньше, чем мы успели проглотить завтрак, дары были повергнуты к ногам Маргарет.

Покуда Маргарет в знак глубокой признательности была вынуждена выслушивать разговоры плантатора, я ушла с хозяйкой дома посмотреть, как одинокая женщина ухитряется управлять плантацией, что под силу только здоровому мужчине, расправляющемуся жесткой рукой с рабочими-малаитянами. Направляясь с

хозяйкой к складу копры, я узнала, что на плантации работают всего лишь двое постоянных рабочих. Один из них домашний слуга, а другой старший рабочий в сушилке. Без этих рабочих хозяйка не смогла бы управиться.

Плантация была заложена, и доходов с нее едва хватало на уплату процентов по закладной. Отсутствие свободных средств не позволяло хозяйке уплатить по 25 долларов за каждого завербованного рабочего. Из-за этого плантация находилась в полной зависимости от местных жителей, которых нанимали из расчета одного шиллинга в день. Местные жители работали неохотно и лишь в тех случаях, когда им надо было заработать на табак, а получив необходимое — переставали приходить на плантацию. Постоянный старший рабочий с сушилки должен был нанимать в близлежащих деревнях поденщиков, стараться удержать их на плантации и следить за тем, чтобы они работали. Сама хозяйка этим заниматься не могла, так как туземные мужчины не выносят женского командования, даже если женщина принадлежит к белой расе.

Хозяйка скупала копру в соседних деревнях, что позволяло отправлять с пароходом достаточное количество копры, чтобы уплачивать просроченные платежи по закладной. Ссуда была получена от крупной компании, широко известной под кличкой Тихоокеанский спрут, намеревавшейся поглотить плантацию в момент, когда она начала приносить доход. Перед тем как плантатор — муж нашей хозяйки — скончался три года назад от черной лихорадки, они семь лет, отказывая себе во всем, работали над созданием плантации, которая впоследствии должна была оплатить сделанные долги. А сумма долгов выросла с рождением детей. Как бы там ни было, но сейчас близилось время, когда плантация могла расквитаться с долгами, а старший сын получал возможность уехать учиться в школе. Ему было

восемь лет, а время, когда ему, по соображениям здоровья, надо было покинуть острова, было давно просрочено.

Мы вошли в склад, где хозяйка наслаждалась видом драгоценной копры, начавшей открывать ей путь из кабалы. Как мало было похоже это здание на железный, безопасный в пожарном отношении склад в Руавату. Здешний склад представлял собой большую туземную постройку с бамбуковыми стенами и крытой пальмовым листом крышей. Как и хозяйский дом, склад требовал новой крыши, которую каждые семь лет полагается перекрывать заново. В одной части склада копра лежала на подстилке из пальмовых листьев; другая половина склада была сушилкой, где необходимая температура поддерживалась непрерывно горевшим огнем. С трех сторон стояли штабели мешков с готовой копрой.

Покуда хозяйка подсчитывала количество наполненных мешков, я прошла в сушилку. Тут я вспомнила сушильные печи в Руавату с их сигнальными звонками и удивилась тому, что предстало перед моими глазами. Малаитянин рабочий непрерывно подбрасывал ореховую скорлупу в огонь, и языки пламени лизали решетки с сырой копрой, сделанные из закопченного и пропитанного маслом бамбука. Все помещение было черным от скопившейся за годы работы жирной сажи. С моей точки зрения, это был потенциальный костер, но рабочий знал, что он делает, поскольку здесь работал давно и был мастером своего дела.

Когда я вошла в сушилку, он даже не взглянул на меня, и я увидела только его резкий профиль, короткую шею и мускулистую грудь. Он был ниже среднего роста и гораздо более крепкого сложения, чем обычно встречается у малаитян.

Неприятный сосед для одиноко живущей женщины, подумала я. Покуда я размышляла и рассматривала рабочего, произошло нечто, что коренным образом

изменило мою точку зрения. Малаитянин стоял спиной к входной двери и подбрасывал ореховую скорлупу в огонь. Хозяйки я не видела. Единственное, что мелькнуло перед моими глазами, — взмах хозяйкиной ноги и последовавший за ним пинок в спину рабочего, настолько мощный, что рабочий едва не упал в огонь сушилки. Затем склад огласился выражениями на пиджин-инглиш, произносимыми в несколько повышенном тоне голосом культурной англичанки. Одним прыжком рабочий повернулся, и я сразу поняла, что он хочет нанести хозяйке удар кочергой. Лицо малаитянина приняло выражение разозлившейся гориллы. Я невольно попятилась назад, в то время как хозяйка резко шагнула вперед, выхватила из рук рабочего кочергу и продолжала ругаться. Малаитянин что-то отвечал, но слов я не услышала; потом он замолчал, и его лицо приняло обычное для меланезийцев загадочное выражение. Когда мы уходили из сушилки, рабочий покорно отгребал в сторону ореховую скорлупу.

Выйдя на воздух, я пыталась рассмеяться, хотя только что была напугана насмерть.

— Ах вот как хрупкая женщина управляет плантацией! — заметила я. — Скажите, неужели всякая дочь английского священника умеет лягаться, как кенгуру?

— Говоря по правде, — отвечала хозяйка, — я это сделала впервые, и это ваше присутствие придало мне храбрости. Давно надо было так поступить... с первого дня его работы на плантации. Сколько раз я говорила, чтобы он не смел пользоваться в сушилке ореховой скорлупой. Она дает слишком сильное пламя, и когда-нибудь он спалит сушилку, этот лентяй, которому неохота нарубить дров...

— Не хотите ли вы сказать, — настаивала я, — что вы впервые ударили этого рабочего?

— Думаю, что, если бы не ваше присутствие, эта скотина ударила бы меня кочергой, — уклончиво ответила хозяйка.

— Но мне вовсе не хочется, чтобы мое присутствие вдохновляло вас на битье туземцев. Если бы я могла предположить, что ваш удар и это разъяренное лицо являются здесь обычными, то ни за что не уехала бы из Биренди… Возможно, что этот человек груб и жесток, независимо от того, белый он или цветной, но я хотела бы знать…

Мне не удалось закончить фразы, и я продолжала удивляться до следующего вечера, когда получила исчерпывающий ответ.

Вернувшись на веранду, хозяйка успокоилась и была, казалось, почти довольна собой. Видимо, мысль о том, что следовало давно ударить рабочего, приносила ей облегчение. Продолжая разговор, она потребовала, чтобы принесли чайник с кипятком, и принялась разматывать бинт на руке. Разматывая бинт, она объяснила, что под ногтем большого пальца у нее заноза, которая вызвала нагноение. Мне показалось, что бинта слишком много для обычной занозы, но когда палец обнажился, я подумала, что в любой другой стране такой палец не был бы забинтован, а лежал в ведре операционной комнаты. Даже нельзя было понять, палец ли это. По величине и цвету он напоминал очищенный банан; кожа была в трещинах, а гной вытекал повсюду, до основания второго сустава.

Когда кипяток был налит в чашку и хозяйка приготовилась погрузить в нее руку, я собралась с духом и предложила вскрыть нарыв на пальце. Единственной для меня возможностью произвести эту операцию было представить себе, будто моя хозяйка труп, а я снова в анатомическом театре препарирую мускулы, что когда-то делала при изучении анатомии.

Мы стерилизовали лезвие безопасной бритвы, взятое из ящика с рисовальными принадлежностями, хозяйка стала смотреть на далекие горы, а я провела разрез по поверхности большого пальца. Когда я выдавливала гной, то не могла заставить себя посмотреть на палец, а хозяйка, стиснув зубы, бледно-желтая, как настоящий труп, указывала рукой на черное пятно где-то в горах.

— Там был лесной пожар… — говорила она хриплым голосом. — Он начался через неделю после смерти мужа. Я впервые была здесь совсем одна. Я хорошо помню, как шумел огонь… Была ночь… Туземцы…

Больше я ничего не услышала, так как потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела Маргарет (клянусь, это чистейшая правда) лежащей во весь рост на полу, белой как полотно, а хозяйка приводила ее в чувство.

* * *

На следующий день произошел случай, порядочно потрепавший нервы обитателям дома. Исчез средний сын нашей хозяйки — пятилетний Поль…

Как правило, после второго завтрака домашний слуга укладывал ребят в постель, а после полуденного перерыва мать приходила и помогала детям одеваться. Так было и на этот раз, но Поля в кровати не оказалось.

Мы были разбужены криками хозяйки, бегавшей вокруг дома и тщетно звавшей Поля. В это время бой и наш слуга Пятница пришли после перерыва домой. Бой заявил, что он уложил мальчика в постель, после чего сам отправился на кухню.

— Я уверена, что он убежал на реку… — сказала наша хозяйка и немедленно послала обоих слуг к реке.

Река с населявшими ее аллигаторами и разливом в часы прибоя постоянно держала в страхе мать троих

сорванцов, и слуге было настрого приказано следить, чтобы дети никуда от дома не уходили. Вместе с тем исчезновение мальчишек было постоянным явлением, поскольку бой умел считать до двух и, видя перед собой двух детей, полагал, что несет свою службу исправно. Обычно исчезнувший ребенок сразу откликался на зов.

На этот раз Поль не отзывался…

Маргарет и я, как истые американки, были уверены, что рабочий в отместку за полученный пинок бесшумно проник в дом и похитил ребенка. А если похититель является дикарем, усвоившим навыки нашей цивилизации, то тело ребенка уже брошено на съедение аллигаторам.

Слуги вернулись и сообщили, что следов ребенка на берегу реки не обнаружено. Вооружившись ножами-мачете, хозяйка и слуги отправились к джунглям, чтобы прорубить тропу и начать новые поиски. Маргарет и я отправились на плантацию, где учинили допрос рабочему из сушилки. Он заявил, что ничего не знает, но выражение его лица было непонятным. Невиновность сочеталась с полной виноватостью.

Около четырех часов дня все мы вернулись домой и (британцы везде и всегда остаются верными себе!) уселись пить чай. Мы сидели за столом, механически жуя твердые, как железо, бисквиты.

— Мама!.. Если я слезу, мне дадут бисквит? — послышался голос из-под крыши.

Оказалось, что утром бой и трое малышей обучали нашего Пятницу игре в прятки. Улегшись после завтрака в постель, Поль обратил внимание на стропила крыши — новое и великолепное место для прятанья. Мы не смогли установить, пригласил ли он боя и Пятницу для продолжения игры или сам влез наверх для практики, но так или иначе, он очутился под крышей. Жара и привычка спать в определенное время сделали свое

дело, и мальчишка заснул. И только запах чая смог разбудить этого подлинного англичанина.

С этого дня мы поняли, почему хозяйка, которая была незначительно старше нас, имеет измученный вид и часто не умеет держать себя в руках.

* * *

Вечером того же дня, сидя задрав ноги на перила южной веранды, Маргарет и я под аккомпанемент гитары распевали прелестные старинные английские песенки, чудесно звучавшие под покатой крышей. От востока до юга небо переливало бесконечным количеством тонов. Вечер был сказочно хорош, словно вознаграждая нас за перенесенную вчера бурю.

— Я даже не помню, когда мне было так радостно, как сегодня... — сказала наша хозяйка.

Очевидно, состояние радости настолько редкое явление в ее жизни, что оно нуждается в специальном упоминании. Мы задумались над этими словами и замолчали. Вдруг я услышала непонятный звук и увидела, что стволы пальм начинают принимать оранжевую окраску.

— Боже мой!.. — раздался крик, и хозяйка с быстротой молнии убежала с веранды.

Пожар!.. Шум пожара напоминал грохот проходящего поезда метро. В нижней части плантации деревья и пальмы шевелились, словно живые существа, а снопы искр взвивались над их кронами. Мы бежали вслед за хозяйкой...

— Копра!.. Моя копра!.. — кричала она.

* * *

— Мы бежали напрямик через заросли травы, спотыкаясь о лежащие на земле кокосовые орехи. Споткнувшись, я свалилась в канаву. Пожар превратился в огромный столб пламени, пожиравшего тонны жирной копры. Навстречу огню бежала кричащая хозяйка, а со всех сторон сбегались с отчаянными воплями полуголые туземцы. Фонтан огня широко разбрасывал сверкающие кометы, поджигавшие сухую кору деревьев.

Мне стыдно признаться, но я была потрясена красотой величественного зрелища: весь огромный собор озарялся мистическим светом пламени горящей серы. Вершины соседних пальм трепетали от адской жары. Все — хозяйка, туземцы и мы — работали изо всех сил, пытаясь загасить горящую траву пальмовыми листьями и мешками из-под копры. Но мешки были пропитаны маслом и быстро загорались. Туземцы с отчаянными воплями влезали на деревья и сдирали горящие волокна коры. Вспыхивающие листья они срубали, сбрасывали вниз, и мы сгребали их в кучи. Кто-то из местных жителей ударил в барабан, и звонкая дробь послужила сигналом всем окрестным деревням.

Грохот барабана, крики туземцев, бушующее пламя — нее это придавало дикий и безумный вид сцене пожара.

Я увидела рабочего из сушилки: он работал так же яростно, как и все остальные.

Ветер дул с моря. Заметив, что искры летят в направлении нашего дома, я вспомнила нашу крышу, сухую, как стог сена. Достаточно одной искры, и все будет кончено… Я побежала домой, снова свалившись в ту же канаву, но добралась до места, вынесла спящих детей и, взяв младшего на руки, отвела всех троих на берег. Самый младший был в восторге и все время твердил: «Чудный огонь, чудный огонь…»

Я приказала старшему мальчику никуда не уходить и следить за малышами, а сама снова направилась к дому,

не избежав и на этот раз недоразумения с канавой. Возле кухни я зачерпнула ведро воды и полезла на крышу. Ноги проваливались сквозь настил, толщина которого достигала полутора футов. Большие куски настила оставались в моих руках, когда я за него цеплялась. Длина веревки позволила мне взобраться только до половины ската, и тут я застряла, чтобы спасать том коричневые фигуры напоминали демонов преисподней. Вверху надо мной в ясном небе спокойно сияла огромная белая луна, а далеко на юге дремали в безмятежном покое горы, озаренные лунным светом.



Туземцы, жившие на склонах этих гор, не знавшие лесных пожаров, предполагали, что белые люди устроили грандиозное празднество или же правительственные чиновники сжигают в порядке отмщения непокорную деревню.

Пожар уничтожил деревья, росшие между двумя просеками. За полтора часа сгорел весь запас подготовленной к отправке копры, превратившейся в кучу жирной, раскаленной до бела массы. Стволы лишенных крон деревьев тлели покореженными обломками.

На плантации стало тихо, словно островные духи вернулись к вечному безразличию к жалким человеческим усилиям.

Когда мы снова собрались на веранде, хозяйка потребовала воды, чтобы обмыть больную руку. Мы сидели молча, жалкие и ничтожные по сравнению с этой женщиной, развязывавшей почерневшую повязку. Она опустила больную руку в воду, которая была слишком горячей. Выдернув руку, она опустила ее вновь, как бы пересиливая боль. Я увидела, как капли слез брызнули в таз с водой. Было просто непонятно, почему хозяйка не положила голову на стол и не разрыдалась, как это сделала бы любая на ее месте.

Я встала и ушла. И сделала это ради нее.

Ни единого слова мы не услышали больше о погибшей копре. В доме было безмолвно, как будто в семье кто-то умер. И на протяжении всего нашего пребывания в Танакомбо штабели очищенного кокосового ореха покрывались для защиты от дождя ветками пальм.

Мало-помалу начала строиться небольшая новая сушилка. Материал для нее нарубили поблизости, в лесу, а постройкой руководил все тот же старший рабочий.

Его нельзя было обвинить в поджоге, поскольку пожар можно было приписать несчастному случаю из-за несовершенства прежней сушилки.

Глава шестнадцатая



Когда в порту Сидней мы впервые увидели «Матарам», он показался нам жалким суденышком по сравнению со стоявшими рядом океанскими лайнерами, прибывшими из всех стран мира.

Сегодня, когда мы подъезжали к нему на моторной лодке плантатора, «Матарам» казался нам океанским экспрессом, прекраснее и больше самой «Куин Мэри». Мы никогда не предполагали, что вид судна может вызвать у нас столь сильное волнение, напоминающее переживание при возвращении в родной дом после длительной разлуки. На мостике «Матарама» знакомой и приветливой улыбкой светилось круглое, пышащее здоровьем лицо нашего капитана.

— Где привезенные для нас краски? — закричали мы.

В ответ нам вручили кипу писем, но груза для нас на «Матараме» не было.

— Проверьте еще раз… — просили мы. — Вы должны были привезти из Сиднея целый ящик красок… Может быть, его выгрузили в Биренди или Руавату?

Но никакой груз в Руавату или Биренди не выгружался и вообще на «Матараме» не перевозился, забастовка сиднейских докеров продолжается, и ни один пароход не грузится.

— Позвольте, но ящике красками — не груз; магазин мог бы доставить его на судно, не прибегая к помощи докеров.

— Мы заказали краски, и они должны быть где-то на судне, — настаивали мы.

«Матарам» вывернули наизнанку, но наших красок не оказалось. Мы стали просить капитана по возвращении в Сидней лично закупить, погрузить, и привезти все нам необходимое, и доставить через шесть недель, когда «Матарам» вернется снова в эти края.

— Не понимаю, какие магазинные краски вам нужны… — рычал капитан. — Размажьте жидкую грязь по парусине, приклейте к ней немного матрацного волоса, и вы получите отличный портрет современного каннибала…

Капитан был в восторге от собственной шутки, но мы услышали в его словах нечто очень важное.

Парусина!.. Возможно, что он прав… А если попробовать краски, которыми работает пароходный маляр? Правда, эти краски не отличаются стойкостью, но какое это имеет значение? Все равно мы пишем этюды, которые придется переписывать.

Капитан познакомил нас с судовым плотником (он же маляр), и мы сразу получили десять фунтов свинцовых белил. Такие белила ядовиты и не применяются художниками, но придется быть осторожнее и следить, чтобы они не попадали на наши болячки. Свинцовый сурик тоже опасен, но у него цвет хорошей киновари. Потом мы получили целую кварту черной краски и немного лака. Вот и все, что нам удалось достать.

Из ведра, наполненного кистями, мы выбрали несколько хороших, которые надо было переделать на нужный нам размер. Нам предложили взять огромный рыжий брезент, который можно было использовать вместо холста, если хорошенько прогрунтовать. Мы с

радостью согласились и взяли в придачу большое количество льняного масла. Имелась еще красильная марена, но мы решили обойтись без нее, равно как и без зеленой краски, которую мы могли получить смешиванием синей и желтой. Мы помнили, что все великие произведения живописи написаны основными красками.

На наше счастье, всю следующую неделю в Танакомбо лил дождь, и мы смогли заняться приведением в порядок нашего живописного снаряжения.

У Робинзона Крузо все происходило значительно проще, а нам надо было загрунтовать огромный оранжевый брезент. Мы расстелили его на веранде и прокрасили свинцовыми белилами. Поскольку в доме и под домом обитали три пса, трое детей, двое слуг и десяток куриц, то окрашенный нами брезент сохранил великое множество индивидуальных отпечатков. Как только выглянуло солнце, мы перенесли сушку брезента в сад, что вызвало огромный интерес у всех живущих там насекомых. Нам осатанело бороться с ними, и, решив впоследствии закрашивать места с прилипшими насекомыми, мы даже радовались своеобразности новой фактуры брезента.

Горести начались, когда мы принялись за уменьшение малярных кистей. Неприятностей было слишком много, и не стоит их полностью описывать. Труднее всего было правильно связывать волос проволокой и помещать его в бамбуковую палочку, предварительно смазав пучок кисти столярным клеем. Муравьи и другие насекомые, привлеченные соблазнительным запахом столярного клея, немедленно уничтожали нашу работу.

Проявляя терпение, свойственное гениям, мы изготовили несколько очень хороших кистей из старых кисточек для бритья. Волоски были склеены древесной

смолой, доставленной нам Пятницей. Такая смола применяется туземцами для приклеивания зубов летучих мышей к копьям. Теперь я располагала длинными кистями на бамбуковых ручках, сделанных из старых копий и стрел, принесенных тем же Пятницей. Мы использовали концы в 18–20 дюймов, и я могла работать, отойдя от полотна, как все великие мастера живописи.

Применяемые художниками масло и скипидар (связующее и сиккатив) очищают и отбеливают разными способами. Даже будучи очень чистыми, они с годами желтеют, а если применять их неочищенными, с их естественной золотистой окраской, то при смешивании с краской они меняют нежные оттенки. Полученные на «Матараме» старые скипидар и льняное масло имели ярко выраженную золотистость, и мы всячески экспериментировали, пытаясь их обесцветить.

Налив бутылки и банки, мы поставили их на солнце, но что удавалось старым живописцам, никак не получалось у нас. Зато нам удалось утопить в масле и скипидаре несколько тысяч насекомых, после чего мы отказались от дальнейших затей.

Воспользовавшись длительным пребыванием «Матарама», производившего погрузку копры на трех близлежащих плантациях, мы сообщили по радио всем плантаторам, что нуждаемся в различных красках. На протяжении целой недели один гонец за другим приносил великое множество банок с красками. В короткий срок мы собрали самую удивительную коллекцию красок для лодок и оконных рам, которую когда-либо можно было увидеть на Соломоновых островах. Большая часть банок была полупустой, в некоторых краска превратилась в густую пасту, что нас вполне устраивало, так как нам нужны были неразведенные краски.

Какие тут были цвета! От ослепительно желтого до ядовито-зеленого; все нестойкие цвета, которые мог создать химик-колорист.

Мы использовали все: с особой тщательностью отцедили олифу и расфасовали краски в металлические баночки из-под сигарет. В доме мы нашли отличный ящик, служивший для перевозки секретной почты во время Первой мировой войны; в нем имелись углубления, в которых отлично помещались баночки с красками.

Затем мы перешли к изготовлению инвентаря. Из кухонного ножа был сделан мастихин, а палитру соорудили из крышки фанерного ящика из-под цейлонского чая; когда палитру покрыли несколькими слоями лака, она приобрела волнующую душу окраску настоящего Страдивари.

Из ящичных брусков мы могли изготовить подрамники, но предпочли прикреплять холст кнопками к чертежной доске. А так как наш маленький переносной мольберт был слишком слабеньким, чтобы выдержать чертежную доску, то было решено ставить доску прямо на землю, прислоняя к дереву. Тут на помощь явился соседний плантатор, проявивший чрезвычайный интерес в оказании содействия Маргарет, руководившей работами по созданию оборудования. Мимоходом замечу, что этот плантатор ухитрился проскакать верхом пять миль со своей плантации к нам, чтобы пригласить Маргарет посмотреть у него в доме старые кисточки для бритья, затем проводить Маргарет и вновь скакать к себе на плантацию за кисточками, чтобы окончательно вручить их в руки Маргарет. Всего в этой истории с кисточками он проделал на коне за день более двадцати миль. Лично я вполне оценила его старые кисточки для бритья. В равной степени мы обе оценили станок-мольберт, сооруженный плантатором с неменьшей затратой энергии.



Честь создания конструкции станка-мольберта принадлежит мне, а плантатор имеет право на благодарность потомков за то, что он изготовил станок в соответствии с замыслом, внеся лишь отдельные технические усовершенствования.

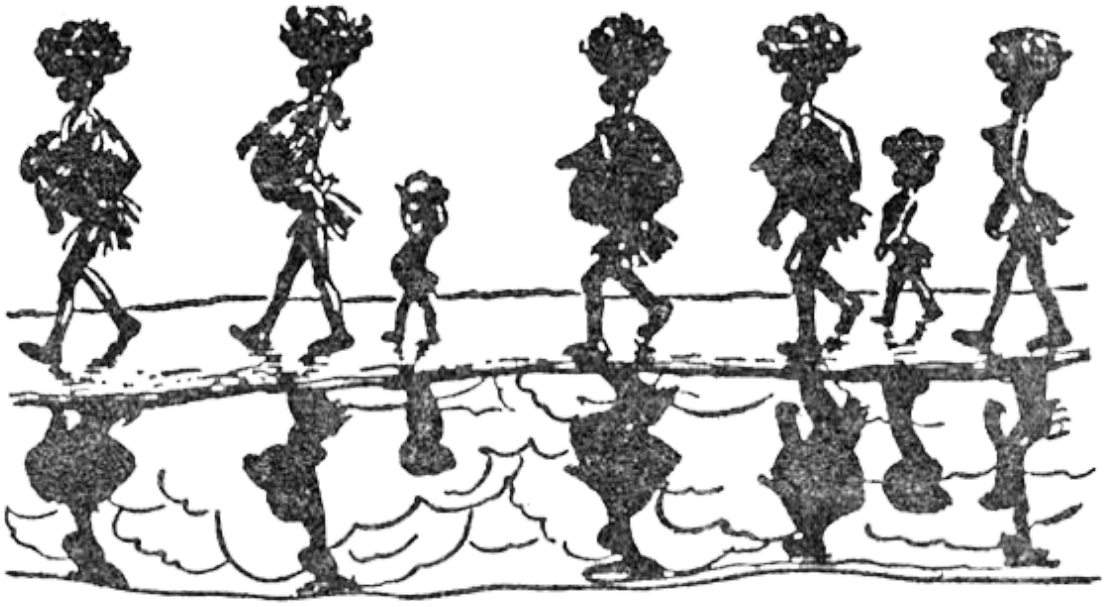
Участие Маргарет в сооружении мольберта сводилось к расточению улыбок и сидению в уголке, в то время как плантатор, вооруженный коловоротом, пилой и стамеской, используя две петли от ящика с инструментами, сооружал Раздвижную раму, похожую на старомодную подставку, применяемую при выбивании пыли или сушке портьер.

Мы горячо рекомендуем такой мольберт всем художникам, отправляющимся писать портреты первобытных людей, особенно если эти художники располагают штатом носильщиков. Если его разломать, мольберт может быть использован на топливо, как добрая сажень дров.

К достоинствам мольберта надо отнести, что холст к нему удобно прикреплять кнопками и легко заменять другим, что избавляет от необходимости таскать массу подрамников. Законченный и высохший рисунок можно свернуть в рулон, предварительно проложив вощеной бумагой во избежание склеивания. Раздвижная рама позволяет пользоваться холстами любого размера, а конструкция позволяет работать сидя или стоя. Особенно горячо такой станок-мольберт рекомендуется для стран, где свирепствуют ураганы, уносящие в воздух обычные мольберты.

Закончив работы по изготовлению безупречного по конструкции инвентаря, я преисполнилась желанием приступить к творческой деятельности.

Деревня, где мы должны были писать портреты, находилась в четырех милях, и плантатор предоставил нам в пользование лошадей и слугу Пятницу.

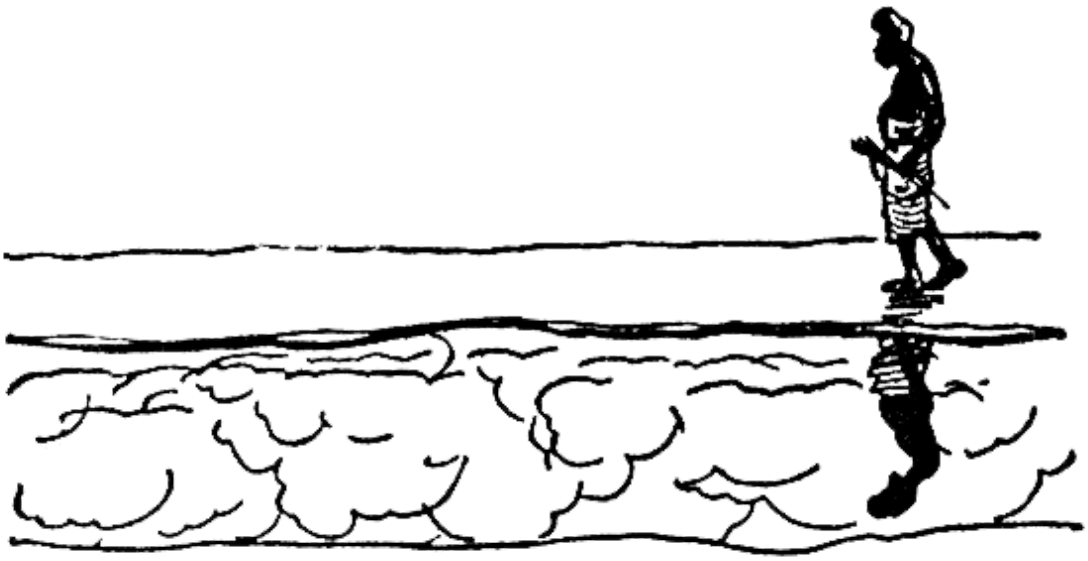


Задуманная картина была мне совершенно ясна в цветовом и графическом решении. Я даже придумала название — «Женщины-огородницы». Теперь я только нуждалась в женских моделях.

Тема картины была навеяна эпизодом, случившимся поздним вечером, когда мы направлялись обедать к соседнему плантатору. Дорога из Танакомбо на соседнюю плантацию идет вдоль берега, иногда уходит в глубь зарослей и снова возвращается на побережье.

Был час захода солнца, и океан при начавшемся отливе был на редкость спокоен, а облака отражались в зеркально-маслянистой воде. Мы ехали верхом через темные густые заросли и время от времени выезжали на просторное торжество света и покоя. Противоположная часть берега казалась в лучах заходящего солнца сиреневой. Между берегом и полосой отлива образовалась полоска воды, отрезанная от океана узкой отмелью. В этой полоске, как в зеркале, безупречно правильно отражались краски заката. По отмели двигалась процессия местных жителей, больше похожих на странных птиц, чем на человеческие существа. Сходство с птицами им придавали тонкие ноги, раздутые фигуры и странные формы голов.

Чтобы они нас не увидели, мы спрятались в кустарнике. Я отвела мою вечно лягающуюся лошадь в глубь дороги и крепко привязала. Кобыла, на которой ездила Маргарет, отличалась способностью немедленно засыпать на каждой стоянке, а жеребенка я подвела вплотную к кобыле, чтобы он воспользовался внеочередной возможностью покормиться.



Цепочка процессии проходила как раз перед нами, отражаясь в зеркальной воде. Все участники шествия, кроме одного, были женщинами и девочками. Темные пурпурно-коричневые силуэты вырисовывались на фоне неописуемого по красоте солнечного заката, переливавшего идеально прозрачно-розовыми, фиолетовыми, ярко-синими и своеобразно желтыми тонами, столь характерными в сезон тропических дождей для последних минут захода солнца.

Женщины возвращались с огородов, и каждая несла на голове огромную пальмовую корзину, переполненную, как рог изобилия. Наискосок через плечи женщин висели полосы материи, в которых лежали овощи и спящие дети. Хотя этот тяжелый дополнительный груз ложился частично на поясницу и бедра, все же он оттягивал плечи, заставляя женщин совсем по-петушиному вытягивать шеи. Спины, вернее спинные хребты, выпрямились в струну, чтобы удобнее удерживать груз на голове, а бедра, прикрытые только коротенькими юбками из травы, сильно вихляли, сохраняя равновесие корпуса. Женщины переступали длинными, тонкими ногами, похожими на несгибающиеся ноги птиц. А если у отдельных женщин

ноги сгибались, то, несомненно, от дополнительной нагрузки, вызванной беременностью, но все они одинаково виляли бедрами.

Маленькие девочки, шедшие вперемежку с взрослыми женщинами, несли на головах несколько меньшие корзины и всячески подражали походке матерей. Это были прелестные миниатюрные фигурки с торчащими круглыми животиками, в коротеньких юбочках, преисполненные гордости, что участвуют в работе взрослых. И эта гордость более всего бросалась в глаза.

Все проходившие перед нами двадцать пять женщин были навьючены с головы до ног. Даже корзинки на головах девочек были вовсе не игрушечным грузом. Туземные женщины делали то, что меланезийки делали на протяжении многих веков: несли в дом урожай огородов.

Позади процессии, примерно в десяти ярдах[20], шел мужчина и делал то, что мужчины-меланезийцы делали на протяжении столетий. Вернее, он представлял собою реликтовый образец традиционного мужского безделья. Он не был молод, но и не настолько стар, чтобы не быть в состоянии нести какой-либо груз, когда даже девочки были нагружены до предела. В руках он держал крошечный лук и несколько стрел; не хватало лишь символического голубка или веера, которые могли бы объяснить, что он играет роль Купидона. Впрочем, он просто представлял традиционную мужскую «охрану» навьюченных, как мулов, женщин.

В прежние времена, когда не было правительственных запретов и набеги считались своеобразным спортом, полагалось сопровождать женщин, идущих в отдаленные от деревень сады и огороды. Этот обычай создавал порочный круг, так как враги набрасывались на огороды вовсе не с целью уничтожить урожай или похитить женщин, а лишь

потому, что именно здесь они могли встретить мужчин-воинов и сразиться с ними.

В наши дни в контролируемых администрацией прибрежных деревнях не существует опасности набегов, но сохранилась традиция посылать женщин с охраной.

Мы частенько видели, как мужчины помогали навьючивать груз на женщин, но никогда не видели, чтобы те же мужчины помогали женщинам в их работе носильщиков. В равной мере мы никогда не видели женщин, делающих какую-либо мужскую работу.

Процессия безмолвно проходила мимо нас на расстоянии десяти ярдов. Дети мирно спали в своих люльках, а девочки не раскрывали ртов, боясь нарушить равновесие поставленных на головы корзин, которые полагалось удерживать без помощи рук. Они шли как на сцене. Краски на заднем плане становились мягче, а солнце садилось за горы, лежавшие позади нас. Мы стояли, восторженно затаив дыхание, боясь нарушить своеобразие этой удивительной картины.

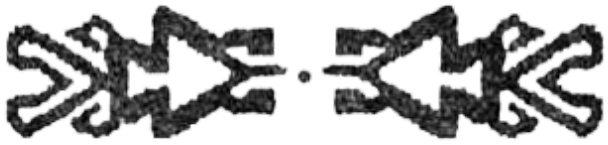
Вдруг моя лягающаяся лошадь громко чихнула... Эффект был настолько молниеносным, что я и Маргарет фыркнули от смеха. Прошедшие вперед женщины не могли из-за тяжести корзин повернуть головы и только косили глазами в нашу сторону. Потом вся процессия, как по команде, согнула колени и бросилась бежать, вытянув длинные шеи и продолжая удерживать равновесие корзин на головах. Если вам когда-либо приходилось видеть, как хвост скаковой лошади плавно летит по горизонтали, в то время как внизу в бешеном ритме мелькают копыта, то вы сможете себе представить линию, образованную большими корзинами на головах, плавно движущихся без единого толчка, несмотря на быстро семенящие под ними тонкие женские ноги. Все это зрелище, похожее на бег сороконожки, отражалось в зеркальной полоске воды.

Потом передняя женщина бросилась в заросли, а за ней последовали все остальные.

Что касается мужчины, то он даже не прибавил шагу и проследовал мимо нас, не подарив даже взглядом, словно нас и не было. Мы поздоровались с ним, и тут он остановился, подумал и ответил неясной фразой, которая на пиджин-инглиш означала: «Очень вам благодарен, пожалуйста, добрый день».

Мы осведомились, является ли он жителем деревни, и, получив утвердительный ответ, объяснили, что скоро придем в деревню рисовать женщин. В виде аванса мы вручили ему подарок — плитку табаку. Туземец молча сунул плитку в сумку и остался стоять, хотя ему следовало бы подойти к испуганным женщинам.

Все они, не снимая корзин с головы, спрятались, как куропатки, в кустарник и не издавали ни малейшего звука. Даже девочки молчали, предполагая, что папа-самец бдительно охраняет их жизнь.



Глава семнадцатая



Наконец мы в деревне!.. Но прежде чем добраться до нее и начать работу, мы наделали ошибок сверх всякой меры.

Читатель, несомненно, заметил, что наша подготовка к работе в деревне была очень длительной, но рисовать меланезийцев гораздо труднее, чем писать натурщика в мастерской художника. Когда пишешь портрет в мастерской, все сводится к трудностям живописного порядка, а рисуя первобытных людей, оставляешь все эти трудности в руках Всевышнего и сосредоточиваешь усилия на преодолении нелепостей цивилизации, мешающих приспособиться к естественным условиям жизни первобытного человека.

Первая ошибка заключалась в том, что мы, выражаясь образно, не поняли необходимости умертвить нашего слугу Пятницу в первый же день знакомства с ним.

Как известно, деревня находилась в четырех милях от Танакомбо, и мы решили добираться туда на лошадях. Для этого Пятница должен был своевременно привести и оседлать лошадей, мирно пасшихся всю ночь на поляне. Как всякий меланезиец, Пятница смертельно опасался лошадей и поймал только жеребенка,

показавшегося ему наименее страшным и наиболее подходящим по росту. Вслед за жеребенком прискакала кобыла, но мой скакун — непрерывно лягающаяся жертва, укушенная крокодилом, — умчался в дальний угол плантации, испугавшись Пятницы, размахивавшего связкой больших пальмовых листьев.

Спасая положение, я схватила ведро с драгоценным овсом и побежала приманивать перепуганного скакуна домой. Было восемь часов утра, когда мы наконец тронулись в путь на лошадях, которых тоже надо было зарезать. Плантационных псов, увязавшихся за нами, надо было также своевременно умертвить. Мы осыпали их градом кокосовых орехов, заставляя убраться домой, но они мило улыбались в ответ, как бы говоря, что бегут по личным делам. Это соответствовало действительности, поскольку они отправлялись в очередной поход на деревенских псов, с которыми вели жестокую междоусобную войну.

Маргарет и я не были в курсе собачьих междоусобиц, но Пятница отлично знал, но не проронил ни слова. Потеряв еще полчаса на бесполезную борьбу с собаками, мы двинулись дальше. Собаки упрямо следовали за нами, время от времени устраивая погоню за жеребенком, пугая моего скакуна или кусая за длинный хвост кобылу, на которой восседала Маргарет. В общем, собаки отменно развлекались.

К одиннадцати часам утра мы нестройными рядами вступили в деревню. Первым ворвался в деревню жеребенок, за ним помчались с неистовым лаем три собаки, обогнав мою капризную лошадь, впереди которой шествовала я, все время рискуя, что она съест мою прическу. Испугавшись собак, мой скакун метнулся мимо меня, ободрав ногу Маргарет, и, храпя, выскочил на площадку. Сделав два прыжка, он зацепился за собственный повод, своротил банановое дерево и, попятившись, разломал бамбуковую стену ближайшей

хижины. Затем он, а за ним и жеребенок понеслись вокруг площадки, преследуемые Пятницей, размахивавшим пальмовым листом.

Воспользовавшись общим замешательством, плантационные псы атаковали деревенских собак, а наша мирная и сонная кобыла под влиянием окружающего сумбура помчала прямо на наши будущие модели, молниеносно скрывшиеся в хижинах.

Мы потратили больше часа, чтобы собрать воедино нашу экспедицию. Примерно через полчаса появилась Маргарет, ведя на поводу кобылу, умчавшую наездницу бог знает куда. В этой дикой скачке Маргарет сильно повредила руку, а в здешних условиях даже малейшая царапина ведет к язвам и нарывам. Как мне удалось выяснить, Маргарет совершила полет через голову лошади, когда ошалевшая кобыла, на полном галопе несясь по берегу, встала как вкопанная перед каким-то выброшенным прибоем бревном.

После возвращения Маргарет начались поиски станка-мольберта. Пятница, которому было поручено доставить мольберт, не мог вспомнить, где и когда он его бросил. В конце концов мольберт нашли отлично замаскировавшимся в зарослях бамбука. Вскоре нашлись драгоценные кисти, сигареты, пакет с завтраком и кое-что из нашей одежды. Все это было широко разбросано по деревне. Но мой скакун вместе с ящиком красок умчался обратно в Танакомбо. Нам оставалось утешаться мыслью, что дома все краски будут в полной сохранности.

Собаки бесследно исчезли в зарослях, и это оставило нам слабую надежду на скорое возвращение деревенских псов с кусками побежденных противников в окровавленных пастях.

Возник естественный вопрос: что подумает о нас местное население? Удастся ли нам создать себе в

деревне репутацию безобидных посетителей после всех этих разрушений?

Безупречно чистая и гладкая деревенская площадь хранила следы только что закончившихся ристалищ. По краям площади лежали сваленные банановые деревья, тут же виднелась разрушенная стена хижины, а спрятавшиеся в домах жители, вероятно, не сомневались, что наши псы уничтожили всех деревенских собак. Впрочем, я сама опасалась подобного исхода, так как огромные плантаторские псы заимствовали у своих белых хозяев чувство уверенности в собственном превосходстве над местными злобными дворнягами.

Самым нелепым было полное исчезновение жителей, перед которыми нам следовало извиниться, подарив в частичное возмещение причиненного убытка несколько плиток табаку.

Жителей мы не увидели; перед нами было три десятка стоявших вразброс маленьких хижин со светло-желтыми бамбуковыми стенами и коричневыми пальмовыми крышами, спускающимися с двух сторон почти до самой земли. Окон не было, имелась только одна входная дверь, прикрытая бамбуковым занавесом.

Вынув несколько плиток табаку, мы стали расхаживать по деревенской площади, держа их веером, как торговцы сластями на бейсбольном матче. «Хэлло!..» — взывали мы в пустой деревне, пытаясь найти золотую середину между позой белого повелителя и извиняющегося человека. Никто не отвечал.

Мы испробовали обращение на английский лад — тот же результат; на пиджин-инглиш — никакого ответа. Мы не знали, ударят ли нас копьем в глаз, если мы попытаемся заглянуть в щелку, а такой ответ был бы вполне заслуженным. Но тут мы вспомнили, что не видели ни одного мужчины, а все разбежавшиеся перед нами жители были женщины и дети.

— Мэри есть здесь? — спросили мы на пиджин-инглиш, но ответа не последовало.

Маргарет остановилась у одной из дверей, провела пальцем по бамбуковой занавеси.

— Не заинтересуется ли мадам новой усовершенствованной шторой? — спросила она нараспев, как торговец вразнос, и при этом попыталась просунуть ногу под занавес.

Я оттащила Маргарет назад.

Мною руководило не чувство страха, а элементарное соображение, что здесь не Соединенные Штаты, где никто не стал бы прятаться в доме, если бы кто-нибудь причинил ему убыток. Помимо всего, я не была уверена, что у меланезийцев развито чувство юмора.

— А что, если их выманить изломов музыкой? — предложила Маргарет.

Мы выбрали место посередине деревни, уселись в тени пальмы с таким расчетом, чтобы все нас видели, и битый час пели дуэты под аккомпанемент гавайской гитары. Мы спели весь репертуар, от американских танцевальных мелодий до русских панихидных песнопений, но наши невидимые слушатели не проявили ни малейшего интереса. Изредка мы слышали плач ребенка, что давало нам уверенность в наличии живых существ в этой опустелой деревне.

Необычайно смешно и немного жутко было сидеть и распевать перед абсолютно пустой деревней и вместе с тем понимать, что за каждым нашим движением следят сквозь щели хижин сотни глаз.

Тогда мы решили отступить, оставив наше снаряжение в хижине, предназначавшейся для приезжающих представителей администрации. Это был единственный дом, построенный на сваях и имевший веранду. На всякий случай мы решили проверить, не засели ли в нем туземцы, вооруженные смертоносными стрелами. Так как дом стоял на высоких сваях, а щели в

полу были достаточно большими, то мы легко обнаружили, что дом совершенно пуст. Из соображений безопасности мы решили в дом не входить, а поручить нее дело Пятнице, мирно спавшему на берегу. Пятница крайне неохотно подчинился нашему распоряжению, и мы заметили, что он чем-то испуган. Возможно, что бойкот, которому мы подверглись в деревне, имел гораздо более глубокие причины, чем нам казалось. Во всяком случае, мы и Пятница сделали все от себя зависящее, чтобы скорее убраться из деревни.

Когда мы подошли к месту, где стояла наша кобыла, то Увидели, что она обглодала кору на очень ценимом жителями дереве.

Позади кобылы высилась пирамида, явившаяся результатом обгладывания коры. В этой чистенькой деревне пирамида должна была вызвать всеобщее неудовольствие.

Так закончилось наше первое знакомство с деревней!..

* * *

Вернувшись в Танакомбо, мы подытожили приобретенный опыт и решили стреножить лошадей на время ночной пастьбы (чтобы не ловить их утром) и удавить плантационных собак (если они еще живы). Затем мы спросили у Пятницы, что он думает о поведении деревенских жителей, почему они спрятались и почему он сам опасается входить в деревню?

Пятница отрицал собственную трусость.

— Хорошо, — сказали мы. — В таком случае почему жители прятались в хижинах? Неужели мы внушаем туземцам такой страх?

По мнению Пятницы, причиной страха была «большая лошадь», то есть кобыла с жеребенком, заставившая жителей еще несколько часов после нашего ухода прятаться в хижинах, — Хорошо, — сказали мы, — будем верить, что всему виной лошади.

На следующее утро мы снова с большим опозданием прибыли в деревню, но на этот раз виноватым оказался распухший локоть Маргарет. Нам так и не удалось установить, не был ли это перелом, но мы потеряли все утро в спорах о том, следует ли Маргарет остаться дома и заняться прикладыванием компрессов. В конце концов мне удалось переспорить Маргарет, и она осталась дома, а я с Пятницей отправилась в деревню, куда мы прибыли после ухода мужчин на охоту и рыбную ловлю и когда женщины собирались заняться работой на огородах.

Свою лошадь я привязала на берегу, в отдалении от деревни, и теперь все должно было идти как по маслу. Но как только я в сопровождении Пятницы вошла в деревню, все женщины бросились врассыпную.

— Что это значит? — строго спросила я у Пятницы, словно он нес ответственность за поведение женщин. Но лицо Пятницы приняло удивленно-невинное выражение, как будто он и в самом деле не знал, в чем дело.

Весь день я утешалась зарисовками деревенского пейзажа и размышлениями о том, что сегодня могло привести в смятение жительниц деревни.

Наших животных, произведших вчера разрушения, сегодня здесь на площадке не было, и я не могла понять, чем я сама так неприятна деревенским женщинам.

Я старалась продумать все с точки зрения этих женщин и решила, что, будь на их месте, я тоже оставалась бы в хижине и ожидала бы ухода чужой женщины. А если бы она не ушла, а мне пришлось бы выйти, чтобы заняться повседневной работой, то я так

бы «поставила на место» чужую женщину, что она уже больше самозванно не явилась.

Если я сумею выдержать характер, думала я, туземные женщины вынуждены будут вступить со мной в контакт. Лишь бы это произошло до того, как наше пребывание в Танакомбо истощит терпение хозяев.

Читателю может показаться, что я уклоняюсь в сторону, разбирая тонкости искусства «ставить на место». Но будучи неопытными молодыми американками, попавшими в британскую культурную среду, мы познали очень много нового о том, как полагается «ставить на место». У англичан это не умышленное действие, как у нас, американцев. У англичан это заложено в крови: у них это инстинктивно, как настороженность кошки, которая недоверчиво относится к слишком откровенному и экспансивному подходу к ней со стороны чужих. Мы проверили на практике наше понимание вопроса и установили, что, проявляя сдержанность и делая первыми попытку «ставить на место», мы не отпугивали «кошку». Она сама через небольшой промежуток времени Делала нам авансы.

Если желание «ставить на место» инстинктивно, то туземцы наравне со всеми другими людьми должны его испытывать. Сидевшие в хижинах женщины должны проявлять его очень ярко и понимать механику этого дела.

Сейчас нам не оставалось ничего другого, как испробовать этот подход.

Утешение пейзажными зарисовками было полно своеобразной прелести. Поляна, на которой расположена деревня, представляет окружность, обрамленную стофутовой в высоту стеной зарослей с пышно сверкающей узорной листвой и лианами, перекинувшимися на отдельно растущие пальмы. Это были «туземные» пальмы, оставленные на площади

ради спасительной тени. Растущие под большим углом, они бросали длинные полосы теней стволов и перистых верхушек на желто-коричневые хижины и землю.

Рядом с хижинами не было видно ничего зеленого, все было тщательно выполото, и только по краю площадки росли банановые деревья с большими султанами блестящих и расщепленных листьев, среди которых желтели гроздья бананов.

Полным контрастом всему окружающему были нежно-зеленые опушки стройного бамбука, а сквозь пальмы просвечивала ослепительная кипень океанского прибоя.

Если бы пришлось написать такой пейзаж, то не надо было бы задумываться над композицией, настолько все было изумляюще и совершенно по красоте. Всякое исправление или дополнение, идущее от человеческого вымысла, могло только испортить это естественное совершенство линий. С моей точки зрения, в этом пейзаже явно не хватало живых людей, и этот вопрос неотступно меня преследовал.

Если я была бы местной жительницей и наблюдала сквозь щели стены за поведением явившейся в деревню белой женщины, то многое показалось бы мне подозрительным и я предпочла бы прятаться до тех пор, покуда белая женщина не удалится восвояси. Например, белая женщина ходила взад и вперед по деревне и все очень подозрительно рассматривала. Она как-то странно прикладывала руки к лицу и, строя гримасы, смотрела на окружающее через широко растопыренные пальцы. Затем она опускала голову книзу и пыталась рассмотреть деревню через расставленные ноги. Эта женщина была с несомненной придурью, так как уселась на солнцепеке, отдала какое-то приказание своему слуге и продолжала щуриться и вертеть головой в разные стороны. Почувствовав вдруг, что за мной наблюдают, я сообразила, какими дурацкими должны

казаться движения художника, отыскивающего место, с которого он будет писать пейзаж. Более всего они напоминают приемы, свойственные одним колдунам. Не хватало только бьющей изо рта пены, но не все же колдуны умеют пускать пену.

Когда некоторое времени спустя Пятница принес из дома наше снаряжение, я сделала все зависящее, чтобы рассеять у невидимых наблюдателей ложное впечатление. Как ни странно, но установка станка-мольберта вернула мне репутацию обычного человеческого существа.

Позади выбранного мною места, почти вплотную, стояла хижина, которую я считала необитаемой. Прогуливаясь взад и вперед, я много раз обошла вокруг этой хижины и видела ее насквозь через зияющие в стенах щели. Дом был пуст, в нем не было видно очертаний женской фигуры. Но как только Пятница принялся рыть яму для установки большого зонта, под которым я всегда рисовала, из дома отчетливо послышалось легкомысленное хихиканье. Едва лишь зонтик был установлен, из дома послышалось бормотание, словно его обитатели внезапно преисполнились ко мне уважения.

В то время я не знала, что именно зонтик, хотя и несколько громоздкий, усилил в глазах деревенских жителей нашу респектабельность. В этих краях зонтик является неизменным спутником священника-миссионера.

Бормотание убедило меня, что в хижине находится несколько человек.

Развязанные деревянные бруски понемногу превратились в большую раму с прикрепленным к ней холстом. Но по-настоящему смелый звук раздался позади, когда я сунула нож в банку и извлекла комок ярко-желтой краски и наложила ее на палитру. Я поместила рядом с желтой мазок ярко-синей, хотя

обычно краски на палитре так не располагают, но я хотела проверить это сочетание. Я была немедленно вознаграждена тем, что находившаяся позади меня бамбуковая стена затрещала и зашевелилась. Видимо, находившиеся позади стены головы прижимались к ней слишком сильно, пытаясь возможно лучше разглядеть яркость красок.

Не поворачиваясь, я любезно подняла палитру так, чтобы зрителям было видно, какие краски я кладу.

Местные жители лучше всего знают белые, желтые и коричневые краски; красная краска встречается редко, и вместо красного красителя пользуются кровью животных. Черная краска делается из обычной сажи, но пурпурно-красный, синий и зеленый цвета местные жители видят только в природе и таких красителей не имеют. По этой причине моя палитра вызвала всеобщее изумление.

Вся подготовка не вызвала ни малейшего интереса. Композиционный набросок углем, непрерывно стираемый и исправляемый, — скучное зрелище. Этот этап рисования развертывается в медленном темпе и никогда не представляет интереса даже у человека, посвященного в замысел художника.

Кругом царила тишина, время близилось к полудню, и весь остров замкнулся, как напуганная морская раковина. Ни ветерка, ни трепета листьев на вершинах пальм; все было безмолвно. Легкий рокот прибоя и жужжание насекомых еще больше подчеркивали мертвую тишину.

Я начала писать красками и совершенно неожиданно для себя, словно в каком-то помрачении сознания, положила на рисунок широкую пурпурно-красную полосу тени. И снова позади меня неистово затрещала бамбуковая стена дома. Через некоторое время, желая издали взглянуть на рисунок, я прислонилась к низко спускающейся крыше дома. Вдруг послышались звуки,

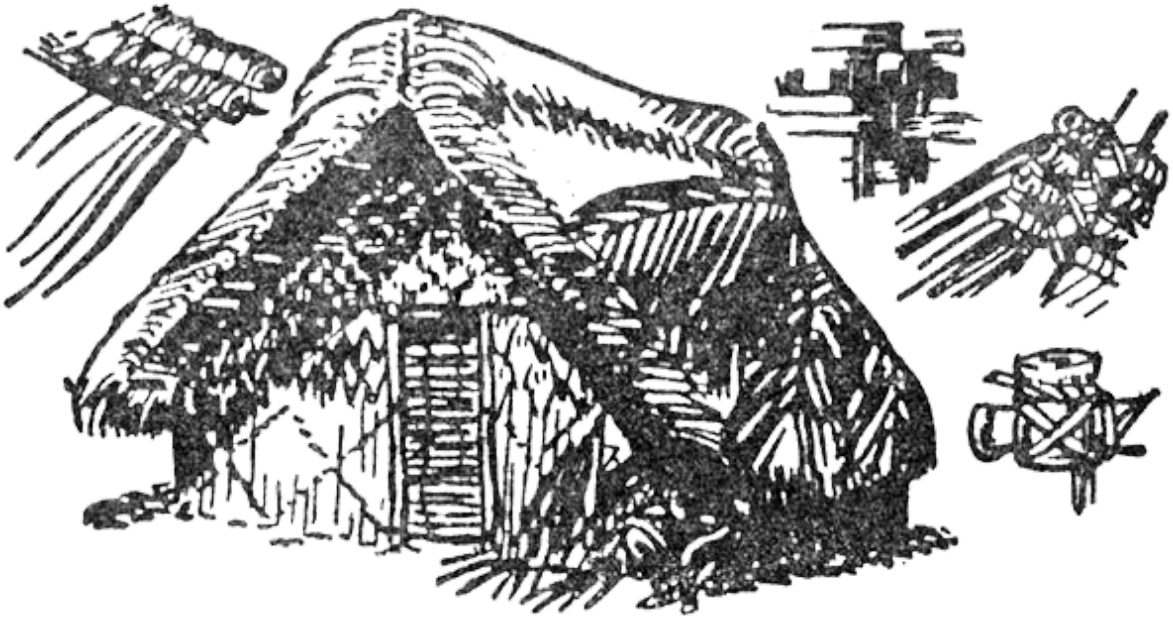
как будто по земле пробежал прячущийся зверек. Одновременно я увидела удаляющегося вдоль берега Пятницу. Теперь я одна, подумала я, и тотчас же по телу прошла горячая волна, и с меня буквально хлынул пот. Наверное, я заболеваю, подумала я, но тут же занялась работой и позабыла обо всем.

Когда художник пишет, он зачастую ощущает себя каким-то богом или творцом, по мановению которого на белом холсте возникают очертания, постепенно наполняющихся плотью предметов. По мере того как на моем полотне возникали детали рисунка, я все меньше и меньше чувствовала себя богом-творцом и все больше и больше преклонялась перед искусством первобытных людей, построивших эти хижины.

Сегодня я рисовала хижины, то есть убежища, созданные людьми, находящимися на уровне культуры каменного века. Но разве это были жалкие лачуги?

По безупречности своих архитектурных пропорций эти хижины были близки к Парфенону. Толщина крыши имела правильное соотношение к размеру фронтальной стены. Таким же безупречным было соотношение ширины к длине и к высоте, а вся конструкция была великолепной. Нигде не видно неряшливой работы, выпавших кусков обшивки, дыр, заткнутых консервной банкой, небрежно настланной крыши, слишком длинных или коротких бревен, когда строителям лень пилить материал по размеру. Не видно было ни дверей, слетающих с петель, ни валяющихся на земле обломков строительных материалов — всего того, что мы видим возле наших дорожек, ведущих к гаражам, не говоря уже о поселках, где селятся бродяги.

Маленькие примитивные бунгало, построенные при помощи топора и ножа, имели такой же опрятный и хозяйственный вид, как это можно увидеть в сознающем свое достоинство цивилизованном поселке.



Связки пальмовых листьев были нанизаны на бамбуковые жерди и уложены на стропила крыши так ровно, что вместе с узлами скрепляющих их лиан образовывали напоминающий бусы узор, идущий по нижнему скату до конька крыши. Бамбуковые стойки стен были тщательно подобраны по толщине и связаны с каркасом лианами, и каждое место связки сделано по определенному крестообразному образцу. Во всех местах крепления бамбуковых стоек и каркаса из бетелевого орешника лоза образовывала орнамент, и крепление становилось архитектурным украшением. Истинным искусством, заслуживающим особого внимания, было полное отсутствие чего-либо лишнего. Здесь не было лепных украшений или чего-либо примененного вне его естественной формы. Все, что было сделано, объяснялось необходимостью, а все необходимое было использовано так искусно, что стало украшением. Это было рациональное использование архитектурных элементов в его высшей форме, что доставляло наивысшее наслаждение.

Через некоторое время нам удалось побывать внутри хижин, и мы нашли их такими же удовлетворительными, как и извне. Когда вы входите внутрь такого дома, вас удивляет темнота, прохлада и запах.

Темнота определяется разницей между ослепительной освещенностью местности и узкими полосами света, проникающими сквозь щели бамбуковых стен.

Ощущение прохлады создается восемнадцатидюймовой толщиной крыши, свисающей над стенами дома. Непрерывный легкий сквозняк продувает дом через две другие стены.

Запах исходит от очага и вовсе не является неприятным. Очаг расположен в центре хижины и представляет собой несколько почерневших от огня камней и кучу угля. Земляной пол хижины безупречно чист. Каждое утро хижину подметают связкой пальмовых листьев, а поскольку весь день в доме никто не бывает, то и сорить некому. Вся обстановка хижины состоит из нар, сделанных из молодого бамбука и прикрепленных к стенам дома под скатами крыши. Упругие бамбуковые нары отлично проветриваются не только снизу, но отовсюду.

Впоследствии мы узнали о других достоинствах бамбуковых нар. Известно, что тепло является прекрасным средством от многих болезней, и если человек заболевает, то достаточно поместить под бамбуковое ложе несколько раскаленных камней, чтобы злые духи, засевшие в больном, немедленно исчезли (после того как мы об этом услышали, Маргарет и я стали с большим успехом применять сухой жар, то есть жар пламени для лечения наших нарывов и болячек).

Расположенный в центре хижины очаг используется по прямому назначению только в сезон дождей, а в остальное время года на нем вечером сжигают несколько кусков сырого дерева, чтобы выкурить

москитов. Поскольку очаг топится по-черному, то кровля и бамбуковые стропила над ним покрыты сажей. Хозяйственный инвентарь дома сведен к минимуму. Все имущество хозяев дома хранится на стропилах, где сложены копья, стрелы, луки, весла, связки банановых листьев с завернутыми в них кусками саго (выдерживающими любой срок хранения), какие-либо хитроумные рыболовные снаряды, плетеные сумки, бамбуковые сосуды для питьевой воды или для хранения орехов «гнали» (внешне напоминающих желтый рис, но вкусных, как ничто на свете), десятки тыкв — сосудов с пробками, а иногда резные чаши из дерева.

Все эти предметы домашнего обихода орнаментированы по тому же принципу, что и хижины: ничего лишнего, все осмысленно. В хижине все строго утилитарно и вместе с тем прекрасно, потому что все отражает глубокую любовь человека к создаваемым им полезным вещам.

Кто же эти профессиональные художники поселка? Куда они, черт бы их побрал, спрятались, эти высококультурные обитатели деревни, сумевшие решить труднейшую проблему создания одновременно прекрасных и полезных вещей.

Усталая и измученная головной болью, я легла отдохнуть в тени пальмы и, видимо, задремала. Когда я открыла глаза, все деревенские женщины высыпали наружу и уселись в длинный ряд позади моего мольберта. Как они смогли без шума и ссор занять места, осталось для меня непостижимым, но они все сделали так, чтобы я не проснулась.

Поднявшись на ноги и не поворачивая головы, я села рисовать. Вернее, попыталась это сделать. Чтобы удовлетворить собственное любопытство, я достала карманное зеркальце и приклеила его белилами рядом с холстом. Затем я наклонила мольберт с таким расчетом, чтобы все женщины отражались в моем зеркале. Они

уселись в тени шести хижин, и их коричневые голые тела отлично маскировались на фоне коричневой земли, но их силуэты четко обрисовывались в лучах солнца. К моему удивлению, возле женщин была орава ребят, и было непостижимо, как они ухитрились молчать на протяжении добрых трех часов моей работы. Я заметила, что некоторые женщины были заняты работой, и я была вне себя, что не могла подойти к ним и посмотреть, чем они заняты. Превозмогая любопытство, я продолжала работать и вскоре добилась желательных результатов.

Две женщины встали с места, перебежали к ближайшей хижине и уселись в густой тени, делавшей их почти невидимыми. Минут через десять еще три женщины перешли туда же. Насколько я могла рассмотреть в зеркале, они глазели на меня и на чудо, которое я совершала. Никто из женщин не выказывал признаков одобрения, но как только я изменила позу и закрыла от них рисунок, одна женщина с маленьким ребенком на перевязи очень неторопливо прошла к другой хижине. Не успев на ходу разглядеть рисунок, она обошла вокруг хижины и снова прошла позади меня. Я увидела, как она своими черными, блестящими глазами сравнивала рисунок крыши с подлинником. К счастью, рисунок и модель были похожи, как цирковые сестры-близнецы.

Это был самый тесный контакт, который удалось сегодня установить с местными женщинами.

Солнце склонялось к западу, и теперь деревня была освещена совершенно иначе, чем в момент начала работы. Я позвала Пятницу и принялась очищать палитру, по-прежнему стоя спиной к женщинам. По-видимому, Пятница спал, потому что прошло не менее пяти минут, покуда он неторопливо прошествовал по берегу. В момент его появления я посмотрела в зеркало: все женщины исчезли. Я повернулась кругом.

Деревня была пуста!..



Глава восемнадцатая



После двухдневных бесплодных и высокомерных попыток поставить на место жителей деревни наша независимая женская экспедиция была вынуждена прибегнуть к мужской помощи. За обедом мы все рассказали плантатору; он нас внимательно выслушал, расхохотался и сказал, что берется в пять минут обеспечить нам любое количество женских моделей. Для этого мы должны завтра ровно в шесть тридцать утра явиться в деревню, вместо брюк надеть юбки, чтобы туземцы не сомневались в нашей принадлежности к женскому полу; мы обязаны были привязать вдали от деревни не только наших лошадей, но и Пятницу.

— Пятница! При чем тут Пятница? — удивились мы.

Выслушав объяснение плантатора, я никак не могла успокоиться, почему я не поняла все с самого начала.

Значит, загвоздка была в Пятнице, этом легкомысленном малаитянине — неистовом покорителе женских сердец и грозе деревенских мужей. Как же он смел все сваливать на неповинных лошадей! Теперь я понимаю, почему он так неохотно входил на территорию деревни, предпочитая валяться вдали, на прибрежном песке. Видимо, он прекрасно понимал, что ему не миновать града камней или стрел. (Правда, туземные дамы опасались Пятницы значительно меньше, чем их мужья.) В Меланезии покушение на честь чужой жены

считается жестоким оскорблением, и здесь достаточно одного неосторожного взгляда, чтобы последовала строгая кара.

Как бы там ни было, мы условились на завтра в шесть тридцать…

В этих краях, на девятом градусе южной широты, солнце восходит в шесть утра, но, несмотря на ранний час, мы были вовремя на месте и облюбовали отличную стоянку для лошадей. В глубине зарослей, далеко от тропы, ведущей на огороды, мы обнаружили небольшую полянку, очищенную от кустарника, словно кто-то собирался устроить там огород. Земля была взрыхлена, но не видно малейших признаков посадки. С южной стороны полянка была отлично защищена от солнца, и наши лошади могли стоять или валяться в тени. Пятнице место решительно не понравилось, и мы принялись его бранить за то, что вместо присмотра за лошадьми он желает таращить глаза на деревенских жительниц. Но Пятница упрямо твердил, что место не годится.

Почему не годится? Что в нем плохого? Может быть, на это место наложено табу? Мы осмотрели все вокруг в поисках камней необычной формы или воткнутых в землю ветвей, служивших защитой от злых духов. Пятница следил за нами грустным взором и на все наши вопросы монотонно отвечал: «Ничего не знаю».

Такой ответ мог иметь любое значение, вплоть до того, что он не понимает наших вопросов. Произошла обычная сценка, когда все утро твердишь слова на пиджин-инглиш, переставляя их в различном порядке, а к полудню весь в поту убеждаешься, что ничего выяснить не удалось.

Подвернув брюки выше колен, опустив юбки до того же места и пообещав свернуть Пятнице голову, если он немедленно не расседлает лошадей, мы отправились в деревню.

Ровно в шесть тридцать мы подошли к месту, где дорога превращается в деревенскую площадку. Все были в сборе, не было только нашего плантатора. На площадке находилось 60–70 туземцев, и после известного нам зрелища пустой деревни все выглядело необычайным. Мы остались стоять на дороге, ожидая появления плантатора, который должен был подъехать с противоположного конца. Было тихо, слишком тихо для такого сонмища. Все туземцы разговаривали между собой, но как мало это было похоже на пронзительные выкрики рабочих-малаитян на плантациях. Тут же бегали дети и подростки, но не было слышно обычного утреннего гомона. Несколько женщин сидели в стороне и кормили грудью детей, другие подметали пальмовыми вениками землю возле хижин, а большинство бродило взад и вперед, перенося с места на место какие-то корзины и тряпки. Я подумала о том, что, может быть, и наша ходьба по комнате, когда мы по утрам наводим порядок, производит такое же впечатление бесцельности.

Что касается мужчин и юношей, то они, бездельничая, сидели по разным углам и, зевая, почесывали подмышки. Кое-кто из мужчин, вооружившись длинным гребнем, причесывал голову.

Не видно было признаков готовившейся пищи или хотя бы разводимого огня, и только кое-где виднелись люди с фиолетовыми ломтями саго в руках. Они его ели, повернувшись спиной к остальным, так как здесь считается неприличным жевать в присутствии посторонних.

Маленькие собачонки опрометью подскакивали к каждому кусочку упавшего на землю саго и, получив пинок ногой, отлетали, как резиновые.

Либо ветер изменил направление, либо мы потеряли способность стоять затаив дыхание, но вдруг все собаки подняли неистовый лай. Потом они сбились в плотную

стаю, но все еще не понимали, откуда деревне грозит опасность. Собаки вертели мордами во все стороны, совсем как овцы, подвергшиеся нападению. Собачий лай странно отразился на поведении жителей, которые на мгновение замерли, как если бы вдруг остановился фильм, но как только мы смело вышли на площадь, присутствующие продолжили прежнее занятие. Фильм опять пришел в движение.

Тогда мы двинулись вперед и, сладко улыбаясь во все стороны, вышли на середину деревни. Никто не взглянул на нас, ни одна душа не подарила нас вниманием. Одни лишь собаки надрывались истошным лаем, покуда кто-то не запустил в них горстью камней. Детишки спрятались позади ног матерей и смотрели оттуда на нас, как смотрят сквозь забор. Пожалуй, только грудные дети следили за нами огромными черными глазами. Мужчины не сказали нам ни слова, но вместе с тем женщины не сделали обычных попыток к бегству. Тогда мы направились к хижине, предназначенной для приезжих представителей администрации.

Несколько позже приехал плантатор, и мы, как кошка за мышью, следили за каждым его движением. Если он обещал в течение пяти минут раздобыть нужную модель, следовательно, он знал метод, который нам следовало перенять. К нашему удивлению, вместо того чтобы привязать лошадь вдалеке от поселка, как это было настрого приказано нам, плантатор подъехал прямо к дому приезжих и привязал лошадь к столбу. Впоследствии мы узнали, кому принадлежит подобная привилегия, но узнали это не от плантатора, а трудным путем опытного познавания.

К плантатору немедленно подошел деревенский староста, и мы сразу увидели, на какую приманку он клюнул. Несмотря на возражения плантатора, мы решили дать старосте табака, примерно на доллар,

чтобы этим подарком возместить убытки, понесенные деревней во время нашего первого посещения. Табак был выставлен для всеобщего обозрения, и староста пошел на него, как изголодавшаяся по хорошему корму островная лошадь идет на овес. Охотно прощая нанесенные нами обиды, староста даже не замечал нас, и все его внимание было сосредоточено на плантаторе.

Три четверти всего количества табака предназначались Для раздачи жителям деревни, поскольку поломанные нами банановые насаждения являлись общественной собственностью. Остальное количество табака подлежало передаче владельцу поврежденной хижины. Оба подарка были вручены старосте порознь и с соответствующими пояснениями. Еще несколько плиток табака были вручены старосте дополнительно, но уже без всяких разъяснений, и он принял дар без колебаний или простейших признаков благодарности. Такой подарок является обычаем, особенно если рассчитываешь на чью-либо любезность. Мы не сомневались, что с этого момента староста стал нашим покорным слугой.

Мы были уже готовы ткнуть пальцем в направлении облюбованной модели и с удивлением обнаружили, что вокруг нас никого не было. Удивительные люди! Мы вспомнили, как однажды на Пятой авеню у нашей автомашины лопнула камера: водитель такси подтолкнул нас к обочине и стал ставить запасное колесо. Не прошло и десяти минут, как собралась такая толпа зевак, состоявшая, казалось бы, из видавших всякое жителей Нью-Йорка, что понадобилось вмешательство полицейского. В другой раз, в Гаване, я обратилась к полицейскому с простейшим вопросом, как проехать в нужном направлении. Покуда я переводила его ответ, собралось почти все население Гаваны, надеявшееся что-либо узнать или увидеть. А здесь, в «дикой деревне», где жители должны страдать особой

склонностью ко всяким развлечениям и обладать сверхмерным любопытством, ни один мужчина, ни даже мальчишка не подошел к нам поинтересоваться происходящими переговорами. Однако жители не расходились, что указывало на наличие интереса к назревающим событиям. Мужчины продолжали сидеть и почесываться, а женщины по-прежнему переносили всякие вещи с места на место, приняв хорошо знакомый женщинам вид озабоченности. Кое-кто начал нерешительно собираться на работу. Одна укладывала пустые пальмовые корзины; другая вплетала пальмовый лист в незаконченную корзину, стоявшую на земле. Тут меня охватила паника: а вдруг эти женщины уйдут раньше, чем переговоры плантатора со старостой придут к положительному завершению?

— Я хочу нанять вот этих, — сказала я, указывая на группу, состоявшую из пяти-шести человек. Одна из женщин, не обращая на нас ни малейшего внимания, завязывала концы холщовой перевязи, в которой лежал ребенок. Она явно собиралась уходить.

— Скорей, скорей… — торопили мы. — Не дайте им возможности уйти…

Но плантатор продолжал беседовать со старостой на тарабарском языке. Староста кивал головой, слушал с глубочайшим вниманием и непрерывно говорил одно и то же слово «йес». А дело не двигалось с места…

— Почему вы не спросите у самих женщин? — с негодованием спросили мы. — Ведь от них зависит согласие на позирование…

Никто не обратил внимания на наши слова. Это была мужская манера говорить и морщить лоб много и долго, пока будет найдено решение, и только после этого приступать к действиям. Я не сомневалась, что к этому моменту я лопну от нетерпения, а женщины давным-давно будут ковырять землю на огородах. Но без мужчин мы ничего не могли добиться, так как местные

женщины не понимают пиджин-инглиш, да и путь к соглашению с женщинами можно проделать только с помощью их супругов.

Плантатор положил в руку одному из туземных супругов две плитки табака и вместе со старостой объяснил, чего мы от него добиваемся. Теперь все трое стояли и совещались, а муж с очень глубокомысленным видом кивал головой и поддакивал вполне по-меланезийски. Однако никто не двигался с места.

— Объяснили ли вы, что мы хотим платить за позирование? — вскричали мы.

Плантатор, конечно, забыл об этом, но не захотел сознаться и начал что-то быстро лопотать. И тут в глазах туземного супруга сверкнул огонек. Ведь все, что мы уплатим жене, будет немедленно отобрано супругом. Жена является его собственностью, для него она только вьючное животное. Мы пришли в восторг, что грубое чувство жадности заставит мужа начать переговоры с супругой.

Как выглядела его жена? Это была молодая женщина, на вид лет тридцати, хотя ей фактически не было и двадцати. Это была самая голая женщина, которую можно увидеть в общественном месте, если не считать натурного класса для художников. Вся одежда сводилась к юбке из «травы», причем длина этой юбки от пояса до конца бахромы не превышала тридцати трех сантиметров. В ушах женщины не было серег, создающих в цивилизованном мире иллюзию одетости. Голова женщины напоминала большой баклажан, на одном конце которого помещался рот, а другой был покрыт густой растительностью. Шея, плечи, руки, карикатурно-широко расставленные ноги были такими угловатыми и столь лишенными малейших отложений жира, что невольно напрашивалась мысль о тяжелом заболевании этого существа, и только абсолютное сходство с остальными женщинами опровергало эту

мысль. Единственное, что не было угловатым, — беременный живот и отвисшие от тяжести молока груди. Подобный сюжет был не совсем обычным для современной живописи. В старину живописцы очень любили тему непорочного зачатия, но мы ставили себе иную задачу: изобразить исчезающую расу, а показывать ее представительниц, ожидающих потомства, было совершенно неуместным.

Женщина имела настолько усталый и измученный вид, что мы были готовы изображать добрых самаритянок, позволивших ей отдохнуть от непосильного труда. Кроме того, мы решили дать ей большую порцию табака, часть которой она сможет скрыть от своего алчного супруга.

Когда ее окликнул супруг, измученная женщина стояла в стороне и бессмысленно вертела в руках банановый лист. Мы ждали от нее рабского повиновения, но женщина даже не посмотрела в сторону мужа и не изменила глубоко страдальческого выражения лица. В ответ она выстрелила длинной очередью звуков, звонко протрещавших в деревенской тишине.

— Тр-р-р… — протрещал супруг.

— Трррррррр… Трррррррррррр, — ответила жена.

— Тр-р-р-р, — сказал супруг.

— Трррррррррррррррррр… Трррррррррр… Трррррррр, — послышалось в ответ.

Мы были поражены. До этого момента мы ни разу не слышали ни единого звука из уст этих замученных и изможденных женщин. А тут этот пронзительный визг, словно кто-то упрямо и долго водил ногтем по стеклу. Что касается супруга, то он занялся раскуриванием трубки, плотно набитой подаренным нами табаком. Казалось, он ничуть не был смущен и тут же позабыл обо всем происходящем.

Больше всех волновался плантатор; что касается нас, то мы терпеливо взирали на то, как плитки табака переходят из рук в руки.

Короче говоря, пятеро туземных мужей потерпели поражение, пока багровый от смущения плантатор признался, что завербовать на работу меланезийскую женщину вовсе не простая штука.

Плантатору никогда не приходилось заниматься таким делом, и, как большинство европейцев, он предполагал, что туземные женщины находятся в полном подчинении мужей. А с мужьями он знал, как надо обращаться. Меланезийские мужчины настолько вежливы, что никогда не отказывают в требованиях белому человеку, даже если они и не намерены выполнять его требования. А если они говорят «да», а думают «нет», то достаточно плитки-другой табака — и тайная точка зрения в корне меняется.

Но совсем иное дело меланезийские женщины…

Все происшедшее нас крайне удивило. По существу, это было прямое восстание против рабовладельцев-мужей. Но еще с большим удивлением мы узнали о полной несостоятельности наших представлений о правовых отношениях между мужчинами и женщинами в далекой Меланезии. В этом обществе, находящемся на уровне каменного века, никому не приходит в голову, что мужчина — безраздельный владелец своей «купленной» невесты. Правда, жених уплачивает родственникам невесты выкуп (ценными раковинами или свиньями). В этом смысле подтверждается купля-продажа невесты, и супруг как бы становится владельцем жены. Но в действительности это совсем не простая купля-продажа. Подарки для выкупа невесты дарятся родственниками жениха, но стоимость свадебного пиршества, на которое приглашаются жители двух-трех деревень, вся эта масса еды и питья относится за счет семьи невесты. Очень часто стоимость

съедаемых свиней и прочей снеди во много раз превышает стоимость жениховских подарков. Этот обмен ценностями является не только красивым жестом или обрядом, но имеет глубоко правовое обоснование. Если молодой супруг будет плохо обращаться с новобрачной, она имеет право вернуться в родительский дом, и тогда происходит нечто не совсем для нас обычное. Вместо того чтобы получить обратно уплаченный выкуп и использовать его на приобретение новой невесты, покинутый супруг обязан полностью возместить стоимость брачного пиршества (в различных районах имеются варианты этого правила). Если брошенный супруг захочет жениться вторично, то все подарки новой невесте он обязан сделать за свой личный счет, поскольку его родственники уже однажды выполнили свои обязательства, дав ему средства на приобретение первой супруги. Такой порядок сильно ограничивает кулачную деятельность мужей.

Если всерьез говорить о домашнем рабстве, то туземные женщины работают вполовину меньше, чем жены американских фермеров. Прежде всего это объясняется простотой образа жизни и отсутствием нарочито созданных стандартов. В здешних домах нет ненужного количества комнат, нет мудреных украшений, являющихся местом скопления пыли: здесь домашнее хозяйство просто и примитивно. Тут никто не знает дюжин простынь и полотенец, скатертей и салфеток, мужских сорочек и нижнего белья, женской всякой всячины, которую нужно еженедельно стирать и гладить. Впоследствии мы часто проводили дни в обществе туземных женщин, изучили их труд в доме и на огородах и могли сопоставить его с нескончаемым, колоссальным трудом американской фермерши. Не так легко туземным женщинам таскать на себе тяжелые корзины с огорода домой, но зато все работы по посадке, прополке и уборке урожая ведутся

неторопливо, перемежаясь с болтовней и сплетнями (как, впрочем, и у всех женщин), чему крайне способствует работа на одной поляне, где каждая семья имеет свой небольшой участок. Несмотря на принесенные домой горы груза, домашнее хозяйство остается очень несложным. Вся пища готовится на общем очаге, а после еды и приготовления пищи не бывает обычных у нас гор грязных тарелок и кухонной посуды, которые надо мыть, отскабливать, сушить и ставить на место. Даже не нужно думать о судьбе кухонных отбросов, так как собаки сжирают их раньше, чем они становятся отбросами.

Покуда мы расточали бессмысленное сожаление беременной особе, выяснилось, что она вовсе не должна работать на огороде и принадлежит к числу женщин, прятавшихся от нас накануне.

Эти «женщины-рабыни» вовсе не обязаны работать до последнего часа беременности, рожать ребенка тут же, на поле, и, оставив его лежать в траве, снова приниматься за работу, как это зачастую происходит со славянками — уборщицами картофеля в родном нам штате Колорадо. Здесь существует строго соблюдаемый порядок предродового и послеродового освобождения от работы, а в некоторых районах Меланезии это правило распространяется и на мужчин, которые получают специальное питание и пользуются особым вниманием за то, что находятся в деликатном состоянии отцовства.

Туземки в такой же степени, как и белые женщины, подвержены септическому заражению в момент родов. Обычно они выздоравливают, а если и умирают, то вовсе не от отсутствия ухода, а вследствие того, что их лечат от злых духов, а не от заражения. Вопрос родов здесь пользуется не меньшим, а может быть, и большим вниманием, чем в нашем цивилизованном обществе. Подальше от деревни, в непосредственной близости от

зарослей для каждой роженицы строится заново хижина, где полдюжины повивальных бабок оказывают женщине посильную помощь. Такая отдаленность родильных хижин от деревни объясняется тем, что мужчина, случайно сюда зашедший и услышавший крики роженицы, навлекает на себя гнев духов, присутствующих при рождении.

Когда все стихает и молодая мать возвращается с младенцем в деревню, ее новорожденный встречает самый нежный прием местных жителей.

Если считать обязательный труд рабством, то туземных женщин можно отнести к категории рабынь, но не рабынь своих мужей. Каждый взрослый меланезиец обязан участвовать в работах на пользу своей деревни. Характер работ является неизменным, и слабый пол получил ряд преимуществ перед мужчинами. Если не считать возложенную на женщин обязанность по переноске тяжестей с огорода, то все физические работы выполняются мужчинами: они должны рубить лес на дрова или строительные материалы, сооружать новые дома, расчищать заросли при устройстве новых огородных участков, а также выполнять менее тяжелые работы, к которым относятся охота и рыбная ловля. Забота о детях делится пополам. Когда период младенчества и раннего детства оканчивается, мальчики сопровождают отцов на охоте и участвуют в мужских работах. Равным образом девочки повсюду сопутствуют матерям, обучаясь тому, чем они будут заниматься в будущем.

Выполнение общественных работ является неотъемлемой и само собой разумеющейся частью жизни меланезийца, столь же естественной, как дыхание.

Возможно, что идиллически изображенный мною образ жизни вполне устраивает меланезийцев, но для нашей экспедиции он был сплошной помехой. Основная

помеха сводилась к привычке меланезийцев к известному характеру поручаемой работы, и нам понадобилось много усилий, чтобы выйти из создавшегося тупика. Любопытно, что в каждой деревне нам надо было искать иных путей, ибо старые не годились. Члены всякого человеческого общества, устои которого покоятся на традициях, должны решительно восставать против всего, что идет вразрез с привычным укладом.

Меланезийские женщины со свойственными всем женщинам одинаковыми чертами резко воспротивились необычайной для них форме труда — позированию перед художником. Традиционным для здоровой женщины являлся труд на огороде — так трудились все остальные здоровые женщины. Что же касается задач и желаний нашей экспедиции, то какое и кому до этого дело? Если говорить о женщинах, остающихся в деревне, то есть имеющих малышей, беременных, старух или всяких больных, то и у них имелись традиционные обязанности, в круг которых вовсе не входило позирование художнику.

Голос туземной женщины нельзя считать резким, но в присутствии мужчины он немедленно становится пронзительным, и разговор между ними напоминает классическую литературную ситуацию, когда одно-единственное слово мужа вызывает поток слов жены. Правда, имеется некоторая разница, поскольку туземный супруг остается безмятежно спокойным и не обращает внимания на неистовые вопли своей супруги. Так же безразлично относится к семейным столкновениям все остальное население деревни, считая возникший инцидент обычным житейским явлением. Нам ни разу не пришлось видеть, как туземные супруги всерьез ссорятся или пытаются навязать друг другу субъективную точку зрения. Нам это показалось удивительным потому, что всякий

американец убежден, что если чего-либо нельзя достичь при помощи денег, то можно добиться путем длительного уговаривания.

В данный момент даже староста не счел нужным убеждать мужей, чтобы те в свою очередь уговорили жен. Он набил трубку нашим табаком, сел на корточки в тени пальм и не без удовольствия закурил. Что касается мужей, то они вооружились копьями, луками и стрелами, кликнули мальчишек и собак и отправились на охоту. Как только мужья ушли, наши модели потеряли повод для визга и, нагрузившись корзинами, посмеиваясь про себя, отправились на свои огороды.

Посмотрев со смущением на нас, плантатор пожал плечами и ускакал на свою плантацию. Мы были раздосадованы провалом затеи плантатора, храбрившегося в пять минут раздобыть нам модель, но вместе с тем испытывали внутреннее удовлетворение от того, что мужчинам не удалось превзойти нас в конечных результатах. Пожалуй, мы имели даже некоторое превосходство, так как единственное, что теперь нам могло помочь в получении моделей, — было чисто женское знание и понимание психологии существ одинакового с нами пола. А этим знанием мы, к великому счастью, обладали.



Возвращаясь в Танакомбо, мы увидели картину, которая вполне могла бы соперничать с еще не написанным шедевром «Женщины-огородницы». Подойдя к месту, где мы оставили Пятницу и наших

лошадей, мы их не увидели и не узнали полянки. Она имела вид, будто только что подверглась бомбардировке: повсюду виднелись ямы и груды земли. Для полноты иллюзии из ям торчали голые коричневые ноги и зады столь странно содрогавшиеся, что нельзя было сомневаться в последних минутах жизни их владельцев. Руки и плечи страдальцев были глубоко погружены в ямы, откуда песок и камни летели во все стороны. Пока мы рассматривали эту необычайную картину, из одной ямы показался человек, державший в руках белое яйцо. С большой тщательностью он уложил яйцо в сумку и, увидев нас, издал гортанный звук, переполошивший остальных туземцев.

Когда они вскочили на ноги, то среди них мы узнали нашего знакомого, сопровождавшего группу женщин, возвращавшихся с огородов. На этот раз он смотрел на нас с крайним недружелюбием.

Мне всякий раз очень трудно описывать встречу с туземцами, хотя бы потому, что неожиданная встреча с ними принимает оборот, мало вяжущийся с нашими понятиями о логическом развитии сюжета.

В описываемом случае мы нарушили святую святых туземцев не только тем, что оставили наших лошадей пастись в священном месте, но и потому, что сами вступили на эту поляну. Вход сюда разрешался только мужчинам, а для женщин, в том числе и белых, было строжайшее табу. Как известно, присутствие женщины наносит неисчислимый вред мужскому делу. Промысловые лодки тонут, деревья папайя сохнут и гибнут, а свиньи теряют способность к размножению, если к ним прикоснется женщина. Единственное дерево, которое не гибнет от прикосновения женщины, — саговая пальма, да и то срубить ее должен мужчина. Вся дальнейшая работа над сердцевиной пальмы может беспрепятственно делаться женщинами. Мы сразу поняли, что туземцы гораздо меньше обозлены

разрушениями, причиненными лошадьми, чем нашим появлением.

Поляна, на которой мы находились, считалась местом особого рода — здесь добывались яйца. В здешних краях водятся мегаподы, откладывающие яйца прямо на землю и сгребающие над ними кучи земли. Туземцы давно сообразили, что если хорошо взрыхлить землю, то мегаподы изберут это место для кладки яиц, особенно если земля на взрыхленном участке хорошо прогревается солнцем. Вот так возникла и наша поляна. Такие места настолько привлекательны для мегаподов, что меланезийцы могут хоть дважды в День рыться в земле и каждый раз находить зарытые мегаподами яйца. Конечно, при условии, что экспедиции не будут осквернять эти священные места.

Наши кони паслись на поляне почти до полудня, покуда Пятнице не пришлось выбирать одну из двух возможностей: либо быть убитым моим непрерывно лягающимся скакуном, либо казненным местными жителями за осквернение священной поляны. Спасая свою жизнь, он отвязал скакуна, запустил в него камнем и погнал вскачь домой. Затем Пятница отвел жеребенка к берегу, куда немедленно прискакала кобыла.

Я окликнула Пятницу, но никто не отозвался; не последовало ответа и на феноменальный свист Маргарет, которым она останавливала любое такси. Этот неслыханный звук произвел необычайное впечатление на туземцев. Минуту назад они были готовы закопать нас живьем в этих ямах, но сейчас они с глупейшим видом взирали на Маргарет, переглядывались друг с другом и снова глазели на нее. Маргарет не заставила себя ждать, оглушительно свистнула и широко открыла рот, чтобы туземцы могли убедиться в том, что неслыханный доселе звук издается без всяких приспособлений. Это был редчайший случай, когда мы видели местных жителей удивленных до крайности,

поскольку всякое внешнее проявление чувств является для мужчины неприличием. Знакомый нам туземец подошел вплотную к Маргарет и заглянул ей в рот. Тогда Маргарет показала весь несложный прием прижимания языка к зубам и свистнула в третий раз. Все мужчины выстроились перед Маргарет и тщетно пытались свистнуть, в точности копируя все ее движения. У одного из мужчин получилось жалкое подобие свиста, что привело его собратьев в неописуемый восторг.

Короче говоря, мы имели невероятный успех.

Так мы выяснили, что меланезийцы не знают обычного свиста, хотя папуасы отлично свистят и этим звуком выражают одобрение. Неумение насвистывать мелодии объясняется тем, что меланезийская музыка слишком абстрактна и не укладывается в привычную звуковую форму.

Мы воспользовались улучшившейся благодаря волшебному свисту обстановкой и подарили каждому из присутствующих по плитке табака за неснесенные мегаподами яйца, а они подарили нам одно яйцо.

Яйцо мегапода напоминает формой и размером утиное, а приготовленная из него яичница имеет вкус прогорклого рыбьего жира. Нам ни разу не пришлось увидеть мегапода, по мы подозреваем, что он питается продуктами морского прибоя и считается поставщиком наиболее вкусной пищи на этих островах.

Пятницу нам вернул наш знакомый туземец. Осмотревшись вокруг, он подошел к какому-то дереву и рукояткой топора отбил дробь, похожую на трель барабана. Не прошло и минуты, как со стороны берега послышался высокий, как сопрано, голос Пятницы.

— Миссис… вы меня звали?..

Мы приказали ему явиться, но он наотрез отказался.

По дороге домой мы пытались выяснить, как малаитянин Пятница ухитрился понять значение

барабанной трели, пробитой жителем Гвадалканара. На все наши вопросы Пятница твердил одно и то же:

— Но ведь он меня звал...

Большего мы добиться не могли.

Мы были рады всему, что произошло; мы отлично знали, что если у нас ничего не выйдет с женскими моделями, то мы можем начать картину, изображающую мужчин за сбором яиц.

Чудесный свист открыл нам путь на священную поляну, дотоле не осквернявшуюся присутствием существ женского пола.



Глава девятнадцатая



В тот же вечер три женщины в Танакомбо держали военный совет и решили создать «ящик чудес» для меланезийских женщин. Фактически это был не ящик, а новый мешок для копры, наполненный всякой всячиной.

К сожалению, мы не принадлежали к типу женщин-обольстительниц, иначе этот мешок был бы наполнен еще более соблазнительными предметами. Тщательно перерыв в доме все ящики, в том числе и наши собственные, мы собрали множество заманчивых, с меланезийской точки зрения, вещей. Например, мы нашли несколько выбывших из строя дамских корсетов, один даже с фестонами на подвязках, отличный пояс для подвязок с шестью металлическими пряжками, которые могли бы замечательно украсить меланезийские юбки. К числу соблазнительных вещей мы отнесли отрепья нашего шелкового белья, теперь сплошь покрытого маленькими дырками от жары и сырости. Ювелирные изделия были представлены тремя разрозненными серьгами, несколькими футлярами из-под губной помады и довольно длинным обрывком ожерелья из искусственного жемчуга. Жемчужины были крупные, и мы намеревались выдавать их по три штуки.

Маргарет пожертвовала свои вечерние туфли, безжалостно растоптанные на «Матараме» при танцах с «богоданными строителями империи». Я подарила пару потускневших золоченых туфель, и наша хозяйка сказала, что туфли надо дарить порознь, поскольку они будут служить в качестве подвесок к ожерелью. Не имея сведений, какие платья будут в моде в этом сезоне, мы решили отдать в ящик чудес наши вечерние платья из тафты, но наша хозяйка решительно воспротивилась и дала нам взамен несколько ярдов ярко-красного ситца, который здесь никогда не выходит из моды. Такой ситец идет на набедренные мужские повязки, а женщины делают из него перевязь, в которой носят грудных детей или овощи (должна заметить, что меланезийцы отнюдь не похожи на описываемых в романах дикарей и никогда не щеголяют б европейских обносках). Лезвия для бритв, хотя и ржавые, но все же острые, карманные гребни, зеркальца из дамских сумочек и всякие металлические коробочки — все это было уложено в наш «ящик чудес».

Мы задумались над могуществом и богатством, которое заключает в себе мусорная куча на нашей родине. Нам стало грустно, как не раз бывало другим искателям наживы при мысли о том, что предложение сосредоточено на одном краю земного шара, а спрос на другом.

Содержимое «ящика чудес» было вне конкуренции; его нельзя было купить ни на складах плантаций, ни у японских купцов, развозивших свои товары на лодках по всему побережью, принимавших в уплату кокосовые орехи и заодно делавших всюду промеры морских глубин. Если меланезийские женщины являются нормальными существами женского пола, то они не устоят перед ассортиментом наших товаров.

Единственным методом уплаты меланезийкам за позирование является авансирование, а вернее — подарок в счет будущей работы. Такова обычная система

торговли между туземцами, прямо противоположная принятой у нас. Здесь полагается платить за работу или товар столько, сколько покупатель в состоянии уплатить, а продавец всячески пытается превзойти покупателя в щедрости и отпускает товара больше, чем следовало бы по полученной сумме. Репутация Щедрого человека — вот единственная прибыль, которую продавец или покупатель могут приобрести в этой курьезной форме экономических отношений. Здесь отсутствует само понятие прибыли при товарообмене или при оказании услуг. Работа для другого человека есть та же форма товарообмена. «Ты помог мне выстроить дом, теперь я помогаю тебе» — вот основа отношений. При обмене товарами рассуждают так: «Мы — ловкие прибрежные жители — наловили много рыбы, больше, чем нам самим нужно, а потому отдадим ее жителям глубинных районов, где рыбы нет. А взамен они дадут нам таро, которое лучше произрастает в глубине страны. Они постараются дать нам больше, чем даем мы. Но в следующий раз, когда мы еще раз наловим рыбы, мы дадим им еще больше».

Извлечение личной прибыли происходит только при уплате за резьбу по дереву (художники) и черную магию («доктора»). За такие услуги, как ниспослание дождя на посевы, увеличение урожаев таро и батата, производство абортов, увеличение жирности свиней, привораживание любимого человека и напускание на кого-либо недуга со смертельным исходом (это стоит около 12 долларов), надо платить колдуну наличными ценными раковинами. Оплата производится по установленной расценке, столько-то за каждое колдовство в отдельности, и плата остается в личной собственности колдуна. Единственная магия, которая не оплачивается авансом, — лечение больного (врачи! обратите на это внимание!). В Меланезии пациент платит только после своего выздоровления.

Репутация щедрого человека приобретается не так, как нашими общественными благотворителями, которые, вдосталь нажившись за счет своих ближних, жертвуют на больницы для ими же искалеченных людей или дарят коллекцию картин народу, не имеющему ни досуга, ни сил для наслаждения произведениями искусства.

В этой туземной системе экономических отношений мы, представительницы капиталистической Америки, усмотрели слабые места, которые решили использовать. Щедрыми подарками мы могли приобрести власть над нашими жертвами; мы намеревались проявить неслыханную щедрость и завалить меланезиек металлическими коробками, футлярами, рваным женским бельем, а женщины — чтобы сохранить престиж — будут вынуждены отдаривать нас. А мы захотим лишь одного: позирования и права отбора моделей.

С утра, едва мы отправились из Танакомбо, все пошло как по маслу. Было замечательное тропическое утро, и когда день начинается так, то чувствуешь, что все будет в порядке. Так оно и было. День был настолько лишен катастрофических событий, что я не решаюсь начать рассказ из боязни, что читатель глубоко вздохнет и не захочет знакомиться с содержанием дальнейших страниц.

Мы въехали прямиком на площадку к дому для представителей администрации, и на этот раз даже местные собаки только один раз огрызнулись, перед тем как обратиться в бегство. Жители еще не разошлись на работу и не проявляли излишней торопливости. Староста явился за подарком раньше, чем Пятница успел вынести из дома мольберт, на котором красовался нарисованный мною вид деревни.

Хотя нарисованный пейзаж напоминал блюдо шпината с ярко-красными кусками бекона, староста

нашел этюд великолепным. Я приготовилась его закончить или же писать другой пейзаж, покуда основное население разбредется по своим делам, а оставшиеся жительницы будут атакованы нами по всем правилам. Но ждать нам не пришлось. К нам приближалась женщина!..

Я услышала, как позади меня кто-то четко поздоровался, и, повернувшись, увидела маленькую светло-коричневую туземную женщину. Вытянув руку ладонью кверху, слегка согнув пальцы, как бы для того, чтобы схватить плитку табаку, она улыбалась и неторопливо приближалась ко мне. Но именно сегодня мы совершили величайшую глупость и не захватили с собой табака.

— Маргарет! — завизжала я. — Живо сигарету!..

Но Маргарет давно уже следила за женщиной и держала наготове все, начиная от пояса с подвязками и кончая сигаретой и зажигалкой. Покуда мы сияли от счастья, маленькая женщина взяла сигарету, спокойно закурила от огня зажигалки, всегда приводившей в страх туземцев, и, как старый и опытный курильщик, пустила длинную струю дыма. Потом она указала рукой на картину и на пиджин-инглиш похвалила мое творение. Отдельные слова я не разбирала, но смысл был совершенно понятен.

Нет конца миру чудес! Откуда взялась эта сверхъестественная меланезийская женщина? Несомненно, она была незаурядным явлением среди местных жителей. Когда она взяла сигарету, веселые возгласы послышались от неподалеку стоящих женщин. Когда же она прикурила от зажигалки, раздался оглушительный смех. Видно было, что она «работает на зрителя», нарочито стряхивая пепел сигареты постукиванием указательного пальца, как бессознательно делала Маргарет. Сходство было слишком велико, чтобы быть случайным. Возможно, что

женщина, подобно озорному малаитянскому мальчишке, дразнила или заигрывала с нами на местный лад. Кто бы она ни была, каковы ни были ее намерения, мы будем рады, если она согласится нам позировать. Тогда мы спросили, знает ли она, что значит позировать, и она ответила, что отлично знает. В доказательство своих слов она, уперев руки в бока и широко растопырив пальцы, стала в позу, повернувшись лицом к солнцу. Такая поза напомнила мне картину Домье, где расстреливаемая жертва ожидает залпа. Такую же позу всегда принимает туземец перед фотоаппаратом. Несомненно, она видала виды, эта старуха.

Принятая ею поза вызвала у женщин новый взрыв визгливого хохота, и вскоре мы с радостью обнаружили, что на нашем конце площадки народу прибавилось.

Маргарет высказала предположение, что мы имеем дело с деревенской дурочкой, потому что женщина не обижалась на общий смех. Но мне для портрета важна была интересная женская голова, а не ее содержание.

Женщина вовсе не была старой; вероятно, она была не старше сорока пяти, но почти полное отсутствие зубов и провалившиеся щеки резко очерчивали форму черепа, что представляло для меня большой интерес на данной стадии изучения лиц меланезийцев. Ее волосы были коротко острижены, что обличало в ней замужнюю женщину, и такая стрижка еще больше подчеркивала форму черепа.

Женщина ничем не отличалась от остальных: если поставить свою руку так, чтобы не видеть грудь и живот, то она казалась столь же бесполой, как малаитянин — обитатель горных зарослей. Те же узкие мальчишеские бедра, такие же узловатые колени, широкие и плоские ступни, жилистые руки и крупные черты лица. Меланезийская женщина лишена даже обычной женской талии, вокруг которой могла бы держаться юбка из травы. Она завязывает пояски ниже

живота и только сильно выпуклые ягодицы мешают юбке упасть на землю. Ягодицы и груди являются единственными признаками, по которым в Меланезии можно отличить женщину от мужчины, однако чем она старше, тем легче ошибиться.

Груди нашей модели имели вид своеобразных пустых мешков и, казалось, были приделаны потом, настолько это было непохоже на нормальное строение человеческого тела. Они даже не находились на обычном месте, а свисали с нижних ребер на живот, да и цвет их был не такой, как у остальной кожи, а серо-фиолетовый. Живот был не менее интересен: словно женщина его разрисовала. Растяжение кожи при, вероятно, многочисленных беременностях разорвало тонкий слой пигмента, который делает темной кожу туземца, и все шрамы были белые. У других окружавших нас женщин этого не было. Мы настолько заинтересовались, отчего у нее такой живот и странный цвет грудей, что, вернувшись с портретом на родину, стали разузнавать причину.

Мы узнали, что серая чешуйчатая кожа является результатом кожного лишая — одной из наиболее трудно излечимых и заразных болезней. Мы сами чудом избежали заражения, пробыв столько времени в Меланезии. Замечу мимоходом, что болезнь эта отвратительна и зуд от нее нестерпимый. Примерно десятая часть туземного населения больна этим лишаем.

Шрамы на животе нашей модели, отсутствовавшие у Других женщин, объяснялись тем, что она рожала крупных Детей от европейца.

Наша меланезийка, по имени Догару, была посмешищем деревни не по причине слабоумия. Она была слишком резко выраженной индивидуальностью в обществе, где идеалом считалось быть таким, как все прочие. Много лет назад она была «экономкой» в доме

плантатора и от него научилась не только говорить на пиджин-инглиш, но и обращению с белыми людьми. Связь ее кончилась так, как обычно такие связи оканчиваются, хотя они встречаются здесь не столь часто, как это пытаются изображать журналисты.

После того как она родила плантатору троих детей, из; которых в живых остался один, плантатор расстался с ней и уехал на родину. Ребенка он поместил в миссионерскую школу и обеспечил материально до достижения им совершеннолетия. Что касается Догару, то ей ничего не оставалось, как возвратиться в деревню и начать снова жизнь туземной женщины.

С точки зрения чужеземца, в этом не было ничего сложного, но жизнь в патриархальной общине совсем не то, что индивидуальное существование в наших городах. Жизнь здесь стеснена и осложнена бесконечными табу, незыблемыми правилами, условностями и родственными связями, а потому с самого начала блудная дочь общины была встречена неприязненным хихиканьем. Такое отношение было вызвано не тем, что на протяжении нескольких лет ее жизненный путь был усыпан розами, а лишь потому, что она была странным явлением — зрелой женщиной без мужа. Ее непосредственный опекун — брат матери — умер в ее отсутствие. Будь она молода, следующий по линии родства из племени матери обязан был бы дать свиней для брачного пиршества. Но она не была молода, и это послужило непреодолимой помехой (историю Догару мы узнали от нее самой, и рассказ был нам ясен только в общих чертах).

Догару надо было выйти замуж, чтобы перестать быть посмешищем деревни. Будучи маленькой и мужественной женщиной, она решила позаботиться о своей судьбе и занялась самой древней женской профессией, став деревенской проституткой.

В обществе, где о проституции не имеют ни малейшего представления, подобное занятие вызвало

насмешки со стороны всех женщин. Ни одна женщина не осуждала Догару по моральным соображениям, но все дружно насмехались над подобным занятием, не входившим в круг привычного женского труда (если вам что-либо непривычно — насмехайтесь! Это правило годится во всем мире...).

Весьма вероятно, что оригинальную идею она заимствовала у своего прежнего белого хозяина, и эта идея имела в деревне практический успех. Наша бедная героиня, осыпаемая всеобщими насмешками, работала изо всех сил, пока не приобрела достаточное количество ценных раковин, на которые можно было купить нужное для брачного пиршества количество свиней. Как только появилось богатство, появился и супруг.

С момента замужества Догару заняла в обществе равное с остальными женщинами положение и стала «уважаемой личностью». Но она осталась бунтарем, вызывая отдельными выходками общие насмешки. Нам она показалась маленьким и одиноким существом. Что-то привязало ее к нам; возможно, ей просто хотелось щегольнуть перед остальными женщинами своим бесстрашным обхождением с белыми людьми, а может быть, мы были для нее источником получения сигарет, которые она, опять же вопреки всеобщему вкусу, предпочитала обычному табаку. Или же в силу чувствительности характера она солидаризировалась с нами, зная, что мы, так же как и когда-то она, являемся для жителей деревни мишенью насмешек. Несмотря на совместно проведенное время, на возможность изъясняться на понятном друг другу языке, на наличие У нас опыта в понимании людей, мы так и не раскусили сущности нашей Догару. Временами она казалась нам веселой, старенькой, нарочито паясничающей женщиной, а по временам она уходила от нас в свой далекий каменный век. Она доводила нас до того, что мы согласны были четвертовать ее, если бы только она

не была для нас исключительно полезным и всезнающим сотрудником и переводчиком.

Наш первый опыт использования Догару в качестве модели проходил в обстановке каменного века. Она охотно и радостно согласилась позировать, но как только Маргарет указала ей место для сидения, она заартачилась и не пожелала объяснить, в чем дело.

Я хотела работать на веранде дома для приезжих, чтобы использовать для портрета Догару черно-белый фон висевшей на стене циновки. Однако Догару пришлось чуть не силой заставить подняться по ступеням лестницы. В конце концов она уселась сама (когда мы уже предложили ей сесть на пол) и погрузилась в такое глубокое молчание, что даже любимые ею сигареты перестали действовать. Остальные женщины, оставшиеся в деревне, организовали в соседней хижине нечто вроде кружка кройки и шитья. Они наблюдали за нами, что было совершенно ясным из непрестанной болтовни и взрывов смеха. Время от времени Догару визжала какие-то фразы, обращенные к жительницам деревни, а как только мы устроили перерыв, Догару убежала из деревни, и больше в тот день мы ее не видели.

Я не успела закончить портрет, когда узнала, что на дом приезжих наложено табу для жителей деревни, и он является единственной правительственной собственностью на территории общинного владения. По этой причине плантатор мог привязать свою лошадь к столбу возле дома, не рискуя вызвать всеобщее недовольство. Что касается Догару, то она очень уважала все табу, наложенные белыми людьми, и охотно согласилась продолжать позировать, если ей не придется входить на веранду дома приезжих.

Первый портрет создал нам в деревне хорошую репутацию. Несомненно, что, кроме Догару, портретом никто не восхищался, но он заинтересовал население

деревни. В тот вечер, когда портрет был закончен, мы оставили его висеть на веранде, и все любопытные могли его рассмотреть. Мы были уверены, что жители воспользуются нашим отсутствием для того, чтобы разглядеть мое творение во всех подробностях.

Эта реклама отлично сработала и показала чистоту наших намерений.

Так мы добились моделей…

Глава двадцатая



На протяжении последующих недель экспедиция напоминала душевнобольного, у которого моменты здорового состояния чередуются с настоящим безумием.

Мы переживали трудный период приспособления к тому, что впоследствии стало для нас обычным. Я непрерывно работала, моделей было сколько угодно, так как неприязненное к нам отношение сменилось быстро растущей популярностью. Но не было ни одной модели, которая бы спокойно позировала до конца; совершенно неожиданно их охватывал необъяснимый страх, и они убегали.

С быстротой ассистента циркового фокусника-иллюзиониста Маргарет меняла на мольберте холсты незаконченных портретов. Не пытаясь объяснить или осмыслить этот калейдоскоп, я работала, словно мясорубка, изображая на холсте все, что Маргарет и Догару ставили передо мной.

Оставшиеся днем в деревне женщины (всегда оставались разные) не устраивали обычной сутолоки у прилавка перед разложенными нами приманками из «ящика чудес». Как любопытные кошки, они шныряли поблизости и принюхивались, изображая полное

безразличие. Когда же мы пытались приблизиться, они прятались, но далеко не уходили.

Догару, позировавшая нам во всех случаях, когда надо было закончить какую-либо недописанную часть тела, хорошо зарабатывала и, пожалуй, возбуждала интерес, а может быть, и зависть остальных женщин. Весь свой заработок она навешивала на себя и скоро стала напоминать ходячий склад. Она носила атласный, отделанный кружевом бюстгальтер не для поддерживания бюста, а в качестве хранилища своей добычи. Длинные груди висели под бюстгальтером, а в свободном пространстве помещались плитки табака, коричневая бутылочка из-под лекарства, жестяная коробка из-под сигарет, наполненная бусами и лезвиями для бритвы, и даже рваная, скатанная в клубок розовая сатиновая юбка. Эту юбку Догару взяла ради ощущения, которое давало прикосновение к материи. Поверх этого разнообразного арсенала красовалась подвешенная на ремешке золоченая туфля, которую Догару иногда надевала на ногу. Ходить в ней Догару не могла из-за высокого каблука и издевательского смеха своих соплеменниц.



Все предметы Догару выбирала сама, и, когда окружающие нас женщины стали более доверчивыми, мы широко применили метод свободного выбора товаров, предназначенных для приманивания моделей. Позволив женщинам самостоятельно выбирать любой предмет, мы убедились в общности черт, свойственных всем женщинам мира. В то время как остальные женщины, сидя в сторонке, делали независимый и незаинтересованный вид, их соплеменница тщательно рассматривала и щупала все находившиеся перед ней товары, откладывала отдельные предметы в сторону, снова и снова возвращаясь к ним, и спустя добрый час принимала окончательное решение. В момент принятия решения она оглядывалась назад, как бы спрашивая у остальных женщин, не совершила ли она ошибки. Она никогда не благодарила, так как общепринятая форма выражения благодарности неведома меланезийцам: подарок должен быть возвращен только в форме подарка.

В этой деревне не существовало поверья, что в портрет вселяются злые духи и что он может быть использован художником во вред позировавшему. Смущенный вид наших моделей объяснялся не страхом — здесь никто не боялся позировать, — а глупейшим хихиканьем остальных женщин при каждой новой позе, принимаемой моделью. Наши модели очень быстро соображали, что мне от них нужно, и отлично сохраняли одно и то же положение головы или руки, пока я делала набросок. Большинство моделей приходило с малышами, которые сильно досаждали матерям. Вскоре мы узнали, почему туземные ребята так мало плачут. Дело в том, что они не знают в чем-либо отказа, и, как только ребенок начинает плакать, мать немедленно начинает кормить его грудью. Наш большой опыт в писании портретов американских детей приносил здесь неоценимую пользу, избавляя меня от припадков бешенства при попытках разглядеть суетящуюся модель.

Для нас навсегда осталось загадочным это полное непонимание моделями смысла кратких перерывов во время сеанса. Даже Догару, несмотря на ее сообразительность, была убеждена, что работе наступает конец, как только мы объявляем перерыв. Мы не хотели допускать переутомления моделей, так как это могло отразиться на популярности идеи позирования. Женщины сами не желали переутомляться и зачастую без всяких объяснений вставали со своих мест и уходили. Иногда они возвращались обратно, а порою Маргарет была вынуждена следить, куда они направились. Последнее было вовсе не безопасно, так как женщина могла отправиться по естественной надобности, а такое дело считается строго секретным и не допускает постороннего взора. На протяжении многих веков существует поверье, что обрезки ногтей, срезанные волосы, экскременты и плевки, если их

передать колдуну, могут привести к тяжелому заболеванию или даже смерти человека.

Как правило, модель прекращала позирование в момент, когда ей это наскучивало или наступало время заняться другой работой. Зная, как важно туземной женщине выполнить порученную ей работу, мы никогда не препятствовали модели в ее уходе. Свободные от огородных работ женщины выполняли ряд легких заданий: наполняли водой тыквенные бутыли и бамбуковые хранилища, собирали все съедобное, что остается на берегу в час отлива, нарезали банановые листья, в которые заворачивается пища, когда ее пекут. Они должны были поддерживать огонь общего для всей деревни очага, чтобы камни были достаточно накалены к моменту готовки пищи (топливо для очага приносили по вечерам подростки). Обязанностью женщин было нарезать содержимое кокосовых орехов при помощи остро отточенных раковин, Орехи служили приправой к мясной пище. Иногда они отжимали измельченные кокосовые орехи сквозь пористую основу листьев и добывали кокосовое молоко или же закапывали (сроком на неделю) в землю связки бананов, становившихся мягкими и пригодными для изготовления запеканок. Женщины обязаны были плести из пальмовых листьев корзины или изготовлять юбки из листьев банановогo дерева. (Наше упоминание о юбках из «травы» неправильно, поскольку слово «трава» является определением на пиджин-инглиш того материала, который идет на изготовление юбки. Никакой травы для этого дела не применяют, а пользуются банановым листом, который нарезается полосками, перпендикулярными к средней жилке листа. Полоски высушиваются на солнце до желто-коричневого цвета. Средняя жилка образует пояс, окруженный с одной стороны бахромой. Полдюжины юбок, нанизанных одна на другую, образуют одежду женщины. Длина бахромы

не превышает фута, но она так ловко устроена, что никогда не задирается кверху и позволяет женщине свободно двигаться. Мы никогда не видели, чтобы женщина обнажилась более, чем допускается моралью. Даже в момент вставания с места или сидения на земле бахрома свободно свисает и оказывается вполне достаточной.)

Из-за этих юбок мы чуть не поссорились с нашей благодетельницей Догару. Однажды в присутствии новых женщин я надела туземную юбку и пустилась в пляс под аккомпанемент гавайской гитары. Лежавшие вокруг нас женщины дико захохотали, и мы, в полную противоположность Догару, приняли смех за форму одобрения. Однако Догару возмутилась и сказала, что женщины смеялись над нами, а не вместе с нами. Ну и что же, заметили мы, ведь, по нашим понятиям, смех является шагом в направлении дружбы. Оказалось, что это различные по смыслу понятия. Например, нам не следует ходить в брюках, так как они являются предметом мужского обихода; в равной степени белым женщинам не полагается ходить в туземных юбках. И вовсе не потому, что туземные женщины считают себя ниже белых; отнюдь нет, это просто-напросто не принято.

Вот и попробуйте после этого считать, что соблюдение условностей является выдумкой цивилизованного общества.

Впрочем, нам незачем было заботиться о собственном престиже, поскольку наш род занятий ни в какой степени не вызывал у местных жителей уважения. Выставленный для всеобщего обозрения портрет Догару лишь разъяснил жителям наши притязания и безвредность намерений. Такое отношение убедило нас в полном безразличии местных жителей к изобразительному искусству. Более того, даже сами модели были мало заинтересованы в вопросах сходства

оригинала с его изображением. Их надо было просить посмотреть на свой портрет, а когда мы спрашивали мнение Других женщин, то они в ответ только хихикали. Платить за позирование приходилось дважды: вначале товарами из «ящика чудес» и вторично — табаком по окончании портрета. Говоря по правде, ни одна из женщин не требовала такой платы, но Догару считала, что, принадлежа к белой расе, мы Должны соблюдать принятые на плантациях правила и учинять расчет по окончании работы. Авансы рассматривались только как приманка и в заработную плату не включались.

На четвертой неделе нашей деятельности произошел случай, который нарушил монотонный ход событий.

Мы продолжали работать над этюдами к картине «Женщины-огородницы», и я начала писать ребенка, лежащего в холщовой перевязи на плече матери. Это была явно неудачная модель, так как у ребенка прорезывались зубы и матери приходилось подолгу его успокаивать, а нам ожидать, покуда ребенок примет первоначальную позу.

Выбирая аванс, женщина долго колебалась между ломаным гребнем и плиткой жевательной резины, которая привлекала ее блестящей упаковкой из фольги. Чтобы прекратить бесцельную трату времени, мы разрешили женщине взять обе вещи. Не знаю, как долго валялась у нас эта жевательная резина, но, безусловно, не менее двух лет, и от давности, жары и сырости она размякла и перестала быть упругой. Видимо, какой-то злой дух толкнул нас на попытку выяснить, что думает первобытный человек о жевательной резинке. Как на грех, Догару не было с нами, и мы ограничились несколькими жестами. Сначала женщина не решалась взять плитку в рот, но как только попробовала, ее лицо расплылось в улыбке, как это изображают на рекламах фирмы, изготавливающие жевательную резинку.

Резинка, сохранившая вкус и запах, так раскисла, что не превращалась в обычный шарик, а тянулась нитями, но женщина жевала, широко раскрывая большой рот и ворочая белками глаз, выражавших удивление и удовольствие.

В здешних краях сладости почти неизвестны, хотя сахарный тростник произрастает в Папуа. Ребенок сразу почуял запах и, увидев мать, жующей то, чего ему не дали, поднял дикий рев. Прежде чем мы успели что-либо предпринять, мать сунула в рот ребенку кусок резиновой жвачки, вынув ее изо рта, и пыталась намазать ее на десны ребенка. Не прошло и минуты, как вся модель была опутана паутиной нитей жевательной резины, покрывшей лицо ребенка, грудь матери и холщовую перевязь. Женщина тщетно пыталась вытереть руки о землю. Я подала женщине тряпку, смоченную в скипидаре, но женщина встала и зашагала прочь, унося плачущего ребенка.

На протяжении нескольких дней матери с детьми обходили нас на почтительном отдалении.

* * *

Однажды, находясь в довольно унылом настроении, мы попросили Догару найти нам для позирования «раскрасавицу девицу», являющуюся предметом мужского восхищения. В этой деревне явно ощущалась нехватка молодых девушек, и, как выяснилось, имелись всего три девицы самых разнообразных очертаний, от степени полной физической неразвитости и до чрезмерной пышности. Догару сказала, что старшая из них является идеалом красоты.

Вряд ли девушка была старше тринадцати лет, и если вам нравится тип длинной хворостины, то вы сочли бы ее молодое тело прекрасным. Начиная снизу, от ее

палкообразных ног, вы не замечали ни единой выпуклости, покуда ваш взор не достигал висящих в разные стороны длинных грудей, оканчивавшихся сосками такой величины и рельефности, что они напоминали знак точки под вопросительным знаком. В этом не было ничего, что могло возбуждать малейшую чувственность, это просто выглядело совершенно непривычным. Когда Догару сказала, что глаза девушки прекрасны, мы растерялись. Для меланезийцев характерны небольшие, глубоко посаженные глаза, которые под выступающими надбровными дугами и густыми бровями кажутся еще меньше. Отчасти кажущийся небольшой размер глаз объясняется тем, что у меланезийцев белки глаз имеют розовато-желтый цвет, слабо контрастирующий с темным зрачком. Но если для обычных меланезийцев малый размер глаз является характерным, то у этой девушки вместо глаз имелись две черные бусины, блестевшие посередине глазных впадин. Как выяснилось, красота ее глаз заключалась именно в необычно малом размере.

Цветом кожи девушка была вправе гордиться, так как, по местным понятиям, считалась «светлокожей» (мы думали, что цвет кожи у всех, кроме больных, темно-коричневый). Присмотревшись к девушке, мы заметили разницу в цвете ее кожи и других женщин, которая заключалась в интенсивности загара спины. У старших женщин спины потемнели при многолетней работе на залитых солнцем огородах.

Мы должны были признать, что гладкая и блестящая кожа этой девушки была замечательной и напоминала кожу ребенка. Но именно это достоинство не играло у туземцев какой-либо роли, так как здесь ценят в коже только светлый оттенок, а не фактуру. Длинные волосы, которые здешние женщины носят до замужества, несколько смягчали крупные черты ее лица.

Но что означала эта ужасная белая опухоль на верхней губе, вокруг которой роем летали мухи? Уж не проказа ли? О нет, объяснила нам Догару, это всего лишь нарыв. Девушка обязана иметь нарывы к моменту первых менструаций, в противном случае после замужества в молодой женщине засядут злые духи и дети будут рождаться больными. Оказывается, наша красавица развивалась «ненормально» и в детстве избежала накожных болячек, а потому пришлось удалить при помощи раковины кожу с верхней губы и обнажившееся мясо намазать гноем, взятым у другого человека. Теперь все в порядке и девушка пригодна для замужества.

Даже врачи с трудом отличают местные нарывы от сифилитических язв; кстати говоря, лечение их производится теми же средствами. Туземные лекари постоянно заняты лечением нарывов. В тех местностях, где у местного населения не распространена теория «прививок», связанная с верой в злых духов, администрация успешно борется с накожными болезнями. Никто из врачей не считает, что однажды переболевший нарывами получает иммунитет, как это предполагают туземцы.

Деревня, в которой мы работали, отличалась своими ужасающими нарывами, и, находясь в ней, мы практически вместо воды пили дезинфицирующие средства. У взрослых туземцев нарывы наблюдались относительно редко, но сохранившиеся белые рубцы свидетельствовали, что в детстве они «приобрели иммунитет» от этого распространенного заболевания. Чаще всего рубцы виднелись на ногах, и поэтому любая болезнь, будь то внутренняя или наружная, называлась туземцами «больная нога». Например, у Маргарет была «больная нога на руке», а у нас обеих была «больная нога на шее». В деревне редко можно было увидеть ребенка без гноящихся нарывов и не менее ужасающих

струпьев, почти всегда кровоточащих, так как никто не пытался удерживать детей от срывания корочек с подсыхающих язв.

Вот такой едва научившийся ходить ребенок с покрытым нарывами подбородком и заставил нашу экспедицию бросить работу в этой деревне.

Без всякой видимой причины экспедиция снова приобрела уважение матерей, и я писала портрет женщины, которая, с трудом сохраняя равновесие большой корзины с бататом на голове, одновременно успокаивала малыша, колотившего ее по ногам (нас всегда удивляла принятая система воспитания детей в стране, где можно убить и не обязательно быть повешенным за убийство). Этому толстому, горластому и зубастому малышу было не менее двух лет, но он все еще сосал грудь матери, хотя видно было, что она пуста. Малыш топтался у ног матери, время от времени хватал грудь, кусал ее и злобно дубасил кулачками по пустой груди. Женщина не оказывала малейшего сопротивления и как будто даже не замечала малыша, разве что ребенок заставлял ее качнуться от удара, нанесенного головой в живот. Такое поведение ребенка нельзя считать необычным, но смотреть на это было неприятно. Больше всего мне мешало, что кожа нашей модели была измазана выделениями из нарывов на подбородке ребенка. Маргарет все время обмахивала женщину пальмовым листом, отгоняя тучи мух, летавших между мной и моделью.

Сеанс продолжался более часа. Мне достаточно приходилось в жизни позировать, и я прекрасно знала, как трудно высидеть с протянутой рукой хотя бы пять минут. Больше всего я опасалась, что женщина не выдержит и уйдет. А мне самой нужен был перерыв. Я отложила в сторону палитру и кисти и вместе с Маргарет отправилась на окраину деревни, где лежали кокосовые орехи, наполовину зарытые в песок, чтобы

сохранить их прохладными. Так же как и местные жители, мы брали орехи, проделывали в них отверстия и утоляли жажду кокосовым молоком. Сок орехов — прохладный и сытный напиток, хотя по вкусу он напоминает мыльную воду. Мы рисковали получить дизентерию, так как к орехам прикасались руки туземцев, а мы прикладывали губы к отверстиям, пробитым нами в скорлупе.

О, лучше бы мы на этот раз умерли от дизентерии или от чего угодно, прежде чем увидели нашу модель, снисходительно посмеивающуюся над проказами малыша. Схватив мою палитру, ребенок размазывал по себе краски. Ядовитый свинцовый сурик покрывал его колени и голову, не менее ядовитые свинцовые белила были размазаны по рукам и лицу, а уши покрыты мышьяковой зеленью. Мы даже не поняли, были ли его нарывы покрыты белыми гнойными выделениями или свинцовыми белилами. Ребенок неминуемо должен был умереть не сегодня-завтра, во всяком случае раньше, чем мы успеем убраться с Гвадалканара.

Мать ребенка, никогда не знавшая о существовании масляных красок, была очень спокойна и думала, что всякая краска смывается водой, но мы отлично понимали ужас положения. Мыла у нас не было, и мы были вынуждены пользоваться скипидаром, хотя знали, как он жжет даже огрубевшую кожу взрослого человека. Догару опять с нами не было, и мы ничего не могли объяснить матери ребенка.

Маргарет, сохраняя внешнее спокойствие, взяла ребенка за руки и сжала их, как в тисках. Ребенок взвыл от страха. Раньше мы никогда не брали на руки туземных детей, потому что они испытывали неописуемый страх перед нашими белыми лицами.

Отнюдь не так спокойно, как Маргарет, я смочила тряпку в скипидаре и принялась стирать краску с ребенка. Его мать вела себя в точности, как испуганная

птица, когда она видит, как ее птенец попадает в пасть хищника. Она тщетно клевала нас в спину и, поймав ногу ребенка, пыталась вырвать его силой из наших рук. Впечатление создалось такое, будто здесь кого-то убивают.

Я, как могла, вытерла руки ребенка, затем, ухватив за курчавую шевелюру, принялась за лицо, но боялась прикоснуться к нарывам, так как неосторожным прикосновением я могла втереть ядовитые свинцовые краски в язвы. Все мы были перемазаны гноем и красками, а вокруг суетились и кричали жители деревни.

Во избежание ожога кожи надо было скорее смыть скипидар; для этого мы воспользовались льняным маслом — ничего другого у нас под рукой не было. Видимо, льняное масло нейтрализовало действие скипидара. Эта операция была лебединой песней нашей экспедиции, позорно обратившейся в бегство.

Бросив все на произвол судьбы, мы сломя голову поскакали к плантатору и просили его отправиться вместе с нами в деревню, объяснить старосте происшествие (сопроводив объяснение большим количеством табака) и с его помощью растолковать женщине, как удалить краску с нарывов.

Плантатор отнесся к происшествию очень серьезно, и, когда мы подъехали к деревне, он не позволил нам в нее въехать, а велел отправляться прямиком в Танакомбо. Плантатора сопровождал слуга, которому было велено перенести все наше снаряжение в дом приезжих. У плантатора с собой было надежное средство от всех болезней — касторка, к которой рабочие на плантации относятся как к наказанию. В деревне все, что наливается из бутылочки, считается магическим средством. Плантатор собирался применить его к нашей жертве точно так, как колдун «смывает» злых духов наружным омовением.

Несколько дней спустя плантатор привез в Танакомбо все наше снаряжение, и мы поняли это так, что ребенок умер и деревня охвачена жаждой мести. Принцип «око за око» действует в диких странах с такой же силой, как и в цивилизованных.

К счастью, ядовитые краски и скипидар не причинили ребенку вреда, а мать была умиротворена щедрым подарком в виде табака. И вместе с тем возвращаться в деревню было для нас не безопасно.

Причиной опасности был все тот же Пятница... Покуда мы, ничего не ведая, работали в деревне и твердо считали, что Пятница на берегу отгоняет мух от лошадей, он ухитрился соблазнить деревенскую красавицу, ту самую, с маленькими глазками и нарывами на верхней губе. Мы никак не могли понять, как ей удалось скрыться с огорода, где она была под присмотром трех десятков женщин и небезызвестного читателям стража. Трудно объяснимым было и возбуждение всей деревни, и яростные речи по поводу случая соблазнения в деревне, где молодежь при первых проявлениях половой зрелости начинает эксперименты в области сексуальных отношений. Обычно родители с полным безразличием относятся к подобным развлечениям молодежи, особенно если учесть, что местные девушки никогда не беременеют до формального замужества (явление не вполне понятное даже ученым).

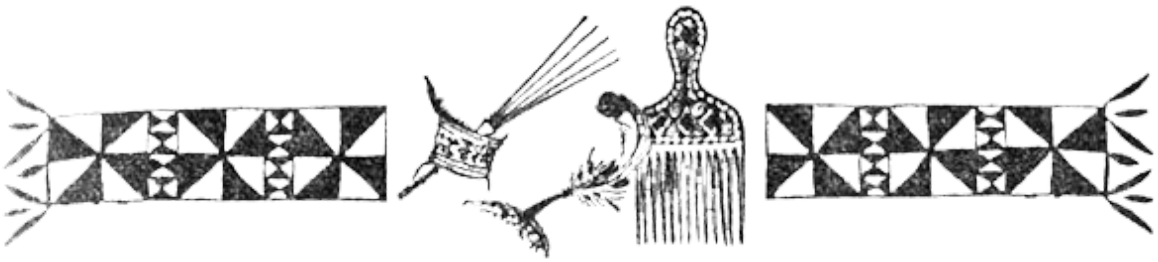
Таким образом, у девушки не было никаких оснований для преувеличенной скромности.

Но Пятница был чужаком — малаитянином; более того, он был слугой белых людей, и такое сочетание стало для деревни нестерпимым.

Во всяком случае, плантатор услышал от старосты нечто такое, что стал опасаться, как бы наши занятия живописью не вызвали заявления представителям администрации о нарушении нами § 152 Положения о

защите туземного населения, где говорится о преступлениях против нравственности и о запугивании жителей.

Глава двадцать первая



Новый год застал нас на западных островах, на плантации Сеги, расположенной вдоль берегов «самой большой лагуны в мире».

Изумительный по красоте вид на лагуну Марово открывался из уборной, стоявшей высоко на холме, куда вела тропинка, усеянная белыми кораллами и заросшая кустами гардений.

На плантации Сеги нас было трое, включая холостяка-хозяина, заставлявшего нас по субботам выпивать коктейль, который, если верить хозяйским словам, на протяжении сорока лет жизни на островах, помогал ему пребывать в отличном здоровье. В состав этой взрывчатой смеси входили джин, английская соль, сернокислый магний и капелька воды. Секрет смеси заключался в том, что всякий человек, проглотивший такой коктейль и сумевший после этого прожить сутки, становился неуязвимым для тропических бактерий. Первый бокал этого напитка придал пребывание в Сеги приятный, лишенный излишних формальностей характер. Например, мы очень деликатно организовали движение по коралловой тропинке, и каждый, направлявшийся в домик на холме, должен был сорвать с живой изгороди белый цветок и положить его посередине тропинки. На обратном пути цветок убирали, давая этим понять, что путь свободен.



Как мы полюбили эти воскресенья! Никогда не закрывавшаяся дверь домика на холме открывала перед посетителем пейзаж неописуемой прелести. Вокруг домика внизу росли гардении и кусты красного жасмина; дальше шел склон холма и видны были верхушки кокосовых пальм, а еще дальше — лагуна, отливавшая дивной лазурью. Но какой лазурью!..

Мы находились на южном берегу острова Нью-Джорджия, на юго-востоке виднелся остров Вангуну, увенчанный кратером вулкана высотой почти в пять тысяч футов. Открывавшийся вид так мало напоминал

обычную — прибрежную плантацию, что мы чувствовали себя перенесенными в совсем другую страну.

Здесь все было сказочно чудесным, как только бывает в книгах, описывающих «райские» острова. С трона на холме была видна вся лагуна, покрытая лабиринтом мелких коралловых островков, отдаленных один от другого узкими протоками, зачастую столь мелкими, что видно было белоснежное коралловое дно. Вода в лагуне переливала всеми оттенками синего цвета, от яркого ультрамарина до нежно-голубого, какой бывает у павлиньего яйца; а там, где коралловые замки достигали поверхности воды, появлялись нежно-зеленые и желтые тона. Синева воды звучала доминантой на палитре красок в этом мире ослепительного света и глубочайших теней. В часы прилива вода в лагуне приходила в движение, но никогда не становилась бурной, а чаще всего сохраняла зеркальную гладь. Отраженные в ней острова и облака, особенно в часы захода солнца, создавали второй, казалось бы, неповторимый пейзаж. Словно навсегда исчезли рев океанского прибоя, вспененные гривы волн и шквалы, проносящиеся в морской дали. Здесь, в Сеги, царило такое спокойствие, такая безмерная тишина, что слышно было биение собственного сердца. Было тихо, как воскресный вечер в Лондоне, притихшем перед шумным понедельником. Но Сеги не знало понедельничного шума; здесь дни не имели названий и чисел, а течение времени измерялось лишь субботними коктейлями.

Понедельник можно было увидеть только на противоположном берегу, на Вангуну. Там, в четверти мили от нас, вдоль маленькой, круглой, как чаша, бухточки расположилась туземная деревушка Пататива.

Деревушка была построена на склонах холма, и мы отлично видели коричневые, крытые пальмовыми листьями крыши домиков, прятавшихся в тени пальм.

Белоснежный берег постоянно кишел народом, а лодки-каноэ всех размеров сновали взад и вперед, как бы говоря, что жители деревни живут почти исключительно рыболовством.

Еще задолго до того, как мы начали работать в Пататива, мы разглядели в бинокль лежавшую на берегу боевую лодку, тщательно закрытую от солнца связками пальмовых листьев. Боевая лодка напоминала видом огромную гондолу, украшенную рисунками белого цвета.

Мы читали о таких лодках и о том, как много человеческих голов срубалось при спуске такой лодки на воду. Впрочем, на западных островах использовался любой повод для срубания голов.

За несколько дней до рождественских Святок нам удалось увидеть целую эскадру, возглавляемую боевой гондолой. Туземный флот направился к западу и вернулся в Пататива поздним вечером, после чего на берегу началось такое возбуждение, что крики доносились к нам в Сеги. Маргарет и я, предполагая самое ужасное, были близки к обмороку.

Сеги — плантация, славящаяся своей красотой и гостеприимством, и если бы нас не пригласили погостить, то мы стали бы первыми американцами, подвергшимися такому оскорблению, а наша книга оказалась бы первой книгой о Соломоновых островах, не содержащей упоминания о владельце плантации. Укажу в скобках, что мистер Гарольд Маркхэм (владелец плантации) сам пишет волнующую книгу о своем сорокалетием пребывании на этих островах.

В праздничные дни двери плантаторского дома были всегда широко раскрыты для гостей, и за день до праздника Рождества плантатор, повесив бинокль на шею, не покидал южной веранды, откуда открывалась замечательная перспектива лагуны. Но в сказочной голубизне морской дали не возникало желанного белого

пятнышка приближающейся лодки. Нехватка горючего, объяснявшаяся все той же забастовкой сиднейских докеров в сочетании с лихорадочной попыткой наверстать потери, вызванные малаитянской войной, заставила гостей сидеть у себя дома. Праздник пришел и ушел, скучный и тусклый, как лондонское воскресенье. Прибывший «Матарам» не привез нам рождественских подарков, а наши семьи, если только они нас еще помнили, не представляли себе, что поздравительные открытки надо было послать два месяца назад, чтобы они вовремя достигли этих островов.

Хозяин плантации получил ворох почты, и ему понадобилась добрая неделя, чтобы прочитать все присланное. А так как он читал с явным наслаждением и при этом храпел, фыркал и сопел от удовольствия, то мы вдвойне почувствовали себя позабытыми.

Праздничные дни вынужденного безделья тянулись медленно, как жизнь без цели. Часть времени мы провели на холме, пытаясь вспомнить вид снега или воскресить в памяти перезвон колоколов и смех праздничной толпы. Но как только Маргарет и я умолкали, мы снова попадали в беззвучный мир, где слышно было только биение собственного сердца. Тщетно мы старались вообразить близкие нам лица. С какой силой мы хотели после двухлетнего пребывания среди чужих нам людей увидеть перед собой простенький домашний рождественский подарок. Интересно, а какова на вкус рождественская индейка? А особенно с подливкой из клюквы? Или хотя бы со шпинатом? Мы, как дикари, обсуждали меню рождественского стола и пытались ощутить его в самых различных аспектах. А здесь, на Соломоновых островах, мы знали только рыбные, бараньи и говяжьи консервы, которые до тошноты на один вкус.

А что такое холод? Или мороз? Даже такой мороз, при котором замерзаешь до одеревенения? Вероятно,

это чудесно... А здесь на Рождество мы изнывали от непрекращающейся жары, ставшей еще нестерпимее из-за перемежающихся дождей.

Эх, пойти бы сегодня в новом и к лицу платье с хорошей компанией в шумный и веселый ресторан. А платье чтобы было отлично сшито, шляпка была бы чудом красоты; а сама — вся прибрана и подтянута с головы до пят, вся благоухающая, но только не потом!

Здесь, на островах, с точки зрения портных, мы ходили неодетыми. Днем и ночью, за работой в деревнях и на плантациях, мы носили просторные мужские пижамы, являвшиеся наиболее удобной одеждой, защищающей от укусов насекомых. Только непомерная длина пижамных курток убеждала местное население в нашей принадлежности к женскому полу.

У нас имелся один-единственный расплавившийся от жары карандаш губной помады, который мы хранили на случай чрезвычайных событий. С волосами мы ничего поделать не могли, и они торчали на меланезийский фасон во все стороны и напоминали проволоку в этой стране ужасающих испарений.

Конечно, и на нас самих лежала вина в том, что мы довели себя до такого вида и не думали о своей внешности до того дня, когда праздник Рождества напомнил нам о другой жизни, которой мы когда-то жили.

Это было унылое, очень тоскливое Рождество.

Наступил канун Нового года, и он раздул неугасимую искру женственности в пламя, которое обязательно должно вспыхнуть в груди каждой женщины, когда она видит полную лодку мужчин, приближающуюся к ее пустынному жилищу.

Тщательно исследовав белое пятнышко, появившееся к западу от лагуны, наш хозяин не без явного удовольствия сказал:

— Это идет катер островной администрации... Нам следует одеться к обеду!..

Одеться к обеду! Как это прекрасно звучит... Нашей экспедиции понадобилось не менее двух с половиной часов, чтобы одеться к новогоднему праздничному обеду, и все же мы не дрогнули перед этим испытанием. Рассматривая себя с обычной, а не экспедиционной точки зрения, я обнаружила, что мои волосы никак не держатся, и вдобавок выгорели, и более всего похожи на стог сена, мокрый снизу и сухой сверху.

Мы принялись за мытье с необыкновенной поспешностью, чтобы дать возможность хозяину плантации вымыться и переодеться к моменту прихода катера.

Но чем скорее мы двигались, тем больше обливались потом, и нам понадобилось подолгу остывать и высыхать, чтобы получить возможность надеть на себя платье. Покуда мы остывали, на плантации послышался визг, и мы увидели прибывших гостей: одного мужчину, сопровождаемого тремя слугами. Двое слуг несли на плечах длинный шест, на котором болтался подвешенный за ноги живой, нестерпимо визжащий поросенок местной породы. Это было некрасивое длинноногое и тощее животное, отстоящее всего лишь на одно поколение от дикой свиньи. Зато как приятно было смотреть на третьего слугу, напоминавшего мальчика из Рубайата, у которого «плечо трещало под кувшином». Слуга нес на плече пальмовую корзину, из которой торчали горлышки многочисленных бутылок (следует помнить, что сиднейская забастовка привела к большой нехватке спиртных напитков).

Не успело дивное видение исчезнуть, как на той же тропинке появились три туземные женщины в обществе двух подростков и ребенка. Как и все женщины в этом крае, они были очень темнокожими, но сильно отличались от меланезиек полнотой телосложения и

наличием одежды. Все они были в длинных прямых рубашках, явно доказывавших влияние миссионеров. Впервые нам удалось увидеть, что женщины носили длинные волосы, стоявшие как нимб вокруг головы. Мы были приятно удивлены, что женщины приобрели нечто женственное в общечеловеческом понимании этого слова. Одна из них несла на руках подозрительно светлокожего ребенка и сама отличалась особой миловидностью. С несвойственной меланезийкам веселостью она сверкала ослепительно-белыми зубами, звонко хохотала и поблескивала негритянского типа глазами. Когда и это приятное видение исчезло в направлении кухни, мы немедленно принялись за наш туалет.

Ах, эта одежда!.. Я пропускаю описание той, которой не было видно. Мы надели платья из креп-жоржета, достав их из чемоданов, где они пролежали много месяцев. Мы рассчитывали, что складки разгладятся сами собой на нашем горячем теле. Когда же Маргарет нагнулась, чтобы надеть на распухшие от жары ноги другие туфли, платье без малейшего треска расползлось не только на спине, но и пониже и даже на коленях. Мне повезло несколько больше, так как я исхудала значительно сильнее и платье расползлось только пониже спины, да и то вполне терпимо. Маргарет пришлось надеть полотняное платье, измятое так, как только может измяться отсыревшее полотняное платье.

Только теперь мы поняли, какую огромную роль во внешности женщины играет губная помада и как необходимы цветы гардении при украшении плохо поддающихся причесыванию волос.

Наконец мы появились на веранде, где небрежно развалившиеся пятеро мужчин медленно приподнялись нам навстречу, действуя, как марионетки, которых дергают за ниточки. Ноги мужчин как бы продолжали отдыхать в шезлонге (ноги плантатора всегда кажутся

полусогнутыми из-за белых брюк, образующих мешок на коленях и сохраняющих такой вид, будто их обладатель продолжает сидеть). Хозяин был шестым, и ему не пришлось вставать с места, так как за свое сорокалетнее пребывание на островах он не приобрел привычки спокойно сидеть на месте. Как бы там ни было, но эта полудюжина джентльменов показалась нам вполне приличной даже для любой другой страны.

Пятеро из них были рослыми, хорошо сложенными, отлично одетыми, молодыми и внешне забавными. А мы — две молодые женщины, находясь на тысячи и тысячи миль от возможности встречи какой-либо соперницы, — были уверены в том, что отлично встретим Новый год в такой компании. Так мы надеялись на протяжении нескольких часов перед наступлением Нового года.

Один из гостей, которого мы назовем номером пятым, выбыл из строя без всякого промедления, а точнее, не очнулся даже в момент, когда нас знакомили. Он был владельцем плантации на лагуне и принадлежал к числу иногда встречающихся в тропиках фантастических персонажей, которые весь доход от копры тратят на виски, аккуратно доставляемое «Матарамом» и выпиваемое на протяжении шести недель, до следующего прибытия парохода. Как правило, все спиртные напитки, имевшиеся на нашей плантации, убирались подальше, как только катер этого плантатора показывался на горизонте. Появление этого гостя означало, что его запасы спиртных напитков истощились и теперь, высунув от жажды язык, он обшаривал лагуну. Забастовка сиднейских докеров довела героя до очень жалкого состояния, и наш хозяин по случаю Нового года поставил перед гостем кварту виски, предоставив ему нализаться до положения риз. Раздававшийся храп напившегося гостя звучал погребальной мелодией уходившему навсегда старому году и никак не веселил наших собеседников.

Наш хозяин играл свойственную ему роль радушного человека, а приехавший почетный гость — чиновник островной администрации — был безукоризнен во всех отношениях. Одет он был с иголочки, прямо с Бонд-стрит, и казался безупречным, как только могут иногда казаться безупречные англичане. Когда он говорил, создавалось впечатление, что слушаешь граммофонную пластинку.

Если упомянуть о молодом враче, прибывшем на том же катере, то он являл собой живой пример последствий всех островных болезней. В действительности он не был болен, а страдал от сложных обстоятельств, именуемых влюбленностью в девушку-полукровку. Если бы она была чистокровной туземкой, он мог бы взять ее к себе в «экономки», но она была добродетельной христианкой, и ее белый отец дал ей воспитание на юге, а со временем она должна была унаследовать отличную плантацию. Молодой врач должен был либо жениться на девице, либо отказаться от всяких намерений, и эта проблема целиком и полностью занимала его мысли. Все, что на протяжении вечера мы от него услышали, было «За ваше здоровье» во время первого тоста и «Будьте здоровы» — пять часов спустя. В промежутке он сидел и ощупывал собственный пульс. Но вместе с тем врача следует считать очаровательным и остроумнейшим собеседником по сравнению с вербовщиком, который тяжело страдал от давнишней и неизлечимой страсти к женщине, от которой тщетно пытался бежать на эти далекие острова. Он был хорош собой, худощав, благородной внешности, и возраст его был непонятен, как у сорокалетней женщины. Как мы узнали, он носил при себе повсюду томик Ницше и жил в лодке, где сейчас находились десятка два малаитян (окончивших срок контракта на плантациях), две курицы, три собаки, свинья и какаду. Весь вечер напролет он размышлял о

бесцельности жизни, но вместе с тем настойчиво пялил глаза на внешние достоинства Маргарет.

Плантатор с западного берега лагуны кар уставился на Маргарет, так и не сводил с нее глаз. Он был самым веселым кавалером, но курьез заключался в том, что смотреть ему на Маргарет не полагалось, так как он был единственным среди присутствующих женатым человеком. Его супругой была миловидная и полнотелая меланезийка, которая сейчас находилась на кухне, так как в Сеги ни один туземец не смеет переступить порог веранды. Коль скоро это было правилом, плантатор обязан был с ним мириться, хотя меланезийка была его законнейшей женой. Что касается светлокожих детей, то они были отпрысками плантатора. Ему же принадлежал поросенок, фигурировавший на торжественном новогоднем обеде, устроенном, как мне казалось, в честь Маргарет.

Поросенок был подан неразрезанным, и если бы не воткнутый ему в пасть консервированный персик, взамен традиционного яблока, то поросенка можно было принять за спящего. В моих ушах продолжал звенеть его визг, а потому я потихоньку скармливала причитающуюся мне порцию четверым торчавшим под столом собакам — двум нашим и двум, прибывшим с гостями. Если не считать салата и поросенка, все остальное меню состояло из консервов. Наивысшим достижением кулинарии считался «салат миллионеров», приготовленный из сердцевины верхушки молодой кокосовой пальмы. Мы слышали, что «салат миллионеров» имеет вкус ореха, спаржи или артишоков и что это экзотическое восхитительное блюдо. С моей точки зрения, его главным достоинством является вкус свежей зелени, что так редко в этой стране, где вся остальная пища безвкусная, несвежая и теплая. А если подумать, что понадобилось от пяти до семи лет для выращивания пальмы, которая пошла на съеденные

нами порции салата, то это придает ему особый привкус, недостижимый, скажем, при помощи лука.

Новогодний вечер прошел бы отлично, если бы не начавшаяся под столом собачья драка. Я думаю, что во всем мире собачьи драки возникают в часы обеда, но они недопустимы на столь церемонном обеде, какой происходил в Сеги. Присутствие одного лишь господина правительственного чиновника делало обед почти священнодействием. Не важно, что господин правительственный чиновник совсем еще недавно служил приказчиком где-то у чертей на куличках, но с началом его службы в островной администрации он становится персоной, и все обязаны в его присутствии соблюдать правила приличия и, скажем, не отправляться спать раньше, чем господин правительственный чиновник отбудет восвояси. Тем более в его присутствии не следовало кормить собак под столом, даже если среди них в качестве гостей присутствуют собаки господина правительственного чиновника.

Собачья драка внесла оживление в церемонность сегодняшнего вечера. Начавшись у нас под ногами, она заставила нас встать из-за стола и занять кресла на веранде. Гости несколько оживились, и даже вербовщик сумел умирающим голосом изречь, что всякая драка на этих островах вызывается женщинами или собаками. Общее веселье закончилось в момент, когда ливень забарабанил по дырявой крыше.

Восемь человеческих существ, окруженных сплошной стеной ливня, сбились в кучу. Капли, сочившиеся сквозь крышу, немедленно промочили мое тонкое, сразу прилипшее к телу платье, а безукоризненная прическа безукоризненного господина правительственного чиновника беспомощно свесилась набок, словно хохолок какаду. Было безветренно, и кругом висела водяная пыль. Приступ лихорадки,

начался у меня, несмотря на выпитое виски, на восемь часов S раньше, чем я его ожидала.

В полночь ливень прекратился. Освещенные холодным лунным светом разорванные облака над Вангуну напомнили мне небо на картине Эль Греко «Вид на Толедо». Ровно в полночь хозяин плантации торжественно подошел к краю веранды, нацелил револьвер, который обычно держал под подушкой, в скрывшуюся из виду луну и выстрелил.

— Желаю вам счастливого Нового года, — сказал западный плантатор, очень серьезно обращаясь к Маргарет, и тут же спрыгнул с веранды, чтобы присоединиться к остальным гостям, направлявшимся к пристани.

Когда головы гостей исчезли в конце склона холма, мы увидели в стороне три очертания в длинных белых рубашках, двигавшихся между стволов пальм в направлении пристани.

— И вам я желаю счастливого Нового года! — сказала Маргарет.

И снова наступило лондонское воскресенье…

Глава двадцать вторая



Народные празднества в Пататива совпали с европейскими праздниками.

Был сезон размножения черепах, и местное население, почти всегда лишенное мясной пищи, отмечало эти дни пиршествами и наедалось до отвала. Мы были уверены, что увидим деревенский праздник издали и, как нищие у ворот, будем ловить крохи, выбрасываемые веселящимися хозяевами. Неожиданно мы стали не только гостями, но центром внимания всех собравшихся на празднество. Более того, вместе с мужчинами мы приняли участие в охоте на черепах.

Жителей западной Меланезии мы впервые увидели с палубы «Матарама», когда отправились на восточную оконечность лагуны. Здешний миссионер уезжал в отпуск, и на проводы собралась вся его паства, примерно человек триста, приплывшая на лодках и образовавшая кольцо вокруг гордо возвышавшегося парохода. На протяжении трех часов, покуда «Матарам» грузил копру, отовсюду слышался смех — честный, хороший человеческий смех, брызжущий весельем и радостью.

Первое, чем отличаются обитатели западной Меланезии от восточной, является бьющее через край веселье. Обратный путь от входа в лагуну до нашей плантации Сеги мы проделали на маленьком пароходе,

предназначенном для подвозки с берега копры. Теперь мы буксировали длинный хвост, состоявший из десятков туземных лодок, с которых непрерывно слышался смех. Наш маленький пароходик оставлял за собой сильную волну, и туземным лодкам пришлось двигаться строго в кильватере, иначе, попав в волну, хлеставшую, как пастуший кнут, они теряли равновесие и опрокидывались. Вслед за передними опрокидывались идущие сзади, и мы были свидетелями звонкого смеха, когда на поверхности воды появлялись блестящие темные головы потерпевших кораблекрушение. Когда они смеялись, оскал белоснежных зубов сверкал, как рог луны на черном небе.

Здешние меланезийцы отличаются более темным цветом кожи, имеющим оттенок коричневой сливы, который получается, если смешать красную марену с умброй. Рядом особенностей они напоминают чистокровных негров; например, у них было то, что мы называем «открытым лицом»; широко расставленные глаза отличались большими белками и ясно очерченными зрачками; обычные брови лишали здешних жителей насупленного вида, столь характерного для восточных меланезийцев. Любопытно отметить, как эти незначительные физические детали резко меняли облик западных обитателей, делая их приветливыми и приятными на вид.

Именно этот очаровательный народ составлял среди всех обитателей островов основную группу охотников за человеческими черепами. Совсем еще недавно, до того как правительственная администрация утвердила свою власть, в прибрежных деревнях здесь использовался любой повод для отрубания голов. Не играло никакой роли, чья голова летит с плеч: друга ли, врага ли, но голова должна служить украшением новой боевой лодки, спускаемой на воду. Спрос на человеческие головы был столь велик, что образовывались шайки

профессиональных головорезов наподобие профессиональных убийц в Чикаго. За определенную плату головорезы поставляли свежесрубленные головы, не считаясь с полом, возрастом и дружбой.

Объяснение охоты за черепами дается следующее: все, что в мужчине сильно и бессмертно, сосредоточено в черепе. Когда умирает вождь, в потусторонний мир его сопровождают пятьдесят или сто сильных духом спутников. Голова вождя наравне с головами его спутников водружается на конек крыши или хранится на специальном кладбище. Тела умерших родственников закапываются в песок, а головы оставляются снаружи. В короткий срок под влиянием климатических условий голова свободно отделяется от закопанного туловища, и ее уносят в постоянное хранилище.

Однажды, плавая на лодке по лагуне, мы обнаружили кладбище черепов, расположенное на коралловом островке, а вернее коралловой скале, торчащей при большой воде футов на двенадцать в высоту. Вся северная сторона скалы была срезана уступами, вдоль которых стояли двести — триста черепов.

Рискуя порезать ноги об острые выступы кораллов, что всегда приводит к образованию язв, мы вскарабкались наверх и стали искать подходящий череп, который должен был стать трофеем нашей экспедиции. Кладбище было очень древним, и никто из местных жителей не знал его происхождения. Это позволило нам безнаказанно его посетить и подвергнуть детальному изучению. Черепные коробки валялись в изобилии, но у большинства черепов отвалились и упали в море нижние челюсти. Везде лежали вывалившиеся зубы и украшения из раковин. Раковины были обработаны в виде тонких дисков, имеющих отверстие в середине; видимо, это были звенья небольшого ожерелья.

Здесь же встречались большие кольца — около шести дюймов в диаметре; такие кольца и сейчас ценятся примерно в пять долларов и имеют широкое обращение в туземной торговле. Туземцы оставили нетронутым этот никем не охраняемый склад ценностей, поскольку они не знали, какие духи охраняют скалу, и предпочитали ни к чему не прикасаться.

Любопытной особенностью этих старых черепов является состояние зубов. Череп старика легко опознавался по стертости коренных зубов. Мы осмотрели десятки черепов и нашли в них очень мало испорченных зубов, вопреки утверждениям зубных врачей, что нынешние дикари страдают от кариеса не меньше, чем цивилизованные пожиратели сладостей. С другой стороны, выпадение зубов или легкость, с которой они вынимались, доказывали заболевание диареей.

Существует очень много выдвинутых специалистами теорий, объясняющих различие в физическом типе и культуре между западными и восточными обитателями Соломоновых островов. Мы склоняемся к теории, что темнокожие туземцы, населяющие острова от западного Вангуну до Литл-Бука, являются остатками коренного негроидного населения и потомками первоначальных обитателей, избегнувших смешивания с монголоидами.

Никто не смог объяснить нам, как им удалось избегнуть просачивания монголоидов, коль скоро их острова защищены ничуть не лучше, чем любой другой остров. Наш собственный домысел сводится к тому, что уже в те годы население островов пользовалось прочной репутацией головорезов. Такая же репутация головорезов и людоедов спасла папуасов от проникновения монголоидов.

Мы не собираемся развивать эту теорию, а тем более выяснять, почему жители одних островов с большей решительностью сопротивлялись проникновению

иноземцев, чем другие. Для нас важен факт, а с ним соглашаются все, что западные обитатели Меланезии резко отличаются от остальных.



Культ резания голов исчез совсем недавно. Доказательством этого мог служить наш хозяин в деревне Пататива. Это был местный староста, занявший свой пост несколько лет назад благодаря тому, что отрубил голову белому человеку. Правительственная администрация немедленно назначила его старостой,

исходя из правила, что браконьеру легче всех поймать браконьера. Нынче бывший головорез являл собой живую карикатуру на каннибальского царька. Годы безмятежного существования сделали его толстым. Раздувшийся до невероятия живот, словно набитый съеденными миссионерами, свисал над набедренной повязкой. На веселом коричневом лице торчал вздернутый кверху нос, на котором сидели такие засаленные очки, что сквозь них не было видно глаз. Волосы на голове вытравлены до цвета платины и собраны в большой помпон, окаймленный курортного типа шляпой без верха, сделанной из пальмового листа. Поля этой шляпы были, как у южной красавицы с картинки, игриво загнуты, но под милой тенью шляпы на плечи охотника за черепами свисали, как плети, его уши. Когда-то мочки его ушей были расширены большими серьгами из раковин, но в конце концов уши не выдержали тяжести и разорвались, образовав свисающие до плеч куски плоти. Больше всего бывший головорез напоминал живого дракона.

И вот этот очкастый дракон любезно прислал за нами свою «машину», приглашая посетить охоту на черепах.

«Машина» представляла собой ослепительную по красоте боевую лодку, которой мы давно восхищались с нашего берега. Она напоминала гигантскую гондолу с носом и кормой, возвышавшимися на двенадцать футов, украшенную флажками (чтобы отгонять злых духов) и приводимую в движение тридцатью темно-коричневыми гребцами. Это была настоящая боевая лодка, и еще несколько лет назад любая женщина лишилась бы головы, если бы посмела прикоснуться к ней. Даже в наши дни лодка была настолько священной, что никакой женщине не дозволялось вступить на нее.

Объяснением, почему мы пользовались подобной привилегией, может служить неясность для туземцев, к

какому полу я и Маргарет принадлежали (только местные женщины имели на этот счет некоторые подозрения).

Единственное, чего нам не хватало, — расшитого золотом балдахина в центре лодки. Сидеть было отлично, а хозяин плантации вдобавок настоял, чтобы мы взяли с собой подушки. В таком виде мы отбыли охотиться за черепахами. Перед нашими глазами по два в ряд сидели спиной к нам четырнадцать гребцов, а еще шестнадцать сверкали жемчужными зубами каждый раз, когда мы рывками подвигались вперед, к целой флотилии лодок, ожидавших нас в конце лагуны.

Трудно передать словами ощущение, возникающее у женщины, принимающей участие в охоте. Я подозреваю, что объяснение можно найти только в том, что охота специфически мужское занятие, и, будучи всего лишь двумя женщинами, на которых никто не собирался обращать внимания, мы могли наблюдать обряды тайного общества, скрываемые от остальной массы женщин. Итак, мы были очень горды и счастливы, особенно в это чудесное, свежее, как прохладный напиток, утро на лагуне.

Вскоре выяснилось, что все внимание обращено именно на нас и что мы являемся «гвоздем программы».

Наша великолепная боевая лодка, как настоящий флагманский корабль, гордо шла вперед; гребцы дружно издавали свистящий звук, опуская весла в прозрачную голубизну воды. Правой, левой, правой, левой… Солнце играло на мускулистых спинах. Белая пена с журчанием неслась мимо, сверкая в воздухе миллионами алмазных брызг.

Разлегшись, мы смотрели назад, на следовавшие за нами лодки, пытавшиеся догнать флагмана. В каждой лодке сидело десять — двадцать человек, и все они посвистывали при гребле, разбрасывали горсти алмазов, а главное — сверкали белыми зубами всякий раз, когда

мы им махали в знак приветствия. Мы были уверены, что вся эта гонка устроена в нашу честь, и надо отметить, что до выхода в открытое море мы плыли с большой быстротой. Как только лодки миновали какой-то остров, все внимание к нам исчезло и никто нас больше не замечал. Мужчины занялись своим делом — охотой, так как перед нами были акры[21], целые острова больших коричневых панцирей, плавно покачивающихся на воде. Это были не маленькие, хорошо всем нам известные черепахи, а огромные существа, панцирь которых имел два-три фута в поперечнике. Такая черепаха весит не меньше человека, а возраст старых черепах достигал сотни лет. Это все были спящие самки, готовящиеся к тому, чтобы отложить яйца на берегу.

На лодках послышалось легкое шипение, после чего наступила гробовая тишина; все лодки одновременно, без какого-либо специального сигнала, снизили ход и, выстроившись полукругом, беззвучно подплыли к ближайшему стаду черепах. Когда стадо было окружено, люди скользнули в воду и сильными, бесшумными рывками, без единого всплеска, проплыли оставшееся расстояние. Охотники действовали по двое, быстрым и одновременным движением опрокидывая черепаху за черепахой брюхом кверху. Будучи перевернутой на спину, черепаха беспомощно размахивала в воздухе ногами и лишалась возможности скрыться. Вытягивая длинные, змееобразные шеи, черепахи пытались удержать головы над водой, широко раскрыв клювы, крайне напоминавшие клювы попугаев. Их движения были настолько смешны, что невольно вспоминалась черепаха из книжки «Алиса в Стране чудес». Иногда охотникам не удавалось привычно четкое движение; тогда начиналась возня, и ближайшие черепахи быстро ныряли в воду. Многие крупные черепахи просыпались при приближении охотников и исчезали под водой раньше, чем человек успевал к ним

подплыть. Мы видели, как один охотник нырнул вслед за черепахой и скоро вынырнул задыхающийся, но смеющийся. Если бы ему удалось ухватиться за панцирь, то он мог бы заставить пойманную черепаху подняться на поверхность, налегая всем своим весом на хвостовую часть панциря.

Черепаха очень быстро ускользает от преследователя, и местные жители, когда хотят пояснить чье-либо быстрое исчезновение, говорят: «Нырнул как черепаха». Сквозь кристаллическую прозрачность воды мы отлично видели, как огромные коричневые панцири все глубже и глубже уходили по диагонали в воду, покуда не исчезали в синей глубине. А там, внизу, был свой чудесный сверкающий мир, который когда-нибудь будет изучен.



Сцена охоты напоминала трехаренный цирк, где на каждой арене развивается самостоятельное зрелище, а вы располагаете только одной парой глаз и не в состоянии охватить все происходящее. Было ясно, что быстрота действия охотника является основой успеха ловли черепах, и вскоре поверхность воды покрылась

желтыми брюхами и лесом ног и шей, беспомощно вертящихся в разных направлениях. Теперь охотники действовали поодиночке; каждый из них подталкивал животное ближе к своей лодке, где черепаху привязывали к веревке. К концу утра все, что можно было связать и буксировать, было связано. Охота закончилась. А поверхность океана как ни в чем не бывало была покрыта бесконечным количеством черепах, и охотники говорили, что они никогда не видели такого большого стада.

Ловля черепах могла продолжаться несколько дней, пока жители Патативы не пресытятся добычей либо стадо отплывет настолько далеко, что буксировка пойманных черепах в лагуну станет невозможной.

В деревню мы возвращались с полным триумфом. Обратный путь был очень долгим, так как охотники рассчитывали на силу прилива. За каждой лодкой в форме раскрытого веера тащились тяжелые черепахи, весившие более сотни фунтов каждая. Мы должны были плыть тихо, чтобы ни одна черепаха не захлебнулась водой (что очень легко, учитывая ее перевернутое положение), так как черепах полагается убивать непосредственно перед едой. Гребцы двигались медленно, совсем в темпе русской песни «Из-за острова на стрежень», и мы, Маргарет и я, громко запели эту песню в темп взмахов весел. Постепенно вся флотилия выстроилась в кильватерную колонну, возглавляемую нашим флагманом. Со смехом и песнями мы возвращались домой, довольные собой и другими. Впоследствии мне так и не удалось написать в красках картину охоты на черепах. Многое из увиденного никак не могло быть изображено на холсте, потому что полученные впечатления базируются на переливах красок, чередовании движений, запахе, смене температур и звуков, то есть всего, что ощущаешь одновременно душой и телом. К примеру, возьмем наше

возвращение с охоты: мы плыли по лагуне, а с берега нам навстречу слышался смех и восторженные возгласы всех выбежавших на берег жителей деревни. Почти у самого берега гребцы повскакивали со своих мест и с гиканьем бросились в воду, как это делают любители водного спорта. Мы остались на месте, и наша лодка, подхваченная сотней мужских рук, была вытащена на берег. Затем вся масса буксируемых черепах под крики одобрения очутилась на песке. Восторженные возгласы усиливались пропорционально размеру вытащенной черепахи. Вдоль всего берега суетились люди, и все это дополнялось бессмысленной беготней бесконечного количества резвящихся детей и собак.

На противоположном конце деревни вокруг груды круглых камней (каждый размером с кокосовый орех) горел костер, наполнявший прибрежную пальмовую рощу дымом и отсветами пламени. Снова перед нами возникла иллюзия собора и снова зажужжали несметные тучи мух. Пальмовая роща была устлана банановыми листьями, и здесь происходил убой черепах. Сюда подтаскивали черепах, продолжавших беспомощно шевелить лапами, как бы защищавшими животы от наносимого смертельного удара. Ноги еще продолжали двигаться, головы на длинных шеях продолжали широко раскрывать клювы, а люди уже отсекали куски мяса. Из рассеченных животов удалялись внутренности и метры кроваво-красных кишок, немедленно сжиравшихся рычащими собаками. Отделенный от мяса черепаший панцирь, стоящий в других частях света несколько сотен долларов, превращался в посудины для массы желтых яиц. Черепашье мясо — стоимостью также в сотни долларов и идущее на приготовление необычайно дорогого черепашьего супа — разрубалось на большие куски и укладывалось на банановые листья. По разложенному мясу бегали дети и собаки, не говоря уже о ползавших мириадах мух, покуда женщины

заворачивали мясо в банановые листы, предварительно добавив в каждую порцию немного саго и ямса, и уносили этот будущий пудинг на очаг.

На первый взгляд казалось, что кругом царит величайший беспорядок, но на самом деле каждый человек выполнял определенную задачу, и весь процесс осуществлялся с большим энтузиазмом. Обычно мы плевали на ложный престиж и старались помочь туземцам в работе, считая, что столь необычное поведение белых людей должно вызывать Дружеское к нам отношение. Но на этот раз сочетание обезумевших мух, туземных нарывов и язв с запахом еще полуживого мяса заставило нас отойти подальше.

На накаленные камни, расположенные вокруг костра, рядами укладывались свертки мяса в банановых листьях, которые обрызгивались водой, сверху клался еще один ряд свертков, а поверх всего ряд накаленных камней.

В этой сцене можно было видеть основные элементы внешней жизни Меланезии: лучи солнца, совершенно рельефные в клубах стелющегося дыма, полчища мух, бегающих псов и веселящихся детей, смех людей, удары ножей, рубивших мясо, и поразительный цвет огромных чаш, наполненных золотистыми яйцами. И все это на фоне зеленого ковра банановых листьев, разостланных в пальмовой роще. В происходящем ощущался темп гораздо более оживленный, чем в «Свадебном танце» Брейгеля. Наряду с этим виднелись статические композиции, словно созданные для Гогена; вот хотя бы этот лилово-коричневый торс молодой девушки (гораздо более стройной, чем нарисованные Гогеном коренастые полинезийцы), так ясно обрисовывавшийся в ослепительном желто-зеленом отражении солнечного света, щедро заливавшего ковер из банановых листьев. Мареново-красная юбочка девушки четко отделялась от кроваво-красных груд мяса, банановые листья, в

которые она заворачивала мясо, отливали синевато-зеленым цветом. А сама девушка принадлежала к типу, который у нас широко известен под именем «милашки». Она не была прекрасной и даже хорошенькой, но была молодой, небольшого роста и чуть-чуть приземистой, с большим шаром вьющихся черных волос, обрамлявшим кукольное личико. У нее были наивные, но хорошенькие глазки; носа почти не было, но зато рот был полон зубов такой белизны, что они казались белее ядра кокосового ореха. Не было ничего необычайного и в ее торсе, но для ее возраста, то есть для пятнадцати лет, он отлично сохранился, и мы были уверены, что она еще не испытала всех трудностей материнства и, может быть, вовсе не была замужем. Да и смотрела она как-то по-девичьи — хитро сверкая глазками из-под курчавой прически. Впоследствии мы нарисовали ее портрет, хотя это сокровище и не было типичной меланезийской девушкой, а наши сеансы неоднократно прерывались вызовом девушки в суд, где она фигурировала в качестве обвиняемой.



Судебные разбирательства периодически проводятся районным правительственным чиновником, разбирающим местные конфликты, и наша девушка была привлечена к ответственности за то, что вызвала в ряде семей нарушение супружеской верности. Видимо, изобилие мяса в сезон ловли черепах и связанные с этим празднества возбудили и другие аппетиты, об удовлетворении которых позаботилась наша героиня. В прежние времена за измену мужу ей попросту отрубили бы голову, тем более что она была замужем вторично. В наши дни за легкомысленное поведение ей только

пригрозили, что отправят учиться в миссионерскую школу.

Мы присутствовали на этом процессе, вызвавшем в нас глубокое сомнение в преимуществе белой юстиции над туземной. Показания на суде давали исчерпывающие доказательства виновности обвиняемой и отличались такими подробностями, что представитель администрации зарывался носом в бумаги, скрывая от присутствующих неудержимый смех. Из-за незнания местного языка все эти сочные подробности для нас пропали, но вместе с тем было ясно, кто из присутствующих к какой стороне примыкает. Злобность оскорбленных жен и нежелание полудюжины мужей, поддавшихся радостям сезона ловли черепах, давать какие-либо показания делал и для нас многое ясным, даже будь мы глухими. Девушка во время суда держалась так, будто не понимает, в чем дело. Ее круглый рот был беспомощно приоткрыт, она искоса посматривала из-под курчавой прически то на судью, то на жертвы своего легкомыслия и детским, пухлым пальчиком теребила большую серьгу, сделанную из раковины.

На любом языке ее можно было назвать грешницей, но вместе с тем очаровательной грешницей.

Приготовления к празднеству и само празднество начались одновременно, происходили днем и ночью и тянулись неделю, а вернее, до тех пор, покуда у людей хватало желания и сил для еды и смеха. Местное население не умеет заготавливать мясо впрок, а потому оно съедалось немедленно. Постепенно из кокосовой рощи стал слышаться плач усталых детей, а их матери с усталыми глазами и распухшими от еды животами с гораздо меньшим энтузиазмом продолжали готовить пищу. Все меньшее количество лодок появлялось на лагуне.

Мы наелись черепашьего мяса до такой степени, что нас потянуло на старую водянистую консервированную баранину. Что касается деятельности, то, используя панцири черепах, наша экспедиция занялась кустарным промыслом. Теперь мы являлись обладательницами коллекции панцирей черепах, стоившей по меньшей мере несколько тысяч долларов, но выручить за них мы не могли ломаного гроша. Нам оставалось только превратить их в изделия, которые, применяя термины, принятые на американских таможнях, могут называться «бывшими в употреблении предметами личного обихода». (Таможенные пошлины на черепаховые панцири необычайно высоки, а необработанные панцири весят так много, что стоимость провоза крайне ощутительна.) Как и на большинстве плантаций, в Сеги имелось оборудование для обработки черепаховых панцирей, представлявшее собой простейший станок с различными по твердости точильными и полировальными кругами. Затем имелись ножовки, напильники, дрель и вороха наждачной бумаги; помимо этого, требовались только усердие и выдумка. Пользуясь бумажной моделью, можно было вырезать любую вещь, например рожок для надевания обуви, обработать его напильником и шкуркой до правильных очертаний и толщины, а затем нагреть в воде до состояния мягкости и придать желательный изгиб, который отлично сохранялся после охлаждения (Маргарет собственноручно сделала кольцо, в которое вставила темный опал, однако температура руки каждый раз размягчала кольцо, и оно теряло форму). Окончательный лоск наводился полировкой, которую можно было продолжать до бесконечности. Если в наше распоряжение предоставлялся рабочий, мы полировали на станке, в противном случае — полировка производилась о брюки наших пижам. Местные знатоки судят о достоинствах мастера по тому же принципу, как

госпитальные сиделки судят друг о друге по умению стелить постели: углы должны быть тщательно заделаны, а поверхность ровной.

Мы изготовили гребни всех размеров, ящики для сигар и портсигары всех типов, рамки для картин, ложки и вилки для салата, браслеты, пуговицы, пряжки и даже футляр для часов. Мы так ловко научились вырубать из панциря столетней черепахи кусок нужной нам толщины или цвета, что наиболее ценные произведения нашего искусства, как, например, футляр для часов, были совершенно прозрачными и вырезаны из светло-желтой черепахи. Такого цвета черепахи встречаются очень редко. На Онтонг-Джаве, где туземное население носит украшения из светло-желтой черепахи, обесцвечивание достигается искусственно. Местные жители ценят только прозрачные украшения для носа и ушей. Пойманные живьем черепахи помещаются в неосвещаемую солнцем яму с водой, где они постепенно становятся светлыми. Это заставляет предполагать, что обыкновенная коричневая черепаха является загоревшей на солнце блондинкой. Но каков бы ни был цвет, черепаха является истинным благодеянием для туземцев, так остро нуждающихся в мясной пище.

Из сезона ловли и обжорства, переплетавшегося с интересной любовной интригой между пухленькой дочерью охотника за черепами и добродетельным красавцем Майком, вышел бы потрясающий фильм. Жаль, что художник не может писать картин так, как их снимает киноаппарат…

Глава двадцать третья



Когда уходили модели, в лагуне Марово наступала тишина.

Бывшие охотники за черепами были приветливы, сообразительны, доброжелательны и заинтересованы в том, чтобы получить за позирование плитку-другую табака, хотя и предпочитали наличные шиллинги. Туземцы твердо считали написанные нами портреты чудом. Такие люди являются мечтой художника-портретиста и никогда не встречаются в цивилизованном мире.

Каждая модель, явившаяся из деревни Пататива на плантацию Сеги, считала нужным приходить со всеми родственниками, и этот клан присутствовал на протяжении всего сеанса. Родственники были очень милыми людьми, но, как нам сказали, обычай требует, чтобы мы преподносили подарки не только модели, но и всем ее сопровождающим. Конечно, табак стоит дешево, но количество раздаваемых родственникам плиток было столь велико, что расход стал ощутительным. Мы привезли с собой табак из Сиднея, но в памятный день потопления наших вещей он намок в соленой воде и стал плесневеть. Когда мы раздавали его местным

обитателям, они подозрительно смотрели и принюхивались к нему. В конце концов нам пришлось этот табак выбросить, однако слуги на плантации немедленно им воспользовались и раскуривали с полным удовольствием.

Теперь, когда у нас возникала надобность в табаке, мы покупали его на складах плантации. Это была единственная трата наличных средств, которую мы позволяли себе на Соломоновых островах. Мы не слишком строго соблюдали местные обычаи одаривания родственников, но как бы дешево ни обходились нам модели, как ни малы были траты, они не способствовали увеличению наших наличных средств. Не могли они и уменьшить сотни миль, отделявшие нас от источников заработка. Когда же мы пытались дарить родственникам старые подвязки или жестяные коробки, то замечали снисходительные улыбки и частенько обнаруживали; что наши дары бесцеремонно оставляются без всякого внимания. Это заставило нас сделать все, чтобы избавиться от родственников наших моделей.

Вторым поводом для недоразумений был различный подход к вопросу о времени. В странах стандартного поясного времени с ним принято считаться с точностью до полуминуты, но у меланезийцев, на наш взгляд, его не измеряют ни по солнцу, ни по месяцам, ни веками. Договорившись с моделью, что она придет на плантацию, когда солнце будет «здесь» (указав пальцем положение солнца к восьми утра), можете не сомневаться, что модель со всеми родственниками появится ни свет ни заря, в момент, когда вы только приготовились чистить зубы или же на несколько часов позже, когда вы готовы кусать собственные локти от злости и нетерпения. Американская идея пунктуальности, как бы она мало ни относилась к людям искусства, здесь не имеет хождения. Необходимость

длительного ожидания вызывала у меня такое повышение температуры, что о творческом подъеме нельзя было даже помышлять.

Не совсем гладкими были и взаимоотношения с хозяином плантации. Он не сказал ни слова, но присутствие туземцев на веранде дома было для него непереносимым, особенно если учесть, что на протяжении сорока лет он решительно запрещал нечто подобное. Ему пришлось на протяжении ряда лет быть единственным белым резидентом на группе островов, где ближайший белый сосед проживал в трехстах милях. Такая жизнь приучила его спать, держа пистолет под подушкой.

Он дал нам разрешение работать на северной веранде, явно не предполагая, что модели будут являться в столь многолюдном сопровождении. Мы предпочитали работать в деревне Пататива, но для этого надо было ежедневно переезжать лагуну, а нехватка бензина лишала нас возможности пользоваться моторной лодкой. Наша первая попытка переплыть на туземной лодке привела к возникновению ряда особых проблем.

Маленькая соблазнительница с лукавыми глазками продолжала нам позировать, произведя в Сеги не меньший фурор, чем у себя в Пататива.

На плантации Сеги было двое домашних слуг — шестнадцатилетних малаитян, пришедших в необычайное волнение от ежедневного присутствия нашей модели. Прежний метод уборки веранды, когда за этим не присматривал хозяин, сводился к привязыванию к ногам пыльных тряпок, на которых слуги разок-другой скользили по полу. Теперь, когда появилась соблазнительная модель, они целыми днями подметали, убирали, чистили и вытирали эту «самую длинную веранду Соломоновых островов». Их деятельности, сопровождаемой взвизгиванием и хихиканьем, не было

конца и края. Вместе с тем они делали вид, что не обращают на модель ни малейшего внимания. Героиня вела себя точно так же и непрерывно поправляла свое одеяние, стыдливо прикрывая обнаженную грудь. Слуги позабыли о своих обязанностях на кухне. Яростная беготня сотрясала дом с такой силой, что холст плясал передо мной, а рука, держащая кисть, дрожала, как у паралитика. Когда же Маргарет выставила этих двух молодцеватых покорителей сердец, они с хохотом забрались под веранду, как раз под то место, где сидела наша модель, и подняли там ужасающий гвалт. Возможно, что подобное чисто меланезийское ухаживание является смешным, но нисколько не облегчает деятельности художника.

Так протекала наша работа до того момента, покуда не произошел взрыв в буквальном смысле этого слова.

Дом в Сеги состоит из двух комнат: в одной находится контора, а в другой жил наш хозяин, если только он не переселялся на веранду. Наша комната находилась в отдельном домике возле южной веранды. В комнате, примыкающей к северной веранде, стоял наш знаменитый сундук со снаряжением, мимо которого однажды галопом пронеслись слуги. Весь дом зашатался от топота ног, и в тот момент, когда слуги появились в дверях, сундук взорвался.

Наша модель встала на четвереньки и поползла в сторону; сидевшие на краю веранды родственники разлетелись как шрапнель; слуги стояли оцепенев и вытаращив от страха глаза. Маргарет и я были не в лучшем состоянии, хотя знали, что у нас не было взрывчатых веществ. Но откуда же этот взрыв? Вскоре выяснилось, что взорвалась бутыль с перекисью водорода, которая в разведенном виде представляет обычное обезвреживающее средство, но в концентрированном состоянии обжигает пальцы и проедает окружающие предметы. Жара в сочетании с

тряской, вызванной непрерывной беготней слуг, привела к выделению свободного кислорода, который и взорвал бутыль. Нам оставалось только облить водой все, что стало жертвой взрыва, и отправиться на розыски убежавшей модели. Когда мы подошли к берегу, весь клан вместе с моделью находился на полпути к Пататива, и мы не сомневались, что модель не вернется, а своими рассказами о взрыве отобьет охоту к позированию У всех остальных жителей деревни. Такая ситуация была Для нас неприемлемой, и мы решили немедленно переехать на другую сторону и привести отношения с жителями деревни в должный порядок. На берегу лежала туземная лодка, сходная с каноэ, и мы предпочли воспользоваться ею, чем брать без разрешения хозяйский моторный катер. Да и вообще нам нужно было выучиться плавать на туземной лодке, так как это разрешило бы многочисленные проблемы, связанные с неудобствами нашей работы на плантации, не говоря уже о том, что было полезным упражнением для наших мускулов.

Нам никогда не приходилось плавать на туземной лодке, но они так легко и быстро скользили по поверхности воды, что простота управления ими была очевидной. Еще в дни моих школьных каникул я провела немало времени на каноэ, и особенное удовольствие мне доставляло плавать в сильную волну. Меланезийская лодка, выдолбленная из бревна, имеет заостренные концы, лишена киля, несколько плоскодонна, борта ее в центре чуть-чуть опущены и рассчитана она на двух гребцов, имеющих возможность удобно вытянуть вперед ноги. Найденная нами лодка лежала за прибрежной полосой в тени деревьев и была тщательно прикрыта пальмовыми листьями. Внешний вид убедительно доказывал, что лодкой очень давно не пользовались. Спустить ее на воду представлялось затруднительным, так как лодка была очень тяжела. Попытка Маргарет

отплыть непосредственно от берега не увенчалась успехом: лодка плотно застревала в грунте, и у меня не хватало сил, чтобы продвинуть ее дальше. Тогда мы решили подтянуть лодку по воде к маленькой пристани и сесть, как подобает настоящим леди. Однако мы очутились в воде раньше, чем успели опомниться. Это круглое, как бочка, плавучее сооружение немедленно переворачивалось и ускользало, как только мы пытались в него сесть, а мы сваливались в воду.

Тут началось сражение, а если мы его и проиграли, то все же получили огромное удовольствие от первого купания в лагуне. Мы твердо решили овладеть искусством плавания на туземной лодке и для этого надо было испробовать разные способы. Отведя лодку снова в мелководье, где Маргарет крепко удерживала ее, а я, не без затруднений поместившись в отверстие для сиденья, находила идеальную точку равновесия, балансируя веслом, как канатоходец шестом, и отдавала команду Маргарет. Но стоило Маргарет отпустить лодку, как она переворачивалась, и я висела головой в воде, а нижняя часть моей фигуры плотно заклинивалась в слишком узком отверстии, предназначенном для очертаний туземного гребца. В таком положении не до смеха, коль скоро из лодки никак не выберешься, а в перевернутом состоянии пловец расходует воздух гораздо быстрее, чем при обычном нырянии. Короче говоря, во время одного из опытов Маргарет едва не утонула.

Тогда мы решили учиться плавать на лодке так, как учатся ездить на велосипеде. Я сидела в лодке, вооруженная двусторонним веслом, а Маргарет удерживала лодку с кормы. Все шло отлично, покуда я балансировала веслом, но стоило мне начать грести или сдвинуться хотя бы на один дюйм, как я летела головой вниз. Надо сказать, что туземная лодка — сложная штука; она сочетает кошачью хитрость с дьявольским

характером некоторых лошадей, которые преспокойно выбрасывают вас из седла, шарахнув о ветки встречного дерева. Теперь я понимала, почему мальчишки в Пататива, едва научившись ходить, уже приучаются плавать на собственных лодках.

В конце концов мы отнесли лодку на место и признали, что плавать на меланезийской лодке могут лишь коренные меланезийцы, да и то только те, кто родился на берегу моря.

А нам лучше было вообще не родиться, так как владелец лодки — малаитянин из числа рабочих плантации пришел в дикую ярость, увидев, что его лодка расколота бедрами американки и опоганена прикосновением женщины, хотя бы и белой. Дело, конечно, не в том, что из-за толщины американских бедер в лодке появилась трещина, которая, говоря по правде, не попортила дна, а в оскорблении духа, покровительствующего лодке. Теперь Кесуо, так звали малаитянина, никогда не сможет плавать на этой лодке, так как оскорбленный дух его немедленно утопит.

Смеющийся малаитянин не представляет собой ничего привлекательного, но озлобленный напоминает разъяренную гориллу. Даже хозяин плантации не проронил ни слова, увидев перед собой Кесуо, взбешенного и справедливо возмущенного. Мы спрятались за спину плантатора и уплатили Кесуо пять долларов, лишь бы смягчить его гнев. Обычно за такую сумму можно приобрести не менее двух лодок, но мы решили быть щедрыми, хотя сам Кесуо никакой цены за лодку не назначал, а плантатор своих соображений не высказывал. Но даже когда Кесуо пошел в плантационную лавочку, чтобы получить на пять долларов табака, он продолжал метать громы и молнии. По-видимому, мы совершили ужасное преступление, которое нельзя искупить деньгами.

Теперь эта проклятая лодка стала нашей собственностью, и плантатор послал рабочих привести ее в должный вид и превратить в устойчивое судно, на котором мы сможем добираться до Пататива. Трещину зашпаклевали. Затем рабочие отправились в лес и вскоре вернулись со связками лиан, несколькими тонкими жердями одинаковой толщины и стволом молодого деревца дюйма в четыре в поперечнике. При помощи хозяйской дрели в верхней части борта были просверлены дыры, чтобы в них можно было продеть лианы для привязывания к лодке копьев (обычно такие дыры прожигают). Топором заострили концы ствола молодого деревца, который должен был стать наружным поплавком нашей лодки. Вот и все современные орудия, использованные в работе; вся остальная деятельность свелась к привязыванию лианами жердей к лодке.

В результате получился очень симпатичный водяной жук, и, что самое главное, это была наша лодка. Наконец-то экспедиция располагает собственной экспедиционной яхтой!

Неожиданно мы обнаружили, что на лодке имеется знак тотема в виде какой-то головы. Это был плоский выступ на конце бревна, и сначала мы решили, что это просто выступ, но один из рабочих, участвовавших в переделке лодки, указал на пилообразную линию, изображавшую зубы, и на круги, отдаленно напоминавшие глаза и ноздри. Собака? Я была очень рада, так как всю жизнь любила собак, но рабочие расхохотались.

— Нет, мисс… Это ваш знак тотема… Это аллигатор… — улыбаясь, добавил другой.

Я все поняла; один из наших покойных дядюшек (или какой-нибудь другой родственник) перевоплотился в аллигатора, и с этого дня мы не можем потреблять аллигаторов в пищу, убивать их, причинять им малейший вред и даже говорить о них в непочтительном

тоне. Совершенно не важно, каким милым и приятным человеком был покойник, но теперь, сделавшись духом, он где-то лежа подстерегает нас, чтобы отомстить за любое оскорбление, даже если оно нанесено без злого умысла. Я была несколько смущена: означает ли знак тотема милостивое отношение к нам других аллигаторов? Или дух нашего родственника-аллигатора сам по себе устрашает его нынешних сородичей?

В ответ туземные рабочие сочувственно улыбались и отвечали на все вопросы единственным словом «йес».

Первая поездка на лодке внесла ясность в это дело. Дух лодки, конечно, не был нашим родственником; видимо, он происходил из семьи Кесуо. Впрочем, это мог быть также дух Ларри — моего единственного умершего родственника, дух которого был столь же проказлив, как дух, владевший лодкой. При жизни Ларри был моим троюродным братом и перешел в разряд небесных ангелов, упав с сеновала, куда забрался в поисках тухлых яиц. Обычно он швырял этими вонючими снарядами в своих родственников, но однажды поскользнулся и... вполне возможно, что стал аллигатором.

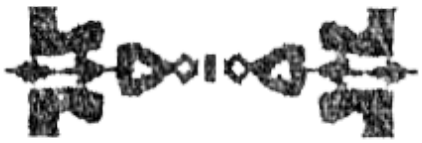
Теперь лодка уже не могла перевернуться или расколоться, так как мы сидели на соединительных брусьях, проложенных над бортами. Но для того чтобы продвигаться вперед, нам надо было грести с интенсивностью колесного парохода. При этом лодка упрямо двигалась только по кругу, так как из-за наружного поплавка мы могли грести только с одной стороны, а табанить веслом, как это делается на обычном каноэ, на этой лодке не удавалось.

Наши рабочие, принимавшие участие в переделке лодки, стоя на берегу и наблюдая, как мы беспомощно описываем круги, чуть не лопались от смеха. Если я раньше намекала на то, что меланезийцы лишены чувства юмора, сейчас беру слова назад; просто нам

раньше не приходилось видеть малаитянина, присутствующего при действительно смешном зрелище.

Наконец мы сами сообразили, что нужно делать. Одна из нас бешено гребла, а другая, сидя на корме в позе индейца, плывущего через пороги, пользовалась веслом, как рулем. Так как гребла только одна из нас, мы ползли со скоростью баржи, идущей по каналу извилистым курсом змеи. Во всяком случае, чей бы дух ни покровительствовал лодке, он твердо решил шутить с нами, используя для этого не тухлые яйца, а сильные приливные течения.

И все же наконец мы стали свободны, могли в любой час отправляться в деревню, были избавлены от необходимости выслушивать дикие взвизгивания домашних слуг и освободили хозяина плантации от неприятных переживаний.



Глава двадцать четвертая



Как приятно иметь собственную экспедиционную яхту!

Вот уже неделя, а то и больше, как не возникает никаких проблем. Каждое утро мы встаем с восходом солнца, а в семь тридцать с американской пунктуальностью плывем на тот берег лагуны. Маргарет гребет изо всех сил; я правлю привязанным рулевым веслом, зажав его коленями, а руками выбираю забрасываемые в воду лески с крючками. Мы захватываем с собой завтрак, состоящий из консервов, хотя предпочитаем свежую рыбу, которую жарим на коммунальном очаге. Местные жители тщательно проверяют наш улов, так как среди рыб попадаются ядовитые или те, на которые наложено табу. Надо отдать справедливость, что пропущенная нашими контролерами рыба изумительно вкусна. Кстати, должна заметить, что мы долго не могли понять, почему здешние европейцы питаются дорогостоящей консервированной рыбой, в то время как здесь прорва свежей. Мы ели свежую рыбу до тех пор, покуда она буквально набила оскомину. Об этом я расскажу потом, когда буду описывать наши очередные затруднения, и

тогда всем станет ясно, почему необходимо питаться консервированной рыбой.

В одно прекрасное утро по дороге к месту работы нам повстречался наш дальний родственник, живущий в этой лагуне, аллигатор, которого мы считали досужим вымыслом. Оставляя за собой полосу бурлящей воды, он спешил, высунув из воды надбровные дуги, ноздри и бугорки спинного хребта. Мы с уважением поклонились ему и уступили дорогу, но он не обратил на нас ни малейшего внимания.

В деревне нас встречал староста, вытаскивал лодку на песок и провожал до своей хижины, в тени которой мы работали.

Мы начали писать портрет местного юноши Майка, крайне напоминавшего «Персея» Челлини, отлитого из потемневшей меди. Телосложением Майк был характерным представителем молодых жителей лагуны: высокий, изящный, гибкий, со стальной мускулатурой. Он был широко распространенным типом новообращенного христианина, и по воскресеньям, когда в деревенском молитвенном доме шло богослужение, прекрасный Майк был запевалой хора. Мотивы распеваемых псалмов казались знакомыми, но исполнялись они синкопированно, и мы не могли определить, является ли это вымыслом деревни или творческой фантазией своеобразной натуры Майка. Слова псалмов были переведены на местный язык, и все посетители молитвенного дома, где по одну сторону сидели мужчины, а по другую — женщины со спящими или сосущими грудными младенцами, мирно дремали в перерывах между двумя джазовыми исполнениями псалмов.

Помимо всего, Майк был сыном настоящего охотника за черепами, достаточно удачливого, иначе он не дожил бы до того, чтобы стать отцом. Наше знакомство с Майком произошло в молитвенном доме, и Майк,

несколько смущенный присутствием на богослужении белых посетителей, взял первую ноту псалма так высоко, что прихожане, напрягая голосовые связки, зажмурили глаза и с набухшими на шеях жилами заверещали фальцетом. Когда мотив достиг наиболее высоких нот, которые аудитория безуспешно пыталась взять, раздался всеобщий хохот… Только Майку было не до смеха; он ужасающим голосом довел псалм до конца, исполняя его соло.

Отношение деревни к искусству было очень своеобразным. Каждый мазок кисти, все более и более завершающий сходство портрета с оригиналом, бурно приветствовался всеми наблюдателями. Мы полагали, что восклицания носят невинный характер, однако наши модели принимали их слишком близко к сердцу и рассматривали как насмешки. В ряде случаев застенчивые молодые люди поступали так же, как и во всем мире: они отказывались позировать, боясь показаться смешными. Застенчивость Майка значительно превосходила застенчивость других, но наряду с этим у него была настойчивость, выражавшаяся в непреклонном желании увидеть себя изображенным на полотне. Помимо всего, он был художником и притом отличным, хотя и не замечал связи между своим искусством и нашим; это мы заметили, когда попросили Майка нарисовать наш портрет. Майк был резчиком по дереву, а точнее — плотником, выдалбливающим и украшающим лодки. Это мастерство он перенял от своего отца, а тот у своего деда, дед от прадеда, и истоки мастерства теряются в дымке прошлого.

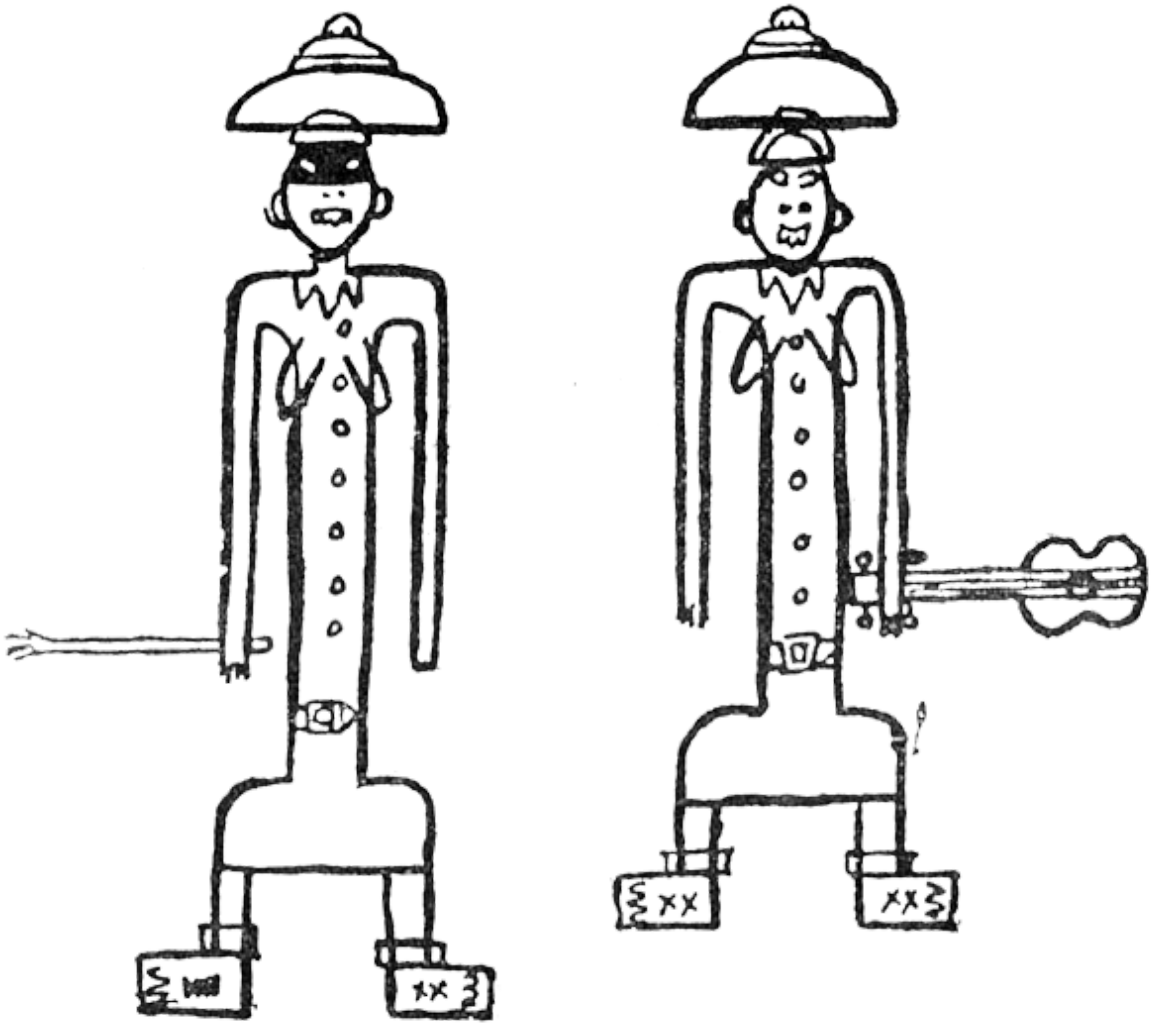
Отношение меланезийцев к профессиональным художникам представляло для нас огромный интерес. Профессиональными художниками являются резчики по дереву и изготовители масок, которых нанимают на работу точно так же, как это делается у нас. Результат

их творчества пользуется уважением, но ни местные жители, ни сами художники не признают за людьми искусства права на специальные привилегии, как это обычно происходит у нас. Здешние художники обязаны наряду с прочими жителями деревни выполнять обычные работы, помогать другим строить дома, расчищать заросли под огороды, ходить на охоту, ловить рыбу и действовать так же, как остальные обитатели, лишенные художественного дарования. Весьма вероятно, что такое приравнивание художников к остальным жителям объясняется более широким распространением среди меланезийцев способностей к изобразительному искусству. Все Деревенские жители, будь то мужчины или женщины, собственноручно изготовляют украшения, носимые ими ежедневно, а также производят предметы домашнего обихода, резные чаши из дерева и глиняную утварь. Предметы, предназначенные для празднеств или общественного пользования, изготовляются только профессиональными художниками. Подражание предметам, изготовленным профессиональными художниками, считается недопустимым и даже табу, это указывает на то, что профессиональные художники общаются с духами, когда делают танцевальную маску или изображение тотема. Этим как бы подчеркивается, что профессиональный художник имеет право на некоторое внимание. Соблюдение обрядов, связанных с резьбой по дереву, является секретным и передается наряду с мастерством из поколения в поколение только старшему сыну. В ряде случаев резчики по дереву являются не художниками, а ремесленниками, так как резьба ведется на протяжении столетий по строго установленным шаблонам. Есть предметы, для которых выдумывать или вводить новые формы строго запрещено.

Майк работал инструментами, представлявшими набор стругов различной ширины и раковин с остро заточенными краями, категорически отказываясь пользоваться чем-либо более современным. Исключение составлял карандаш, которым Майк «вырезал» нас в виде условных традиционных фигурок с точным повторением пропорций деревянных изображений духов, какие иногда встречаются на тропинках, ведущих через лесные чащи.

Когда он рисовал, то никогда не пользовался моделью, а изображал в точности, как это было принято на протяжении столетий. Так были изображены и мы, но с некоторыми необычными для Майка добавлениями: поясами, обувью, часами и шляпами на головах. Признаки нашей принадлежности к женскому полу, а также гавайскую гитару в руках Маргарет и мою кисть он дорисовал, закончив основной рисунок. Вопрос о нашей принадлежности к женскому полу был решен только после того, как мы спросили, не является ли его рисунок портретом плантатора. Майк с некоторым удивлением посмотрел на нас, но так как мы настаивали на том, что являемся «миссис», двумя штрихами добавил признаки, символизирующие наше женское естество.

Приглашая Майка позировать, мы решили доказать ему и всем остальным жителям деревни, какие блага кроются в поддержи ван и и добрых отношений с нашей художественной экспедицией, и покрыли красным лаком его длинные ногти.



Замечу мимоходом, что жалкие остатки красного лака на наших ногтях, сохранившиеся после встречи Нового года, вызвали восхищение всей деревни. Дети были попросту потрясены и таращили глаза на наши руки. Туземцы полагали, что красная окраска наших ногтей связана с нашей профессией. Об этом мы узнали не от местных жителей, а от плантатора, который услышал от слуг, а слуги слыхали от всего народа. Тогда мы решили приобщить Майка к нашей среде и намазали его ногти красным лаком. Это было поистине замечательной мыслью, и Майку стала завидовать вся деревня, а сам он стал себя вести крайне важно. Больше никто не смел смеяться, когда Майк нам позировал, хотя

его вид должен был вызвать обычный смех. Мы уговорили Майка надеть все наследственные регалии деревни, и на голове у него появилось украшение из черепахи и раковин, на которое имел право только вождь племени, а Майк не был даже потомком вождя (следует помнить, что в этом обществе решительно не допускается самовольное перемещение в социальных группировках). Украшение плюс ожерелье приобщили Майка чуть ли не к королям, не говоря уже о топоре — венце власти. С нашей точки зрения, этот топор был обычным топором дровосека, продающимся в лавках и являющимся творчеством фирмы «Сирс и Робак» образца 1940 года. Единственным отличием была длинная черная ручка, сделанная туземцами из дерева твердой породы; но топор принадлежал к числу деревенских ценностей, и мы его нарисовали в расчете, что он заменит подлинное вооружение охотника за черепами, которое мы надеялись обнаружить в дальнейшем. Однако топор фирмы «Сирс и Робак» остался на нашей картине. (По-видимому, все подлинное оружие охотников за черепами полностью вывезено в Американский естественно-исторический музей.) Также остался на картине «боевой щит», хотя он вовсе не был «боевым», а реквизитом для танцев, да притом, как оказалось, вовсе не местного происхождения, а малаитянский. Хорошо, что он был, по крайне мере, меланезийским. Местные жители часто говорят: «Эта вещь очень давно принадлежит деревне...» — и предлагают вашему вниманию что-либо, не имеющее отношения к подлинно туземным вещам. Например, ультрасовременные блестящие серьги-клипсы, принадлежащие одному из рабочих-малаитян, выдавались за старинные серьги. Все это доказывает, как мало мы знали и насколько зависели от россказней местного населения.

Возвращаясь к нарисованному Майком портрету участников нашей экспедиции, должна сказать, что именно в это время я начала носить маску, похожую на те, что в старину надевали разбойники с большой дороги. Эта маска не характеризовала мою манеру пристально всматриваться в рисуемые предметы. Это была настоящая маска, которую я начала носить примерно на четвертой неделе наших поездок в Пататива. Для нас, как экспедиции, эта маска была символом самого угнетенного состояния духа, какое нам пришлось испытать за все время писания портретов. Но именно эта маска была причиной включения семейства Майка в его портрет.

Вся эта пока еще не очень ясная читателю цепь событий началась с того, что к концу второй недели работы над портретом Майка, я начала замечать у себя признаки слепоты, не буквальной, когда просто лишаешься зрения, а сильных головных болей, приводивших меня к головокружению и тошноте. Все это объяснялось яркостью освещения и сильно мешало работе.

Всю жизнь я отличалась прекрасным зрением, характерным для всей моей семьи. Один из моих предков, наиболее почитаемый на моей родне, отлично читал без помощи очков, достигнув почти столетнего возраста. Мне самой часто и по многу дней кряду приходилось напрягать зрение по 10–16 часов в день, но я никогда не знала иной усталости, кроме как в ногах. Хрусталики моих глаз были первоклассного качества, но глаза переутомились напряженным рассматриванием холста, который всегда стоял в тени в то время, как приходилось смотреть на предмет или модель, находившиеся если не на солнце, то среди ярко освещенных вещей. Совершенно ясно, что надевать во время работы темные очки я не могла. Единственное, что оставалось делать — устраивать перерывы, но это

очень тормозило работу. Менее всего я предполагала, что глаза станут помехой нашей деятельности. Лишившись возможности пользоваться глазами, мы, как экспедиция, прекратили бы свое существование в момент, когда еще и наполовину не выполнили нашей задачи.

Теперь мы зачастую оставались в Сеги, где я в отчаянии подолгу массировала глаза, прикладывая ладони к векам и проделывая руками вращательное движение. Массаж помогал до того момента, пока я не начинала писать. Несколько дней подряд я работала сеансами по тридцать минут, после чего полчаса отдыхала. Такой метод был проверкой возможности рисовать по расписанию, но ни один художник не в состоянии писать с перерывами через каждые тридцать минут. Что касается моделей, то, увидев меня лежащей с закрытыми глазами, то есть по их понятию «спящей», они уходили восвояси и больше не возвращались.

Тогда мы попробовали работать половину дня, а потом отдыхать. Мы пробовали работать через день — результат был самым безрадостным.

— Видели ли вы когда-нибудь плохо видящего или слепого туземца? — спросил у меня наш хозяин. — Я спрашиваю не о родившихся слепыми от матери, больной венерической болезнью. Ведь местные жители отличаются замечательным зрением и могут в условиях ослепляющего света видеть на огромном расстоянии то, чего не видит белый человек.

В этом была своя доля истины, хотя местные белые жители полагают, что у туземцев особенно острое зрение. На самом деле умение быстро распознавать далекие предметы есть результат тренировки. Вопрос, заданный хозяином, заставил меня призадуматься.

Строение глаз туземца ничем не отличается от строения глаза белого человека; однако, работая над портретами местных жителей, я обратила внимание на

очень заметную особенность их глаз. Зрачки в глазах наших моделей были всегда шире, чем, например, в глазах Маргарет, когда она стояла рядом с одинаково освещенной моделью. А глаза у Маргарет были больше, чем у туземцев. Туземцы щурятся на солнце, но никогда не сближают веки так, чтобы оста вались только щелочки, как это делаем мы или другие белые. В чем же причина того, что мои здоровые глаза отказываются служить? Ведь разницы в строении глаз моих и туземца нет никакой... А может быть, туземцы также страдают от яркого света, мучаются головными болями и с течением времени начинают плохо видеть? А разница действительно была... И ответ пришел несколько позже и был изумителен по простоте.

Заметив, что после неожиданного купания во время упражнений с лодкой наши накожные язвы никак не увеличились, мы начали ежедневно купаться в лагуне. Вода была теплой, какая-то бархатная и такая кристально чистая, что хотелось погрузиться в нее лицом и жадно глотать. Ученые говорят, что особый блеск воды в тропиках вызывается массой микроскопических мелких живых существ. Возможно, что ослепительное солнце отражается в мириадах этих микроскопических зеркал и создается впечатление, что светится сама вода. Глотать эту воду нельзя не только потому, что она соленая, но и из опасения заболеть тропической болезнью ушей, которая, как предполагают, является результатом инфекции, разносимой каким-то морским живым существом. Вообще лучше всего не входить в эту изумительную воду. Однако, пока не заболеешь, купание в лагуне доставляет необычайное наслаждение.

Маргарет и я плавали поочередно, опасаясь аллигатора, ставшего для нас реальностью и избравшего район нашей плантации, потому что на Святки хозяин зарезал для рабочих бычка и крокодил не

только учуял запах жареного, но и сожрал внутренности, которые были выброшены возле рабочего барака. С тех пор он каждую ночь вылезал на берег в поисках остатков, а днем крейсировал взад и вперед, высовывая ноздри из воды. Пока ноздри торчали, мы знали, где находится крокодил, но как только они исчезали, одной из нас приходилось садиться на берегу и хлопать палкой по воде, пока другая купалась.

Вода была слишком теплой, чтобы в ней долго плавать. После нескольких взмахов рук, мы уже задыхались и обливались потом. Обычно наше купание сводилось к нырянию и внимательному разглядыванию подводного мира. Если нет возможности описать природу, окружающую лагуну, то описать подводный мир еще труднее. Как можно описать лучи солнца, пронизывающие поверхность воды и столбы света, проходящие через жидкий кристалл, достигающие бледно-желтого дна? Или зеленую толщу воды, уходящую в направлении центра лагуны, где таинственными привидениями скользят рыбы? Все кругом имеет волнистые очертания: зеленые столбы пристани, ноги Маргарет, сказочные дворцы из белого коралла; все это качается плавно, как гимнаст на трапеции; все кругом сверкает, как витрина ювелирного магазина. А как здесь организовано движение! Никто не сигналит, и маленькая алмазная рыбешка с хвостом, развевающимся, как покрывало Айседоры Дункан, подходит к моему лицу, круто поворачивает вправо и проходит, не задевая никого, через строй маленьких желтых существ, появившихся из-за моего плеча. Длинные, почти в ярд, тонкие, как карандаш, желтые с черным змеи покачиваются на одном месте возле пристани; несмотря на длину, их головы великолепно знают, что происходит с хвостом. Сколько раз я безуспешно пыталась ухватить их за хвост рукой, но они ускользали. Могу сказать «к счастью» потому, что

вскоре мы узнали кое-что об этих змеях, являющихся наиболее ядовитыми среди всех змей Соломоновых островов.

Ни змеи, ни другие обитатели моря нас не трогали; мы платили им тем же, если не считать черных, сделанных как бы из искусственной кожи трепангов, перемещавшихся по дну лагуны без всякого видимого усилия. Некоторые из них достигали фута в длину и несколько дюймов в поперечнике; у них были противные заостренные кончики, которые вертелись из стороны в сторону, как нос муравьеда. Странствующие торговцы скупают их для экспорта в Китай, где из них делают супы. Эти трепанги внушали нам отвращение.

В нашей части лагуны не было ядовитых морских ежей, а плававшие морские звезды были таких поразительных расцветок, что мне даже не следовало упоминать о них, так как словами описать их невозможно. На западной оконечности лагуны, в подземной коралловой пещере, проживал спрут, а вернее — спрутище, такой он был огромный. Правда, на протяжении тысячелетий его никто не видел, но местному населению было точно известно, что он нападает на лодки, осквернённые присутствием женщин, и утаскивает их к себе на дно. Обычные спруты, которых туземцы ловили и употребляли в пищу, никогда не имели щупалец длиннее фута, а наиболее ценными считались совсем маленькие спруты, которых ели вареными. Они были жестки, как резина, даже в столь нежном возрасте. Мелко изрубленного и залитого пряными соусами, как его иногда подают у белых жителей (главным образом из хвастовства, чтобы произвести впечатление на новичков), спрута проглотить можно, но удовольствия в этом никакого.

Реальной опасностью для нас являлись не острые и ядовитые коралловые рифы, хотя малейшая царапина превращалась в нарыв, а разбросанные повсюду

огромные раковины, трудно отличимые от кораллов. Старые раковины (некоторые из них насчитывают до пятисот лет) достигают размеров в восемнадцать дюймов, бывают покрыты кораллами и как бы сцементированы с рифами, на которых они пролежали бесконечное число лет. Широко раскрыв створки, они поджидали, не заплывет ли случайно какая-либо пища, и, как только что-либо съедобное проплывало мимо, створки хватали ее мертвой хваткой. Было известно, что именно раковины являются злыми духами некоторых умерших жителей деревень, и если какая-нибудь женщина, собирающая съедобных морских животных, наступит ногой на широко раскрытые створки, то так ей и надо: не нарушай установленных табу.

Насколько это наказание является серьезным, мы поняли, когда всунули нашу прогулочную трость между створками раковины, которые немедленно захлопнулись. Попозже, собравшись домой, мы захотели получить трость обратно, но не тут-то было: раковина решила, очевидно, съесть трость и решительно отказывалась ее вернуть. Мы колотили по раковине камнями, пускали дым сигарет в щель, откуда торчала трость, и даже всунули в нее горящую сигарету, но раковина продолжала крепко удерживать жертву. Тогда мы подняли палку вместе с раковиной и ударили ее о камень — никакого впечатления, раковину нельзя было разбить. Потеряв надежду, мы отнесли раковину домой и повесили трость на дерево. Наутро муравьи вернули нам трость, рядом с ней лежали начисто объеденные створки раковины.

Жизнь подводного мира была полна нескончаемого интереса, и я даже была довольна вынужденным отдыхом, хотя соленая вода лагуны не способствовала лечению глаз. Вместо прежней боли в глазах, я испытывала жжение, а за компанию и у Маргарет глаза сильно покраснели.

— Если вы так заинтересовались подводным миром, — сказал наш хозяин, — то вам необходимы водолазные очки.

— О да… — любезно согласились мы. — Мы согласны на все, начиная от русалочьих глаз и до водолазного колокола.

Оказалось, что водолазные очки являются реальностью и бездонные ящики в конторе, хранящие самые различные предметы, содержат и такие сложные приспособления. В ряде районов местные жители пользуются водолазными очками при добывании перламутровых раковин.

В тот миг, когда я надела водолазные очки, все стало понятным и ясным: в тропиках можно отлично заниматься живописью без опасения ослепнуть. У меня сразу появились глаза не хуже, чем у местных жителей.

Ту роль, которую играют у туземцев глубокие глазные впадины, выступающие, как карниз, надбровные дуги, обрамленные густыми бровями, малая величина глаз и выпуклые скулы, защищающие глаза от ослепительного отражаемого землей света, теперь стали играть водолазные очки. Они даже превосходили устройство глаз местных жителей, и теперь я видела все, словно через два черных тоннеля. Отлично различая краски и детали на теневых сторонах, я не должна была больше моргать и щуриться; помимо всего, через них я видела обрамленные композиции. Было бы еще лучше, если бы они давали квадратное или продолговатое обрамление или, скажем, имели крошечную установку для кондиционированного воздуха. Но даже в теперешнем виде они были незаменимы.

В дальнейшем у меня никогда не было недоразумения с глазами, хотя мне частенько приходилось за работой снимать очки, так как местные мужчины относились к ним с подозрительностью и не позволяли нам приближаться, если видели меня в очках.

Дети подымали истошный крик, а женщины прятались куда попало.

Наше первое возвращение в Пататива было настоящим событием. Обыкновенные очки здесь хорошо известны благодаря старосте, который носил их для украшения, и все отлично знали, что он ничего не видит сквозь густо засаленные стекла. Из моих водолазных очков стекла были вынуты, но вместо обыкновенной никелированной оправы имелись два черных тоннеля, полностью скрывавших верхнюю часть моего лица. Никто из жителей не выражал удивления, но толпа, встретившая нас на берегу, была явно взволнована. Кругом царила тишина, и точно так же, как когда-то рассматривали мои покрытые лаком ногти, теперь меня внимательно изучали со всех сторон, и, если мне приходилось сделать шаг назад или в сторону, я неизменно наталкивалась на кого-либо из поклонников моей новой внешности. Насколько можно было понять, жители решили, что мои водолазные очки являются наивысшей формой того украшения, что носил лишь староста.

Теперь я начала работать и с упоением рисовать в условиях физического комфорта. Приступив снова к портрету Майка, мы обнаружили, что Майк смотрит на нас с интересом. Обычно туземные модели имели несколько испуганный вид, что объяснялось моей манерой бессознательно гримасничать во время работы. Теперь гримас не было видно, и это надо считать еще одним достоинством моих водолазных очков. Я видела перед собой очаровательного и великолепного Майка, таращившего на меня глаза с неподдельным удивлением. Раньше он садился позади меня и смотрел, как я работаю; теперь он уселся передо мной и смотрел мне прямо в лицо. Отец Майка принес показать нам танцевальную трость, но, увидев меня, встал, изумленный, рядом с Майком. Несколько позже

приковыляла мать Майка и встала позади мужчин. Ее роте черными, прогнившими от жевания бетеля зубами был широко раскрыт, а глаза уставились прямо на меня в твердой уверенности, что я ее не вижу.

Только ограниченный размер холста не позволил мне превратить его в фриз и нарисовать всех явившихся родственников Майка. Мы не знаем, какой вывод сделали местные жители из поучительной истории с водолазными очками, но читателю ясно, что результат был отличным.

В то утро, когда мы заканчивали портрет семейства, к нам подошел староста и, отразив на своем широчайшем, коричневом и лоснящемся лице все очарование, на которое способен бывший охотник за черепами, попытался «подарить» нам украшение из раковин, надетое на голове Майка. Мы давно и безуспешно пытались купить такое украшение, достать которое очень трудно; теперь таких украшений не делают, а если кто-либо продает, то миссионеры или плантаторы немедленно его покупают. Подобные украшения делались для настоящих туземных вождей, а так как нынешние старосты назначаются администрацией, то и украшений им не полагается. В продаже такое украшение котируется от пяти до десяти американских долларов, и мы пришли в восторг не только от обладания таким украшением, но и от мысли, что, став желанными гостями в Пататива, получаем от жителей в знак уважения столь редкий подарок.

Оказалось, что все это не так и что староста намерен использовать возможность получения для себя пары водолазных очков, надев которые миссис замечательно похоже изобразила Майка — сына Дэви, и Мэри — жену Дэви, и Дэви — мужа Мэри и отца Майка. А бананы на картине до того хороши, что просто хочется смеяться от удовольствия.

Я протянула ему свои очки, чтобы он мог убедиться, какую дурацкую сделку он совершает. Он снял свои очки, делавшие его практически полуслепым, и напялил водолазные. Увиденный им мир показался ему таким же прекрасным, каким он был в действительности, а местные жители, окружив старосту, разглядывали его с неменьшим интересом, чем недавно смотрели на нас. Но когда староста оглядел всех присутствующих, толпа с почтительной улыбкой отступила несколько смущенная.

Староста получил водолазные очки (у нашего хозяина их было не менее полудюжины), и мы, чувствуя некоторый стыд, увезли ценное украшение к себе в Сеги.

— Верните это обратно... — сказал наш хозяин. — Верните немедленно... Староста не имел права подарить это украшение, так как оно ему не принадлежит. Ему так захотелось получить водолазные очки, что он рискнул отдать чужую вещь...

И украшение вернулось в деревню, хотя несколько иным путем.

Несколько дней спустя Майк появился в Сеги с визитом, который, казалось бы, не имел специальной цели. В сопровождении еще двух парней он подошел к краю веранды и поздоровался с нами. В руках он держал ожерелье, являвшееся вторым украшением вождя; он не предлагал его купить, а просто стоял и держал украшение в руках. Я терпеливо ждала объяснений парней по поводу их посещения, но, не услышав ни слова, ушла в комнату работать. Маргарет осталась на веранде и дождалась момента, когда Майк предложил обменять ожерелье на водолазные очки. Оказывается, деревенский староста хвастался вовсю, рассказывая своим сородичам, какие замечательные вещи он видит сквозь новые очки, и Майк, не без основания считая себя ближе к миру искусства, захотел иметь такие же волшебные глаза, так как намеревался заняться

писанием портретов в европейском стиле. Он получил водолазные очки, так как наш хозяин отдал нам весь свой запас, после чего, вручив Майку не принадлежавшие ему ожерелье и прежний «подарок», отослали его в деревню.

В здешних краях существует своеобразное право наследства и, если мы все правильно поняли, звание вождя наследуется по мужской линии, а обычное имущество по женской. Например, все дети принадлежат роду матери, и их законным опекуном является не их отец, а брат матери. Наследство оставляется главой семьи не собственным детям, а детям сестры, за исключением украшений, символизирующих власть вождя, которые составляют его личную собственность и переходят потомкам вместе с титулом. В других районах или даже в отстоящих недалеко одна от другой деревнях право наследования может быть совершенно противоположным.

В Пататива наследных из-за отсутствия мужского потомства вождей не было, и власть перешла к старосте, но прав на владение украшениями вождя, принадлежавшим теперь клану или деревне в целом, староста не имел. Очень часто в случаях, когда вождь не имеет мужского потомства, кто-либо из мужчин, а чаще всего хитрый колдун, объявляет себя вождем, а находящиеся в его подчинении духи помогают расправиться с несогласными. Возможно, наш староста считал себя новым вождем племени.

Это в некоторой степени объясняет, какие трудности возникают перед отлично все понимающим населением, когда правительственная администрация и религиозные миссии вмешиваются в естественно сложившиеся туземные порядки и назначают своих новых правителей. Символы власти, все эти украшения, считавшиеся священными и наделенными чудесными свойствами, становятся предметами купли-продажи предприимчивых

людей, вроде Майка или старого прохвоста старосты, пытающихся извлечь из этого дела личную выгоду. Таким путем бесчестность проникает в безукоризненно честную туземную среду, и воровство утверждает свои права. Все свойства, на которые мы обратили внимание во время нашей работы в Пататива, являются результатом столкновения двух культур.

Разумность населения, интерес к живописи, желание Майка научиться писанию портретов с перспективой, всеобщее и неподдельное веселье, уживающееся рядом с адюльтером и бракоразводными процессами, некоторая склонность к присвоению чужого имущества, явное стяжательство (желание получать наличными деньгами, а не табаком за позирование) — все это указывает на смешение влияний двух культур, на результат влияния белой расы.

Пататива не только христианская деревня, а миссионерская станция, и, может быть, в силу этого белого влияния боевая гондола теперь охотилась на черепах, а мы — белые женщины — смогли принять в охоте участие.

Глава двадцать пятая



— Хозяин! Хозяин!.. Аллигатор на берегу…

Это было произнесено шепотом, хотя от нас до берега было не менее двухсот ярдов.

Глаза прибежавшего с этим сообщением рабочего сверкали при свете лампы, а рот был широко раскрыт и жадно глотал воздух. Наш хозяин разразился звучным хохотом. Оказывается, рабочим было приказано немедленно сообщать, если крокодил вылезет на берег, где его можно будет застрелить. Каждый раз сообщение о появлении крокодила делалось с таким шумом, что, пока мы добирались до берега, от крокодила не оставалось и следа. Поэтому рабочим было настрого приказано не шуметь. Отсюда появился этот «шепот». Маргарет и я вскочили, как борзые при звуке охотничьего рога, но хозяин продолжал писать письма и решительно не пожелал охотиться за крокодилом.

— Возьмите ружье и застрелите крокодила сами, — сказал он нам.

Мы не заставили себя долго ждать. Крокодила мы увидели и, видимо, попали в него, так как он перевернулся от пули или от обиды животом кверху, как бревно, скользнул в воду и исчез. Если мы его и не ранили, то не потому, что плохо стреляем; в этом вы

можете быть уверены. В нашу Нель можно было стрелять без промаха, как в стену сарая, отстоящую от стрелка на десять ярдов. Аллигатора должно было разнести в куски, но легенда о том, что крокодила можно убить только попаданием в глаз, видимо, имеет некоторое основание.

Самый факт нашего ночного посещения берега уже был героизмом. Хозяин плантации явно не потворствовал нашим вечерним прогулкам, даже в направлении общеизвестного храма на холме, и мы соблюдали пожелания хозяина, дабы не вовлекать его в международные конфликты, если с нами что-либо случится. Но сегодня, законно находясь ночью на берегу, мы сделали лишний выстрел в честь хозяина и еще один в честь его рабочих, собравшихся посмотреть, как мы будем убивать крокодила. Этот салют был встречен зрителями с полным восторгом, вылившимся в радостный вопль.

Была божественная ночь, наполненная мощным жужжанием мириадов москитов и освещенная полумесяцем, блестевшим перламутровым шлейфом, протянувшимся по зеркальной лагуне. Продолжая охоту за крокодилом, мы сели в нашу лодку и двинулись вдоль берега и, подобно Венере, плыли сквозь ночь в собственном сиянии. Каждое движение веслом разбрасывало снопы фосфоресцирующего света, расходящегося вокруг нас широкими кругами. Позади лодки оставался длинный, мерцающий след, а любая капля, падавшая с весла на воду, превращалась в тончайшее произведение ювелирного искусства. Повсюду сверкали отражения звезд, между которыми здесь и там выскакивали серебристые рыбы, проносясь стрелами над поверхностью воды. Во всем этом сказочном мире царила тишина, нарушаемая плеском наших весел или игрой рыб.

В рабочих казармах свет тушился в девять вечера, но никто не запрещал разводить костры на берегу, и когда мы возвращались обратно, то увидели горевший костер. Пламени почти не было видно, так как скорлупу кокосовых орехов жгут только ради дыма, отгоняющего москитов. В слабом свете костра мы разглядели оранжевые отражения голых тел нескольких туземцев. Выйдя на берег, мы спрятались среди пальм, решив посмотреть, что будут делать эти люди. Подкрадывались мы с большой осторожностью, учитывая отличный слух туземцев, а причиной нашего повышенного интереса было то, что сидевшие у костра музицировали. Несколько в стороне от костра, ясно обрисовываясь на фоне лунного света, сидел человек в такой неописуемой с анатомической точки зрения позе, что я сомневалась — сумею ли я его нарисовать. Это и был музыкант. Просунув руки под колени, он пальцами рук и ног удерживал связки бамбуковых палочек, которыми ударял по камням. Я думаю, что Далькроз пришел бы в восторг от одной идеи координирования движения конечностей. Ритм и нежная трель, издаваемые бамбуковыми палочками, походили на токкату Баха, а звуки казались мне самыми чарующими в мире.

Мелодии не было, были лишь отдельные звуки, как побрякивание бубенчиков в китайском саду или волшебных колокольчиков фей в «Сне в летнюю ночь». Мы стояли зачарованные первым знакомством с меланезийской музыкой. Здесь, на островах, мы слышали дробь небольших барабанов, обтянутых змеиной кожей, на которых туземцы отбивают ритм танца, и грохот огромных полых бревен — сигнальных барабанов. Но сейчас перед нами была свирель Пана, состоящая из четырех бамбуковых трубок. Впоследствии мы приобрели такую свирель, и Маргарет, образно выражаясь, чуть не «высвистела» свои передние зубы,

пытаясь извлечь из свирели какой-либо мотив, а у туземного музыканта свирель издавала печальный многоголосый свист. Однажды мы были свидетелями, как экипаж малаитянской лодки, состоящий из шести человек, устроил в нашу честь песни и пляски. Их песни сводились к непрерывному повторению четырех нот, исполнявшихся певцами сильно в нос на протяжении доброго часа. Что касается танца, то у малаитян это были прыжки на полусогнутых ногах. Пение, танцы и дробь барабана прекращаются неожиданно, когда танцоры почувствуют усталость.

До сегодняшнего вечера мы не слыхали мелодии, а только отдельные несвязные звуки. На этот раз мы услышали произведение мастера времен каменного века, ибо только истинный художник мог создать музыкальное произведение при помощи камня и трех палочек, которыми музыкант действовал в самой невероятной позе. И мы решили воспроизвести этот занятный момент в виде рисунка.

Очень может быть, что читатель сам заметил, что я принадлежу к числу художников, пускающихся в творческое «плавание», не сообразуясь со своими возможностями, руководимых одним лишь прибоем вдохновения. В результате такого; несоответствия желания и возможностей происходит авария, и я либо тону, либо выкарабкиваюсь на берег с живописным произведением, качество которого приводит меня в ярость.

Так было и с «музыкантом тапу». Музыканта я могла рисовать только днем, но это не соответствовало замыслу картины. Мне нужен был платиновый свет луны и отблески костра из тлеющей кокосовой скорлупы; я хотела видеть перед собой несколько глуповатое выражение лица, которое бывает у всех исполнителей, в том числе и первобытных музыкантов, когда они исполняют свое любимое произведение.

Писать картину ночью тоже нельзя, так как при свете лампы оранжевые тона костра выглядят иначе, чем днем. Мы пытались создать нужную нам обстановку путем устройства сценических эффектов в кладовой при нашем доме. Окна мы завесили одеялами, оставив открытой только дверь, через которую падал свет на мольберт и мою палитру. Мы соорудили доморощенную луну из фонаря, обернутого в кусок синих обоев, но от этой затеи пришлось отказаться, так как обои начали тлеть и луну пришлось заменить окном, через которое падал свет. Костер изображался тремя лампами типа «летучая мышь». Модель я намеревалась усадить в углу, где ее нужно было заслонить от дневного света, падающего через открытую дверь. Мы натянули циновку от края мольберта к дверям, отогнув нижний угол циновки, чтобы я могла видеть свой будущий шедевр. Воздух в помещении мы настолько обработали средством против насекомых, что дышать стало нечем. Было подготовлено все, кроме модели.

Наш хозяин, покидая нас рано утром, заявил, что не желает быть свидетелем пожара в собственном доме, но все же обещает разыскать нашего музыканта и прислать его к нам.

Некоторое время мы думали, что он шутит над нами, присылая то одного, то другого музыканта — тапу, не имеющих ничего общего с увиденным нами на берегу. Каково же было общее смущение, когда выяснилось, что желанной моделью был Кесуо, тот самый злобный малаитянин, чью лодку мы испоганили. Мы были поражены, что человек такой страшной внешности, такой злости (бушевавшей в нем и поныне) мог быть таким тонким музыкантом. Не менее сконфужен был и сам Кесуо, узнав, что его посылают в дом, где заставят позировать перед нами.



Сначала все выглядело так, будто он не собирается что-либо для нас делать. Усевшись на землю возле веранды, он разглядывал плантацию, в то время как домашние слуги вызывающе громко над ним хохотали, а мы безуспешно объяснялись на пиджин-инглиш, пытаясь пригласить Кесуо на веранду. В ход были пущены табак, упреки в глупости и все, что мы были в силах сделать. Я ушла к себе в «студию» где, прикрепляя холст к мольберту, пыталась разобраться в потоке неудач. Вдруг до моих ушей донеслось сказочное перезванивание колокольчиков. Выглянув на двор, я увидела, что Маргарет уселась на землю, сняв чулки и

туфли, и приняла невероятную позу музыканта, играющего на тапу: малаитянские бамбуковые палочки торчали между пальцами ее ног, а она старалась, просунув руки под согнутые колени, дотянуться до камней, лежавших между ее ступнями. Маргарет приняла правильную позу, но непривычное переплетение рук и ног не позволяло ей пошевелить конечностями.



Кесуо сидел рядом, держа в руке несколько бамбуковых трубок и тихонько ударял палочками о камень, показывая Маргарет, как нужно действовать, чтобы извлечь нужные звуки. Я снова вернулась в

«студию» и, почесав в затылке, подумала о всемирном единстве музыкального чувства, не знающего расового, общественного и интеллектуального барьеров. Братские чувства двух музыкантов, очевидно, не имеют пределов, и Маргарет рисковала получить туземную дизентерию, пользуясь свирелью Кесуо, или схватить накожное заболевание, обучая туземца играть на гавайской гитаре. Оба музыканта, не понимая языка, расплывались в улыбках, выражавших взаимное удовлетворение. Мне кажется, что все музыканты мира образуют какое-то тайное общество, и теперь, хотя поздно об этом рассказывать, я должна сообщить, что завязка моей дружбы с Маргарет покоилась на том, что мне — гитаристке — понадобился инструмент, ведущий мелодию, а Маргарет с ее гавайской гитарой нуждалась в басовом сопровождении. Так получилось и сейчас, когда Маргарет вовлекла в наш круг злобного Кесуо, обучавшего Маргарет игре на тапу, что, по моему мнению, ей вовсе не было нужно.

Кесуо недолюбливал наше общество и еще менее — темное помещение с одеялами на окнах и горящими фонарями; но прежде чем он разобрался в своих чувствах, мы поместили его в нужный угол, и он, приняв позу музыканта, играющего на тапу, заиграл по-настоящему, вдохновленный неподдельным восторгом Маргарет и своеобразием ситуации. Постепенно его лицо смягчилось и приняло глуповатое выражение, отличающее музыкантов-любителей во всем мире. Вот это выражение мне и было нужно.

Через некоторое время мне почудилось, что в холсте зияет пустота, которую я безуспешно пытаюсь замазать красками. Переводя глаза с холста, освещенного ярким наружным светом, на модель, находящуюся в ночном освещении, я теряла ее из виду, так как мои зрачки не могли быстро приспособляться к резким переходам от ночного к дневному освещению. Температура в нашей

крошечной (четыре метра на четыре) студии поднялась при горящих фонарях выше точки кипения. Маргарет и я совершенно взмокли не только от жары, но и от напряженной борьбы с москитами, которые вылезли из всех щелей, полагая, что наступила ночь. Было нестерпимо душно от папиросного дыма и углекислоты, выдыхаемой тремя живыми существами.

Наступил день, когда портрет был закончен и мы сняли его с мольберта, чтобы натянуть новый холст. Законченный портрет я приколола к чертежной доске и поставила к стене, между дверьми, делавшими комнату проходной. Картина еще не высохла, и я ее немного подправляла, сидя перед ней на полу. Там же лежала моя измазанная красками палитра. Несколько позднее, уйдя отдохнуть на веранду, я услышала дикое рычанье, доносившееся из «студии». Оказывается, две собаки, обычно пробегавшие через эту комнату, подняли лай и рычание, пятясь от портрета Кесуо. Эти псы дико ненавидели туземцев, гораздо яростнее, чем обычно бывает с собаками, принадлежащим белым людям; они даже не брали пищи из рук домашних слуг, а когда кто-либо из туземных рабочих подходил к веранде, то собак приходилось запирать в комнатах. И вот теперь псы обнаружили в хозяйском доме изображение незнакомого туземца…

Мы захохотали от восторга. Портрет малаитянина был написан так выразительно, что даже собаки приняли его за живого туземца. Впрочем, возможно, что в комнате чувствовался слабый запах малаитянина, который не ощущали мы, но учуяли собаки. Наша авторская радость была непродолжительной: более крупный пес ринулся на портрет, впился зубами в изображение ног Кесуо, чертежная доска рухнула, и через мгновение портрет «музыканта тапу» уже нельзя было узнать. Часть изображения осталась на спине одного из псов, а краски с лежавшей рядом палитры

изобразили на упавшем холсте закат в духе Тернера. Видимо, дух лодки Кесуо отомстил нам за оскорбление.

Этот пес ненавидел крокодилов и, когда сопровождал хозяина на берег, шел осторожно позади своего владельца и вспоминал, как на него однажды напал в воде крокодил. Увидев в музыканте тапу тотем аллигатора, он счел необходимым расправиться с портретом. Своеобразное отношение собак к изображениям людей вовсе не является необычным. Мне когда-то пришлось писать хозяйку одного сеттера, и, когда написанный в натуральную величину портрет был повешен на стену комнаты, где всегда спал сеттер, никакими силами нельзя было заставить собаку войти в эту комнату, и портрет пришлось перевесить в другое место.

Глава двадцать шестая



Все радиослушатели помнят, как несколько лет назад в любое время дня и ночи в эфире звучала мелодия романса «День и ночь». Любители хороших мотивов согласятся со мной, что это был отличный романс, но для нашей экспедиции мотив одновременно звучал и чудесно, и надоедливо. Даже теперь, когда я рассматриваю рисунки, сделанные мною в Онтонг-Джаве, мотив романса «День и ночь» немедленно начинает звучать где-то внутри. Сколько раз мы пели его за едой, сколько моделей — белых и коричневых — очаровывала Маргарет, покуда я запечатлевала голову модели на холсте. Благодаря этой мелодии появился портрет туземца с Онтонг-Джавы, который пополнил нашу коллекцию тем смешанным полинезийски-меланезийским типом, которого нас лишили игроки в крикет, вытеснив экспедицию с островов Фиджи.

Коралловый атолл Онтонг-Джавы находится в двухстах милях к северо-востоку от Соломоновых островов, и проживающее здесь население является помесью меланезийцев и полинезийцев. По существу, это то же сочетание, что и на островах Фиджи, но на Онтонг-Джаве смешение этих двух народов не создало четко установившегося типа. Иногда в одной и той же

семье можно увидеть темнокожих людей с густой, истинно меланезийской растительностью на голове наряду со статными и рослыми представителями полинезийской группы. Многие местные жители унаследовали характерные признаки обеих групп. Что касается женщин, то, говорят, они миловидны, но мы их не встретили.

На миссионерскую станцию нас доставил вместе с грузом копры наш прежний хозяин, и здесь мы должны были пробыть три дня, ожидая прибытия «Матарама». Проживавший здесь миссионер считался старожилом, и его дом был редчайшей сокровищницей интереснейших вещей. Как правило, миссионеры всегда являются владельцами ценных коллекций туземных редкостей. Здесь были собраны продеваемые в нос черепаховые подвески вроде маорийских «тики», имеющие форму эмбриона и символизирующие плодородие. В Онтонг-Джаве эти украшения являются эмблемой отцовства. В коллекции находился примитивнейший ткацкий станок с образцом пальмового волокна и исправным челноком. Жители Онтонг-Джавы занимаются ткачеством, что указывает на их связь с полинезийцами, так как меланезийцам это ремесло не известно. В ящиках, полных фотографий и иллюстративных материалов, заключалась настоящая кладовая знаний. Не было только подлинных, не тронутых белой культурой местных жителей, могущих послужить нам моделями для портретов.

В первый вечер, примерно около половины девятого, когда я в третий раз проснулась от собственного храпа, все жители, собравшись возле дома миссии, уселись в кромешной тьме возле веранды и принялись развлекать нас пением псалмов, как это было принято во время посещения миссии белыми гостями. Через некоторое время один из слуг — кстати сказать, миссионеры любят держать у себя в услужении великое множество людей

— поднялся по ступенькам к столбу, на котором висел церковный колокол, и начал вызванивать для всего поселка приглашение ко сну: хочешь или не хочешь, а ложись спать. Я вздохнула с облегчением, но Маргарет уже успела достать наши музыкальные инструменты, так как была одержима идеей, что нас как гостей будут вспоминать с большим сожалением, если мы будем угощать хозяев музыкой, а недружным храпом. Конечно, хозяева всегда были вежливы, и на этот раз, когда миссионер увидел наши инструменты, он велел отменить вечерний звон и разрешил своей пастве посидеть еще немного и насладиться музыкой. Я невыносимо хотела спать, так как привыкла вставать до восхода солнца, чтобы использовать утренние часы для работы. А тут этот концерт в восемь тридцать вечера стал для меня тяжелым испытанием. Я всегда знала, что Маргарет отличается пониманием юмора, но на этот раз чувство ей изменило, и она выбрала для исполнения исключительно неудачный репертуар. Среди исполняемых Маргарет песен была казацкая походная песня, состоявшая не менее чем из тридцати куплетов, и каждый из них заканчивался лихим свистом. Эту песню Маргарет избрала для собственного исполнения после пропетых толпой религиозных псалмов. Прошло несколько минут, и я увидела перед собой Маргарет, переставшую походить на святую Цецилию, играющую на органе и каждый раз рассекающую воздух своим знаменитым, почти разбойничьим свистом. Сидевшие вокруг туземцы получали неописуемое удовольствие и восторженным, явно неблагочестивым ревом приветствовали окончание каждого куплета. С этого момента они не желали слушать ничего другого, и ударом колокола пришлось возвестить окончание концерта. Но прежде чем слушатели разошлись, Маргарет запела романс «День и ночь», ставший потом нашей коронной песнью. Не успели прозвучать аккорды,

как с задней веранды раздался крик о приближении лодки. Я была счастлива: теперь я могла спокойно улечься в постель, и продолжать переваривать съеденный обед (надо сказать, что миссионеры едят на славу), и впервые за всю экспедицию не поинтересоваться, какая лодка собирается причалить. Не успела я крепко уснуть, как меня разбудили и сообщили, что подходит катер незнакомого нам районного чиновника, о котором было распространено больше слухов, чем о целой группе кинозвезд. Во всем мире люди любят рассказывать небылицы друг о друге.

Я тоже принадлежу к числу людей, но рассказывать о районном чиновнике буду лишь потому, что это связано с возможностью написать портрет типичного представителя туземного населения. О господине районном чиновнике рассказывали всякую всячину вплоть до того, что на всех островах не было ни одной белой женщины, замужней или девицы, которая сумела бы устоять перед его чарами. Он никогда не был женат и пользовался репутацией сентиментального человека.

Когда описываемый персонаж повстречался на нашем жизненном пути, мы были поражены его внешностью: он был тщательно пострижен и носил галстук в полоску. В стране, где ближайший парикмахер живет за несколько тысяч миль, обычная мужская стрижка кажется чудом. А если стрижку сочетать с отличным, в желто-коричневую полоску галстуком и пиджаком, то становится ясной основа, по крайней мере, половины всех сплетен. Что касается сущности этого человека, то, несмотря на двадцатилетнее пребывание на островах, он остался англичанином до мозга костей.

Очень скоро выяснилось, что господин-чиновник отнюдь не склонен вести беседы об Онтонг-Джаве, а предпочитает слушать музыку. Наше исполнение романса «День и ночь» нравилось ему не меньше, чем свист казачьей походной песни туземному населению.

Он попросил нас исполнить романс еще раз; потом еще и еще раз. Затем он убедительно попросил, чтобы мы спели романс в присутствии экипажа его катера. Оказалось, что матросы создали маленький оркестр, куда входило несколько испанских и гавайских гитар, а для разучивания песен имелся граммофон с пластинками. Я была поражена: меланезийцы, играющие на струнных инструментах и поющие мелодии! Ради столь необычных меланезийцев я была готова не спать ночь напролет.

— Да, да... — сказал господин районный чиновник, направляясь с нами к катеру. — Эти парни не совсем чистокровные меланезийцы. Все они родом с Онтонг-Джавы.

Как жаль, что господин чиновник вместе со своими драгоценными онтонг-джавскими моделями завтра на рассвете отбывает дальше вершить судебные дела в прибрежных деревнях. Никто на свете не рискнет просить чиновника коронной службы пренебречь служебными обязанностями только потому, что кому-то захотелось написать портрет его слуги. Ни один из членов экипажа не может быть оставлен здесь, потому что обратный рейс катера намечен по совершенно иному пути. Мы также не могли уехать отсюда, так как рисковали пропустить прибытие «Матарама».

Положение казалось безвыходным: налицо имелись модели с Онтонг-Джавы и туземные украшения, но поздний час не позволял приниматься за портрет.

Оркестр господина чиновника был неплох, но и не так хорош, каким был бы оркестр из чистокровных полинезийцев. Репертуар составляли «модные» песенки южных морей, несколько перекликавшиеся с простыми по гармонии гавайскими мелодиями. У певцов были хорошие голоса, ритм отбивался на тамтаме, но певцы совершенно не знали нашей гаммы из восьми целых нот. Это было незаметно, покуда они пели мелодии

туземного происхождения, но когда дело перешло к популярной американской песенке, то сразу стало ясным, что исполнить ее они не могут. Им было все равно, фальшивят они или берут правильную ноту; правильность звучания аккомпанемента была им безразлична, лишь бы соблюдался ритм.

Как нам казалось, матросы смеялись и болтали в присутствии белого господина чересчур много. Может быть, здесь сказывалась свойственная полинезийцам уверенность в себе; во всяком случае, когда мы спели «День и ночь», они нам даже зааплодировали. Гармоническое построение мелодии этого романса было им близко и понятно. В общем на борту катера господствовала странная не островная атмосфера.

В отношениях между господином чиновником и его слугами чувствовалось нечто интимное и необычное. Здесь, в стране, почти лишенной белых женщин, можно услышать много сплетен об отношениях между белыми плантаторами и туземными юношами-слугами. Если допустить, что нечто подобное существует, то не эта интимность чувствовалась в отношениях между господином чиновником и членами его экипажа. Когда он обращался к руководителю оркестра, то говорил с ним обычным голосом, а не ревел, как взбешенный бык; он говорил с ним по-английски, а не на пиджин-инглиш. К нашему изумлению, он положил руку на плечо сидевшего у его ног юноши, чего мы никак не могли ожидать от белого человека. Именно этого юношу он просил внимательно прислушаться к романсу «День и ночь», когда мы его исполняли в третий, четвертый или в пятый раз. Во время нашего исполнения господин чиновник лежал на палубе в кресле, держа в руках стакан виски-сода, и, закрыв глаза, о чем-то мечтал, прерывая свое оцепенение только потоком лести по нашему адресу, что должно было стимулировать еще одно исполнение романса.

Через час я не выдержала и заснула, предоставив Маргарет действовать в одиночку. Через некоторое время она шепнула мне, что господин районный чиновник желает, чтобы мы выучили его парней исполнять «День и ночь», разучив с ними слова, мелодию и аккомпанемент. Для этой цели он останется здесь еще на день, и один из парней сможет нам позировать.

На следующее утро господин чиновник и все его слуги, даже не входящие в состав оркестра, явились на берег и, усевшись в тени кокосовых пальм, приступили к разучиванию песни. Маргарет играла на гитаре и пела «День и ночь», я подтягивала, господин чиновник записывал слова, парни развесив уши слушали, и, главное, я писала портрет полимеланезийца, сидевшего в тени кокосовой пальмы и делавшего вид, что работает на ручном ткацком станке. Писать портрет туземца с Онтонг-Джавы в подходящей для него ажурной тени пальмовых листьев, да еще с окружавшими его насекомыми, не менее сложно, чем пытаться изобразить зебру, бегущую под струями дождя. Кое-где мне пришлось пожертвовать реализмом, ради возможности видеть модель.

— День и ночь… — пели матросы, фальшивя, сбиваясь с такта и перевирая остальное неясной фразировкой, — день и ноччччь… тыыы оддnaaa, толллько ты оддnaaa под солнцццееееем и звеззздаааами… близззкооо или даааалееекооо… всёёё равноооооо, где ббббы тыыы ни была… я думммммаю о тебббеееее… денннь и ннночччччь…

— Это пока еще не то, что нужно… — со вздохом говорил господин чиновник. — Давайте еще раз…

И мы начинали снова. Вскоре я заметила, что могу полностью сосредоточиться на писании портрета, а пение романса «День и ночь» стало механическим и бессознательным, как процесс переваривания пищи.

Правда, на протяжении последующих десяти дней и ночей я непрерывно пела этот романс и не могла ни на чем сосредоточиться. Шрам от этой раны не зажил и поныне.

Наше участие в этом деле было достаточно глупым, но как мог умственно здоровый мужчина так долго наслаждаться одной и той же песней, которую в дальнейшем ему придется слушать бесконечно в исполнении собственного хора и оркестра? Как могло ответственное лицо — чиновник британской короны — пренебречь своими служебными обязанностями ради того, чтобы разучить хорошую, пусть даже лучшую в мире песню? Мы думаем, что это и была «сентиментальность», о которой нам говорили, а читатель пусть сам делает нужные выводы.

Совсем еще юнцом, прямо с школьной скамьи, попав на поля Первой мировой войны, господин районный чиновник отправился из Англии прямиком на эти острова, как это сделали многие из живущих здесь белых людей. Как и у многих англичан, у него был разочарованно-подавленный вид, будто Англия проиграла, а не выиграла войну. Он захотел уединения и полагал, как, впрочем, и многие другие, что жизнь среди первобытных людей поможет ему создать для себя разумный мир. Он получил в свое ведение атолл Онтонг-Джавы, и ему была предоставлена широчайшая возможность не встречаться с цивилизованными людьми, разве только в редких случаях, когда приходилось приезжать с докладом в Тулаги. Но именно в Онтонге он встретил «ее» и создал для себя тот запутанный мир, из которого ему не суждено было выбраться.

Однажды мы познакомились с плантатором, который был по всем правилам женат на женщине из Онтонг-Джавы. Такой факт доказывает, что для белых мужчин

онтонгские девушки гораздо более привлекательны, чем туземки с Соломоновых островов.

Предметом страсти господина чиновника, как нам говорили, была светлокожая с волнистыми кудрями особа, которую он впервые увидел на «Параде девственниц». В Онтонг-Джаве существует народный обычай ежегодно устраивать шествие обнаженных девушек в знак того, что они достигли брачного возраста. Как правило, помолвки совершаются еще в раннем детстве, но прогулка в обнаженном виде по деревенской площади в сопровождении пожилых женщин является знаком того, что девушка готова к свадьбе. Мы видели пачки фотографий, снятых на таком параде, и должны признать, что девушки Онтонг-Джавы мало похожи на своих меланезийских родственниц. У них длинные и стройные ноги, красивые торсы, отличные плечи и высокая грудь. Молодой чиновник, увлеченный этими внешними достоинствами девушки, не посчитался с тем, что девушка помолвлена, и увез ее на своем катере, где и случилось то, что должно было неминуемо случиться. Конечно, девушка совершила ошибку, нарушив помолвку, и тем оскорбила духов. Кроме того, возник вопрос о возмещении жениховской родне всех убытков, связанных со сделанными подарками.

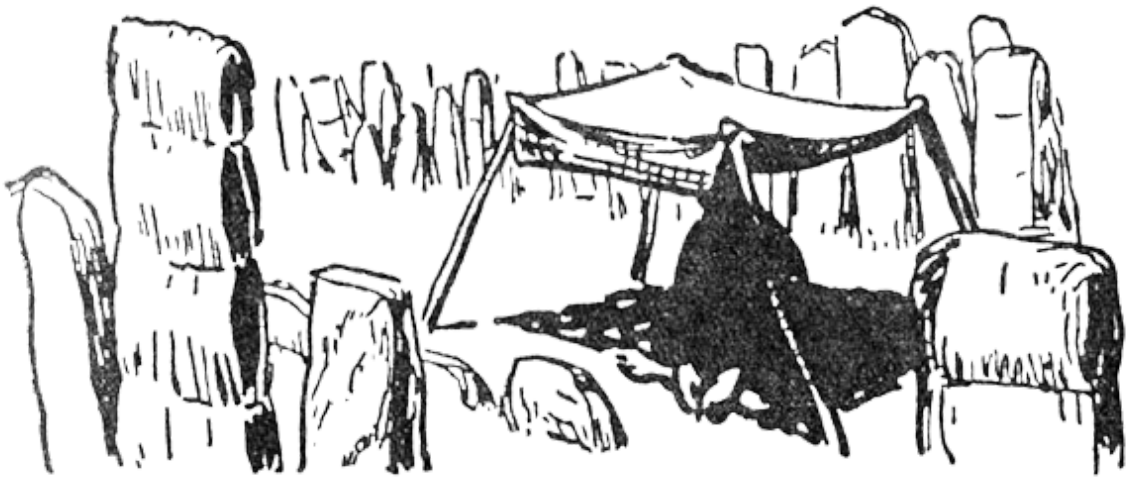
Господин чиновник отвез девушку в Тулаги, где и решил жениться на ней. С этим никак не могли согласиться его сослуживцы, так как они не видели необходимости в женитьбе, которая могла бы прикончить служебную карьеру правительственного чиновника. Всякий государственный служащий, женившись на туземной девушке, закрывает возможность собственного продвижения по службе.

В то время как некоторые доброжелатели отвлекали его внимание, вернее — напаивали допьяна, другие махнули с девушкой обратно в Онтонг-Джаву, где она

была по всем правилам обвенчана с нареченным туземным женихом. Венчал их белый священник на тот случай, если бы районный чиновник отнесся к туземной свадьбе так же пренебрежительно, как и к помолвке.

На этом все должно было закончиться, но конец не наступил, и молодого чиновника перевели по службе подальше от мест, где у него возникали бредовые идеи, а тем временем девушка родила ребенка.

Его сына! И молодой человек немедленно послал за ребенком, чем упрочил за собой репутацию «сентиментального олуха». На протяжении семи лет ребенок неотлучно находился с отцом; он проживал с ним на катере, когда чиновник был в разъездах; он жил у него в доме, где за ребенком ухаживала туземная нянька — жена одного из слуг; а потом, когда мальчишка подрос, его отправили в Австралию учиться.



За это время умер муж девушки из Онтонг-Джавы, а здесь существует обычай, что вдова должна не менее пяти лет прожить на могиле мужа. Именно прожить, а не посещать, и вести жизнь в «рубище на пепелище» в буквальном понимании этого выражения. Вдовы сооружают своими силами надгробные памятники и поддерживают порядок на кладбищах. Между рядами могил, отмеченных большими кусками коралла, безутешные вдовы ставят на палках навесы, где

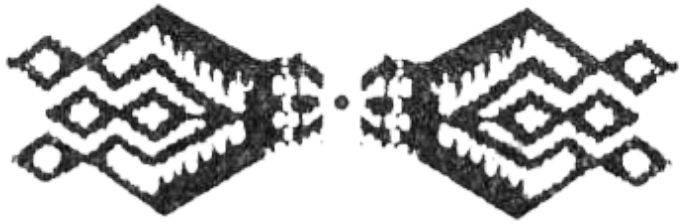
круглосуточно и долгие годы подряд размышляют о покойнике, которого, быть может, вовсе и не любили. Площадь самого большого островка атолла менее одной квадратной мили, а кладбища очень тесны и представляют собой частокол белых, высеченных из коралла высоких столбов, близко прижатых один к другому.

Хотелось бы знать, о чем размышляла молодая вдовушка все эти годы, приглаживая песок около могилы, зная, что ей придется заниматься этим много лет, в то время как «он» жив и находится не так уж далеко.

Интересно также знать, почему господин чиновник не вернулся к когда-то любимой девушке и что стало с ее сыном?

Чтобы закончить эту почти кинематографическую повесть, имевшую для нас глупейший конец, сообщим, что чиновник так ни на ком и не женился, а юноша, с которым он так интимно обращался, был его родным сыном. А нашей моделью чистокровного представителя онтонг-джавской группы был родной брат той самой девушки.

Так прошли «День и ночь».



Глава двадцать седьмая



Ни в Меланезии, ни даже в Папуа, знаменитой своими охотниками за черепами, нет такого культа головы, как на Бугенвиле — острове западной группы Соломоновых островов. Обычно охотники за черепами сводят свое нехитрое занятие к обрубанию голов врагов; жители западных островов идут несколько дальше и отрубают головы даже друзьям. Темнокожие обитатели Бугенвиля добрались до голов своих детей, но не отрубают их, а уродуют до изумления. Идеальной считается форма остроконечной пули или длинной тыквы, и такие очертания придаются только головам детей мужского пола. Вскоре после рождения ребенка, покуда черепные кости еще достаточно мягкие, голова туго забинтовывается лубяными волокнами, причем повязка периодически стягивается возможно туже, чтобы придать черепу удлиненную форму. В такой повязке ребенок ходит до трех и даже до четырех лет. Когда голова мальчика приобретает остроконечные очертания, повязку снимают и немедленно начинают подготовку к вступлению мальчика в тайное мужское общество. С этого момента его никогда не стригут, а когда мальчик достигает зрелости, он надевает

напоминающую китайский фонарик высокую шляпу, куда прячутся выросшие волосы. Такая шляпа носится шесть месяцев и является частью вступительной церемонии. Через полгода шляпу снимают и, как утверждают специалисты, сжигают.

Освободившись от шляпы, как бабочка от кокона, молодой человек предстает остриженный перед своей невестой, получающей возможность любоваться тыквообразной формой головы своего жениха.

Прочитав вышеприведенное описание, мы решили отправиться в Бугенвиль писать тыквоголовых людей, так как ничто иное не могло дать лучшее представление о странных обычаях западных островитян, как портрет остроголового человека. Для этого нам нужно было добраться до Бугенвиля... Однако это не просто, хотя Бугенвиль — один из Соломоновых островов — находится буквально рукой подать от Файси, конечного порта, куда заходят здешние пароходы. Сложность в том, что Бугенвиль лежит по ту сторону границы территории Новой Гвинеи.

Для того чтобы попасть на территорию Новой Гвинеи, надо с Соломоновых островов вернуться на «Матараме» в Сидней, сесть на другой пароход, и отправиться в Рабаул — административный центр Новой Гвинеи, — и оттуда начинать путешествие до самой Кисты, находящейся на восточном берегу Бугенвиля.

Между тем южная оконечность Бугенвиля находилась всего лишь в четырех милях от острова Шортленд, входящего в состав британских Соломоновых островов. Такое расстояние мы могли переплыть на лодке или на любом паруснике, но на южном берегу Бугенвиля не было места, где наша экспедиция могла бы расположиться, а ближайший поселок с белыми людьми находился в Киете. Мы могли бы нанять в Файси катер, если только у кого-нибудь имелся запас горючего для двухсотмильного рейса; мы могли бы подождать в Файси

попутного катера, если бы, скажем, кому-либо надо было отправиться по делу в те края, но нас предупредили, что подобные оказии бывают не чаще одного раза в столетие.

Другим выходом было отступление, то есть отъезд в Сидней без всякой гарантии, что мы там заработаем достаточно денег на новую поездку в эти края.

Прибыв в Файси на «Матараме», мы сразу перестали беспокоиться о своем будущем, так как наш благодетель капитан немедленно устроил нашу судьбу, договорившись со здешними резидентами о нашем пребывании сроком на шесть недель, то есть до следующего прихода «Матарама». Шесть недель — большой срок! Мало ли что может случиться за шесть недель. Иногда многое случается за шесть минут, и на этот раз, как только «Матарам» приготовился отдать якоря, выяснилось, что в Файси установлен длительный карантин из-за вспыхнувшей эпидемии кори.

(Наши мысли о «Божьем ковчеге» никак не могут быть напечатаны на бумаге.)

Жители Файси, ожидавшие три года отъезда в отпуск, плавали на лодках вокруг «Матарама» и были в отчаянии, что им не разрешали подняться на борт. Среди них была наша будущая хозяйка, сначала упрашивавшая нас съехать на берег, а потом советовавшая остаться на пароходе. Мы отлично понимали, что, сидя на берегу, мы подвергнемся карантину, который может продолжаться до бесконечности, и что за это время случится столетняя оказия, которой мы не сможем воспользоваться. Жить и работать во время эпидемии кори вещь невозможная. А потому мы остались на борту «Матарама». Если бы в Файси не было нехватки горючего, нас могли прямо с «Матарама» перегрузить на катер и мы отправились бы к цели, не заходя в районы карантина.

Ах, почему мы не захватили из Сеги нашей собственной лодки!

Очевидно, грузчики копры не относились к числу разносчиков заразы, и погрузка шла своим порядком с гиканьем, грохотом, гудками и прочими атрибутами. Солнце поднималось все выше, время шло ужасающе быстро, и скоро Должен был наступить миг, когда раздастся последний вопль грузчиков, а вслед за ним загрохочут цепи выбираемого якоря. Тогда нашей экспедиции не останется ничего Другого, как отправиться в каюту и плакать горькими слезами о том, что в нескольких милях к северу от нас, в морской дали, виднеются голубые полоски берегов Новой Гвинеи, похожие на лепестки цветка, качающиеся на ослепительно сверкающей воде.

На протяжении часа наши решения менялись при каждом тикании секундной стрелки. «Матарам» отправлялся в Рендова, то есть в место, откуда мы только что прибыли. Мы решили туда вернуться и ожидать лучших времен или, по крайней мере, снятия карантина в Файси. Тут же мы вспомнили, что наш последний хозяин был готов утопить нас в ложке воды, и только приход «Матарама» принес ему избавление от нашего общества. Тогда, пожалуй, лучше подвергнуться опасности эпидемии кори или даже вернуться в Тулаги и поселиться в гостинице.

Вдруг послышался леденящий кровь рев грузчиков, означавший конец погрузки. В эту минуту мы как раз решили остаться в Файси и направились к капитану, чтобы пожелать ему всех благ. Капитан не сказал ни слова, как всегда прищурился, оглядел нас с головы до ног и, взяв бутылки, начал готовить знаменитый коктейль «Матарам». Это продолжалось довольно долго, после чего он налил три бокала, и мы впервые увидели, что капитан выпивает, находясь на борту судна.

— За здоровье охотников за головами! — сказал он, приветливо посмотрев на нас.

Мы выпили и поперхнулись: в эту минуту на палубе раздался громкий окрик, означавший, что справа по борту подходит судно. И это судно шло под флагом Территории Новой Гвинеи.

Ничего подобного не случалось и раз в столетие: какой-то чиновник из Рабаула должен был по срочному делу ехать в Австралию и, не располагая временем, чтобы дожидаться рейсового парохода, нанял моторное судно и отправился сюда, чтобы сесть на «Матарам», возвращавшийся в Австралию. Высадив чиновника, моторное судно должно было вернуться в Рабаул.

Тут мы распрощались по-настоящему и, только очутившись вместе со всем своим имуществом на борту «Накапо», поняли истинное значение прощания с нашим капитаном. Наступил поворотный момент в жизни нашей экспедиции, и отныне мы должны будем собственными силами прокладывать путь к сердцу наших будущих хозяев, без рекомендаций всемогущего в своих владениях шотландского капитана, без предварительных сообщений о наших достоинствах, благодаря которым наши хозяева, не видав нас в глаза, любезно нас принимали.

Конец прекрасным дням, наступавшим каждые шесть недель, когда мы приходили как к себе домой на «Матарам», где у нас была как бы собственная каюта, где по ту сторону обеденного стола сияло чудесным, приветливым и каким-то родным светом такое близкое нам лицо.

— Будьте счастливы! — кричали мы ему. — За наши дальнейшие встречи в открытом море!

И мы посылали нашему капитану знаки благословения и приветствия, а он стоял на мостике, высоко подняв в руке бокал. Солнечный свет заливал багровое лицо капитана, а «Матарам», подняв якоря,

медленно разворачивался к западу и брал курс на Сидней.

И, слава судьбе, он отправлялся туда без нас…



Глава двадцать восьмая



Обычная стоимость проезда на Соломоновых островах — пять долларов за человека в сутки, независимо от того, плывете ли вы на настоящем пароходе из Сиднея или на еле двигающемся катере. Никому нет дела до того, хороша или плоха погода, тарахтит ли мотор, или капитан прочно посадил судно на риф, вместо того чтобы плыть по маршруту; пассажир располагает единственным правом — стиснув зубы платить по пять долларов в сутки и ждать, пока ему посчастливится попасть в родной порт.

Такая история случилась с нами во время рейса на «Накапо», и наше дурное настроение объяснялось тем, что мы должны были платить десять долларов в сутки.

Второй причиной, портившей нам настроение, был немецкий капитан. Нас не беспокоила его национальность, поскольку мы выросли после Первой мировой войны, когда Лига Наций нам втолковывала, что все люди равны между собой и что немцы ничуть не хуже любой другой нации.

Но, как известно читателю, острова Новой Гвинеи до Первой мировой войны принадлежали Германии, и, когда их захватили австралийцы, они экспроприировали имущество германских граждан и поступили точно так, как поступили бы немцы, если бы дела приняли другой оборот. Все германские подданные, активно сопротивлявшиеся вторжению австралийцев, были

сосланы в австралийские концентрационные лагеря. Ни одному немцу не позволили после войны возвратиться на острова. Однажды мы познакомились на Яве с таким немецким эмигрантом, который не без гордости рассказывал нам, что, когда австралийцы вторглись на острова, он вместе с другими немцами скрылся в горах. В соответствии с заранее разработанным планом, там поставили радиостанцию и передавали разведывательные сведения о численности и местоположении австралийцев немецким кораблям, бороздившим воды Новой Гвинеи. Австралийцы перехватывали радиосообщения, но долго не могли обнаружить в горных зарослях местонахождение немецкой радиостанции.

Принадлежавшие немцам плантации были «ликвидированы». Специальный комитет устанавливал их стоимость, а если единогласия в комитете не было, то устраивался аукцион. Вырученные деньги шли «на оплату претензий граждан союзных или дружественных государств». Остаток суммы, если таковой обнаруживался после погашения частных претензий, передавался в счет уплаты репараций и делился между союзными державами. Прежний владелец плантации не получал ни гроша; ему предоставлялось единственное право — купить собственное имущество на аукционе, что и происходило в 1920–1921 годах.

Многие англичане и австралийцы отрицательно относились к США за позицию, которую те занимали во время Первой мировой войны. Немцы тоже не позабыли нашего участия в войне, а вместе с ними и наш немецкий капитан — в прошлом богатый владелец крупной каучуковой плантации, а теперь жалкий шкипер моторной шхуны, на которой он перевозил что угодно и куда угодно, одновременно занимаясь вербовкой рабочей силы и прочими видами бизнеса. Этот шкипер пламенно возненавидел нас — двух американок. Взяв

нас по настоянию капитана «Матарама» в качестве пассажиров, немецкий шкипер, по всей видимости, решил использовать представившуюся ему возможность свести счеты с США.

Наше знакомство началось в условиях непрерывной любезности с нашей стороны, хотя ничего хорошего мы не могли ожидать от «Накапо» — шестидесятипятифутовой моторно-парусной шхуны, напоминавшей неуклюжий буксир и провонявшей ржавой селедкой и трюмной водой. На шхуне было два трюма: большой носовой для груза и крохотный кормовой, имевший надстройку, изображавшую каюту. Сейчас все это было завалено мешками копры, и нам в качестве места проживания были предоставлены двое носилок, стоявших по обе стороны стола, почти целиком заполнявшего все место на задней палубе. Чтобы пройти мимо стола, нужно было либо убрать носилки, либо ползти под ними или по столу. В пространстве примерно в фут шириной, между столом и стенкой надстройки, находилось штурвальное колесо. Рулевой матрос, забравшись с ногами на стол, вертел штурвал, ухватив ручку пальцами ног. Руками он пользовался, только чтобы почесаться или закурить глиняную трубку с длинным чубуком. Это был юноша из Новой Британии с синими знаками своего племени на широкой челюсти и короткой, уходящей в плечи шеей. Пока мы смотрели на него при свете вспыхивающей спички, горе разлуки с нашим дорогим шотландским капитаном и страх, который мы испытывали, покидая уютные Соломоновы острова, — все исчезло. В этот момент нас вновь охватило взволнованное ожидание, испытываемое путешественником, отправляющимся в далекий путь.

Справа по борту поднялась луна, и я стала, сама того не желая, засыпать, убаюканная ровным рокотом мотора. Засыпая, я думала, как хорошо путешествовать на шхуне, особенно если она направляется в Киета.

Потом наступил рассвет; рулевой по-прежнему сидел над моей головой, правил босой ногой, освободив руки для почесывания, и все казалось мне прекрасным, хотя вместе с тем что-то было неправильным. Солнце оказалось почему-то слева, а берег Бугенвиля справа. Если мы идем к северу, то все расположение должно быть иным! Когда рулевой посмотрел в мою сторону, я спросила:

— Шхуна идет в Киета?

— Нет... — И он назвал какой-то пункт, мне не известный.

Как бы он ни назывался, но шли мы к югу. Маргарет мирно спала, и солнце освещало ее безмятежный вид с задравшейся на голову пижамой. Никого это не интересовало, и даже кок, принесший тарелки, оловянные чашки, ножи и вилки, не посмотрел в сторону Маргарет; здесь видали и нечто похлеще. Когда кок начал швырять посуду на стол, я подошла к Маргарет, чтобы помочь убрать носилки, мешавшие коку подойти к столу, но кок предпочитал накрывать стол так, будто играет в городки.

Вскоре принесли завтрак; заплесневелый хлеб, консервированную рыбу, крепкий чай, сухое молоко и консервированное масло. Это все не так плохо, но и не хорошо (мы удивлялись, неужели так кормили приехавшего на шхуне представителя администрации?).

Шкипер к завтраку не явился, и мы решили, что он чрезмерно вежливый человек. Затем нам принесли по ведру горячей и холодной воды, и так как здесь не было уединенного места для мытья, то мы были вынуждены совершать туалет прямо на палубе, за спиной рулевого, частично скрытого от нас надстройкой каюты. Что касается уборной, то она представляла круглую дырку в гакаборте, над которой свешивалась тряпка. Уступая храму в Сеги, она все же давала возможность любоваться приятными пейзажами лучше, чем любая

другая. Подобно французской уличной уборной, она создавала посетителю иллюзию уединенности, одновременно возвещая всему миру, созерцающему ноги, выступающие из-под тряпки, что место занято.

Почему же мы идем на юг?

Это мы поняли, когда наша шхуна тихо вошла в какую-то бухту и бросила якорь. На берегу не видно было ничего, кроме зарослей. Некоторое время спустя со шхуны в шлюпку спустилось несколько туземцев, а затем появился шкипер в пробковом шлеме и одетый, будто он собирался отправиться на берег. Он даже не поздоровался с нами. Мы подошли к нему и спросили, что означает наше путешествие в южном направлении. Оказывается, он предпринимает поездку по вербовке туземных рабочих.

За каждого рабочего, завербованного для золотых приисков Новой Гвинеи, платят в Рабауле сто долларов. Вербовка проходит с трудом, так как на островах стало известно, что рабочие в высокогорных районах, где ведется добыча золота, мрут от болезней и истощения. Видимо, наш шкипер решил использовать удобный случай посещения самой дальней окраины территорий Новой Гвинеи. Ведь даже если ему не удастся завербовать рабочих, то, получая от нас десять долларов в день, он в убытке не останется.

Но не этот меркантильный расчет привел нас в ярость, а попытка отвязаться и сойти на берег без нас. На каком основании? Может быть, именно ради этих чертовых куличек, где можно обнаружить интересные типы людей, мы отправились сюда, на Новую Гвинею. Возможно, что мы находимся как раз там, где мучают детей, создавая из них дикарей с головами химер.

— Подождите нас… — просили мы.

— Нет… — решительно сказал шкипер. — Эта прогулка слишком затруднительна для двух леди.

— Мы не леди… — сказала я и схватила мольберт. Тут вмешалась Маргарет. Я не могу точно сказать, как она обошлась со шкипером, но Маргарет всегда умела воздействовать на людей, отвечавших нам несогласием.

Что захватить с собой на берег? Наши сборы напоминали спасение вещей из горящего дома. Мы захватили краски на случай встречи с моделями; цветные карандаши (рождественский подарок от капитана «Матарама»); фотоаппарат (с пленками, подаренными тем же верным другом). Я швырнула в сумку нарезанный к завтраку хлеб, и, пока шлюпка еще не отчалила, я захватила зубные щетки и коробку с хинином. Ведь я не знала, сколько времени продолжается операция по вербовке рабочей силы.

— Быстрее! — крикнула мне Маргарет, успевшая вскочить в шлюпку и крепко вцепиться в трап. Шкипер был тут же и выглядел в точности, как изображают в кинофильмах прусских генералов.

— Мы не намеревались вас задерживать… — извиняющимся голосом сказала я.

— Разве? — ответил прусский генерал. — Вы провозились целых десять минут.

В этом не было преувеличения, и, сохраняя полнейшее молчание, мы двинулись вперед; конечно, лишние люди и груз замедлили движение.

— Далеко ли мы едем? — осведомилась я.

— Далеко… — последовал ответ.

Поскольку на лодке не было никакого имущества, всегда сопутствующего поездке белого человека, а у матросов не было ничего, кроме обычных сумок, поездка не могла быть длительной. Возможно, что мы собирались ехать далеко, но с тем, чтобы вернуться в тот же день. Однако тогда у нас не будет времени для рисования!

При высадке на берег никто не перенес нас через линию прибоя, что повсюду и всегда делалось как нечто

само собой разумеющееся, а ноги в мокрых теннисных туфлях вряд ли были приспособлены для карабкания на высокий берег. Шкипер начал свой марш в таком темпе, что «леди» рисковали остаться на берегу, если они не научатся вести себя, как подобает «леди», и будут продолжать игру в салочки с немецким шкипером-вербовщиком.

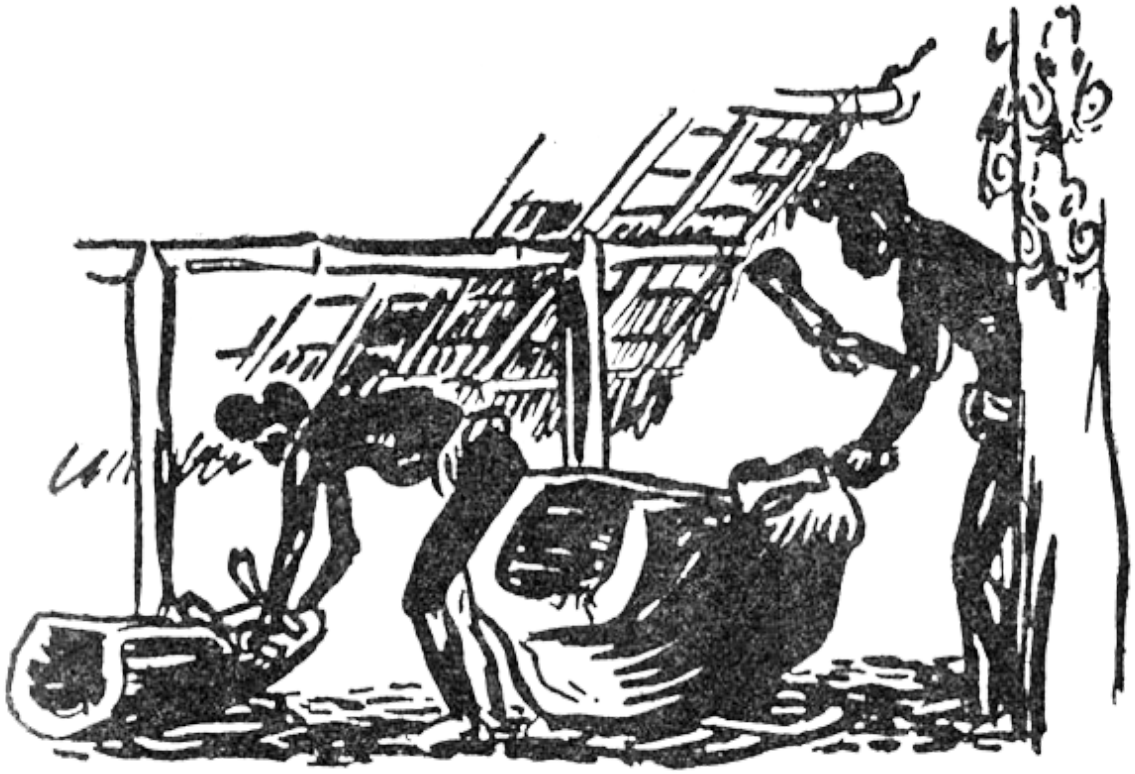
Вскоре мы очутились в хвосте колонны и, несмотря на то что пыхтели как паровозы, непрерывно теряли из виду идущих впереди. Мы шли по относительно ровной местности, по широкой, освещенной солнцем лесной тропе, совсем не похожей на ту, которая когда-то привела меня прямо к малярии. Тропа была сухой и безупречно гладкой (по этой причине через каждые десять ярдов я высказывала пожелание, чтобы немецкий шкипер споткнулся и поломал ноги), и мы двигались по ней относительно хорошо, но как только наши спутники исчезали из виду, мы бежали изо всех сил, опасаясь, что шкипер спрячется в зарослях и заставит нас промаршировать самостоятельно через весь Бугенвиль. Кругом не видно было ни живой души; ни животные, ни птицы не встречались на дороге, хотя из глубины зарослей к нам доносились возгласы лесных духов, которые, как известно, существуют только в форме звуков. Дорога начала подниматься круто вверх, и жизнь показалась нам более горькой: во рту все пересохло, а пот лился ручьями. С дрожью в сердце мы переходили вброд мутно-желтые речки, опасаясь нападения аллигаторов, не успевших сожрать немецкого шкипера. Но мы продолжали идти вперед. При нормальном темпе такая прогулка не представляла трудностей и была бы очень приятна. Более того, она доставила бы много радости при изучении всего, что встречалось нам в пути; но эта беготня на распухших от жары ногах, да еще среди бесконечных роев мух — это нечто совсем иное. Конечно, мы могли вернуться обратно, но, будучи

потомками пуритан, мы думали: чем больше страданий, тем щедрее награда.

В момент, когда мы сильно отстали от всей партии, послышалась нарастающая дробь барабана, совсем не похожая на ту, которую нам приходилось слышать с комфортабельной веранды плантаторского дома. Здесь, в глухом лесу, барабан четко отбивал какое-то сообщение, передавая его точками и тире. Бой этого барабана звучал так, будто где-то впереди разверзся ад. Доведись нам услышать этот звук три дня спустя (после знакомства с жертвой бугенвильского гостеприимства), мы помчались бы назад, к берегу, не пытаясь выяснить, передает ли барабан сигнал к избиению или сводку погоды. Но и сегодня, когда ноги несли нас вперед, мысленно мы бросились назад.

Барабанная дробь прекратилась так же неожиданно, как и возникла, и нас объяла полнейшая тишина. Кто-то таинственный метнулся в сторону от нашей тропы, и мы, перепуганные до изумления, бросились вперед и очутились на широкой вырубке, где увидели всех наших тяжело дышащих спутников. Видимо, немецкий шкипер пытался уморить их тем же способом, что и нас. Никого из посторонних не было, а барабанная дробь слышалась из стоящего посередине вырубки дома, возле которого рядом с огромным барабаном стоял с палками в руках один из наших парней. Как только мы его увидели, он снова принялся барабанить, извещая деревни о прибытии вербовщика. Так как ниоткуда ответа не последовало, мы уселись рядом с остальными и стали ожидать.

Ждать пришлось долго…



Маргарет и я растянулись в тени дома и стали грызть сухари, чтобы заполнить пустоту наших желудков. Мы надеялись, что шкипер умрет от жажды, так как он не потрудился захватить воды даже для себя.

В доме было около десятка больших деревянных барабанов, сделанных из полых, выжженных внутри бревен. Дом представлял собой крытый навес на столбах, а скаты его были украшены множеством белых кабаньих черепов, причем У некоторых сохранились большие клыки. Окруженная высокой стеной зарослей, вырубка вокруг дома имела правильную круглую форму. Сбоку виднелась куча покрытых сажей камней, что указывало на то, что вырубка служила местом для различных празднеств. Может быть, здесь туземцы совершают таинственные обряды посвящения в члены тайных обществ.

Можно себе представить эту вырубку ночью! Посередине горит огромный костер, освещающий стену густых зарослей и ряд белых кабаньих черепов; десять

огромных барабанов сотрясают мрак окружающего леса; старые тыквоголовые колдуны в безобразных масках завывают, одержимые духами; в стороне, дрожа от страха, похожие на рабов из балета «Шахерезада», толпятся посвящаемые в таинство новички, напялив высокие, напоминающие китайские фонарики шляпы.

В момент, когда моя творческая фантазия достигла предела, по тропинке из зарослей выехал темнокожий джентльмен на велосипеде. Это не был старый велосипед, которым мог бы владеть туземец, а современный, обтекаемой формы, сверкающий на солнце хромированными деталями новехонький велосипед, украшенный фонарем. Правда, фонарь не горел, хотя это вполне можно было ожидать. На колесах красовались тяжелые супербаллоны, приспособленные для езды по плохой или скользкой дороге. Сам владелец отлично справлялся с машиной. Мы удивились до такой степени, что спервоначалу не заметили обычной меланезийской формы головы велосипедиста, украшенной прической «помпадур», но увенчанной форменной фуражкой, означавшей, что перед нами сам деревенский староста. Помимо фуражки, на нем были регалии, свидетельствовавшие, что перед нами вождь племени. Сквозь нос у него была продета тонкая, как карандаш, кость длиной в шесть дюймов. Мочки ушей были растянуты большими круглыми серьгами, вырезанными из раковины, а на груди висело ожерелье из самых крупных собачьих зубов, которые мы когда-либо видели. Размер этих зубов ясно доказывал, что они не могли принадлежать местным желтым собачонкам, а имеют прямое отношение к европейским породам собак. (Несколько лет назад во время вспыхнувшей в Сиднее эпидемии бешенства было уничтожено множество собак, а один предприимчивый белый джентльмен экспортировал клыки убитых псов на Соломоновы острова. Возможно, это ожерелье австралийского

происхождения.) Велосипедист был одет в белую майку, и, хотя герб на фуражке свидетельствовал о принадлежности к британской империи, на широком кожаном поясе красовалась пряжка с немецкой надписью «Гот мит унс». Красная набедренная повязка была несколько необычной; на островах Фиджи повязка доходит до подмышек и спускается до икр ног, у малаитян и восточных меланезийцев повязка начинается внизу живота и свисает до колен. У нашего велосипедиста повязка едва прикрывала ягодицы. Поставив велосипед в тень с такой же заботливостью, как если бы это была лодка, староста уселся, и с этого момента началось бесконечное рассиживание. Один из наших спутников, служивший шкиперу переводчиком, передал старосте табак, и сразу завязался разговор, который оживлялся, затихал, прерывался длиннейшими паузами и снова оживлялся, а мы — Маргарет и я — томились беспокойным ожиданием.

Конечно, все это ценное для художника время мы предпочли бы, находясь в деревне, использовать для создания шедевров искусства, изображающих местных жителей с их остроконечными головами. Но кто знает, как ведется вербовка? Может быть, мы вовсе и не попадем в деревню!

Терзаясь мучительными вопросами, я крепко уснула.

Было три часа пополудни, когда меня разбудила Маргарет. Староста и немецкий шкипер направлялись к тропинке, находящейся на противоположном конце вырубки. В деревню!..

Мы слыхали, что немцы пороли туземцев, не уступавших дорогу белым господам, но это было тридцать лет назад. Парни, сопровождавшие немецкого шкипера, были слишком молоды, чтобы помнить об этом, или постарались об этом забыть. Когда мы двинулись гуськом по напоминавшей тоннель лесной тропинке, то

Маргарет и я снова шагали сзади, подобно туземным женщинам.

Деревня располагалась в полумиле от места, где мы только что находились, и была окружена частоколом, крайне напоминая форты времен войны с индейцами. Старинный частокол и ультрасовременный велосипед плохо уживались друг с другом! Нас — дилетантов в этнологии — частокол натолкнул на ряд размышлений, заполняющих целую главу книги.

Рисуя маорийцев Новой Зеландии, мы считали их одной из ветвей меланезийцев, против чего решительно возражали все интеллигентные маорийцы, утверждавшие, что в них нет ни капли негроидной меланезийской крови. Маорийские предания упоминают об истории полинезийских предков, встретивших черных людей с шерстеобразной растительностью на головах (очевидно, меланезийцев), когда первые жители роротонга появились в Новой Зеландии. Полинезийцы никогда не окружали деревень частоколом, а маорийцы — их потомки — это делали, и мы всегда рисовали маорийцев в деревнях, окруженных частоколом. По-видимому, они заимствовали этот обычай от «пухурухуру», то есть от «волосатых черных» людей, обитавших в Меланезии. Перенимание одним народом от другого различных обычаев не обязательно доказывает кровное родство между народами. Увидев перед собой окруженные частоколами деревни и тщательно изучив анатомическое строение маорийских негроидов, мы имели право включить рисунки маорийцев в нашу меланезийскую коллекцию.

Частокол натолкнул нас на мысль, что проживающее здесь население вовсе не столь миролюбиво, как это можно было предполагать по наличию велосипеда, и что деревня нуждается в частоколе как в средстве самозащиты. Вместе с тем эта деревня попала в число контролируемых администрацией населенных пунктов,

что подтверждалось странным внешним видом старосты. Все эти размышления только разожгли наш интерес к обитателям деревни.

Войдя в деревню, мы обнаружили, что она пуста; даже женщины и дети ее покинули. По-видимому, барабанная дробь сделала свое дело еще несколько часов назад. Собаки и те ушли... Небольшая группа мужчин, среди которых не было ни одного остроголового, подошла к шкиперу и старосте, и вся компания уселась в тени пальмы, стала жевать бетель и открыла соревнование по плевкам, причем команда «Накапо», которой запрещалось жевать бетель, пыталась затмить яркость бетелевых плевков местных жителей количеством обычных плевков. Место вокруг вербовочного собрания вскоре стало похожим на тротуар перед табачной лавочкой маленького городка в Соединенных Штатах. Да и разговор был не более содержательным или оживленным. Мы решили побродить вокруг.

Немецкий шкипер, впервые за последние восемь часов, осчастливил нас длинной сентенцией о том, что нам не следует в деревне проявлять излишнего любопытства и что нарушение какого-либо из табу провалит всю его затею с вербовкой.

Мы бродили по деревне, заглядывая во все запертые дома, что не представляло никакого труда, так как дома стояли на высоких сваях и через щели в полу все было видно. Добравшись до окраины деревни, мы заинтересовались архитектурной деталью дома — очень остроумным устройством дверной петли из лианы — и ее сфотографировали. Неожиданно дверь чуть-чуть, не больше чем на полтора дюйма, приоткрылась, и из темноты на уровне наших лиц засверкал человеческий глаз. Мужчина или женщина? Мы решили рискнуть и хладнокровно расстегнули наши пижамы, чтобы доказать свое право на женское общество. Мы ждали

довольно долго; потом щель в двери медленно увеличилась, дверь раскрылась настежь, и показалась женщина; за ней еще одна, потом еще, а затем еще две. Три из них были о различной стадии беременности, а четверо держали на руках, а не как обычно на перевязи, маленьких детей, но ни один ребенок не был изуродован головной повязкой. Некоторые из женщин имели отличный вид: лилово-коричневый цвет кожи, большие прически «помпадур», длинные костяные палочки, продетые сквозь носовые перегородки, и все женщины были гораздо лучше откормлены, по сравнению с теми, которых мы до сих пор встречали. Было очевидно, что мы и они очень довольны встречей. Сначала они выстроились в ряд и, широко открыв рты, глазели на нас, как дети, впервые увидевшие разукрашенную рождественскую елку. Даже ребята не визжали, увидев нас. Мы объяснили это расположение тем, что были первыми белыми женщинами, которых туземки увидели. Нарисовать мы никого не смогли и занялись фотографированием. Тут со всех ног примчался староста; к сожалению, он не говорил на пиджин-инглиш, но он очень «любил» фотоаппараты и ухитрился услышать щелканье камеры, находясь на противоположном конце деревни. Убедившись, что мы фотографируем его жен (а все женщины были его женами), он бросил разговор о вербовке рабочих и примчался сюда, чтобы не пропустить возможности сфотографироваться. Староста выстроил жен в одну шеренгу лицом к солнцу, заставив держать руки по швам, а сам встал посередине и замер в полном экстазе.

Мы извели всю пленку на старосту, снимавшегося то с женами, то с детьми, рядом с домом или велосипедом, без всяких добавлений, но всегда и всюду в форменной фуражке. Немецкий шкипер неожиданно превратился в персонаж из детской сказки об улыбающемся сером волке и стал просить нас возможно больше

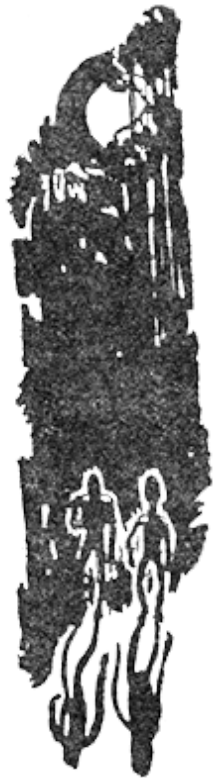
фотографировать старосту. Видимо, мы за полчаса добились при помощи фотоаппарата того, чего немецкий шкипер не сумел бы добиться за несколько часов.

Самым сложным в вербовке рабочих является установление дружественных отношений со старостой деревни или вождем племени, который может заставить жителей послушно следовать за вербовщиком. В старые времена расположение старосты завоевывалось при помощи «белой» магии, но теперь все стало сводиться к преподнесению подарков: ножей, топоров, материи и табака. Максимальная стоимость подарков регулируется законом, иначе подкупленные старосты могут отдать вербовщикам своих односельчан, вовсе не желающих уезжать на работу. Как правило, староста или вождь не имеет права принудить человека к труду, если только это не является формальным требованием государственной администрации. Однако если староста одновременно является колдуном, то в его распоряжении имеется множество способов проявить настойчивость в своих требованиях. Конечно, он будет упорствовать во всех случаях, когда У него с вербовщиком находится общий язык, а если этого языка нет, то он использует свое право запретить односельчанам вербоваться на работы, так как закон требует, чтобы определенное число мужчин всегда оставалось в деревне.



Видимо, в этой деревне слабостью старосты было позирование перед фотоаппаратом. У нас давно кончилась пленка, но мы продолжали наводить и щелкать, покуда немецкий шкипер не перешел к обсуждению деловых вопросов. Снова началось сидение и соревнование по плевкам, которое могло продолжаться ночь напролет. Мы потеряли надежду на встречу с остроголовыми деревенскими жителями и спросили, где же находятся деревни, в которых уродуют детям головы. В ответ мы получили крайне неопределенный жест рукой в восточном направлении, указывавший столь обширный район, что в него могли входить даже Соединенные Штаты Америки. Вскоре с огородов вернулись женщины, имевшие вполне нормальные головы, а с женщинами вернулись дети также с обычными формами голов. Затем вернулись с охоты мужчины, принесшие убитых голубей, а мужчин сопровождали полуживые собаки, которые убили в нас последнее желание оставаться в деревне и дожидаться

заключения договора о вербовке. Невероятно усталые Маргарет и я решили самостоятельно отправиться на берег к лодке, куда мы могли добраться нормальным шагом, без риска быть брошенными на произвол судьбы.



Крайне неприятно путешествовать со стертыми ногами, и дорога казалась нам бесконечной; Маргарет шла впереди, и, если она куда-либо проваливалась, я делала все, чтоб не последовать за нею. Для того чтобы не попасть в петли висевших лиан, Маргарет размахивала перед собой палкой, и так мы путешествовали до тех пор, покуда луна не поднялась достаточно высоко и осветила тропинку. Словно загипнотизированная, я шла в точности по следу Маргарет, и, когда она внезапно остановилась, я натолкнулась на нее. Сначала я подумала, что она наступила на змею, чего я все время опасалась. С наступлением темноты змеи всегда выползают на накалившуюся за день тропинку. Пока не взошла луна, Маргарет трижды отскакивала от лежащих на тропинке

змей, которые при детальном рассмотрении оказывались корнями деревьев. На этот раз она никуда не отскочила, а замерла, как и я, увидев двух туземцев, шедших нам навстречу.

Моя первая реакция была чисто женской: меня охватила паника. Но здесь нечего было пугаться (об этом я узнала потом), хотя неожиданное появление человеческих существ в столь уединенном месте нельзя было считать приятным. Тропинка, по которой мы шли, была похожа на узкое ущелье, одна сторона которого была освещена луной. Тропинка принимала самые фантастические очертания, на которые способны тропические заросли. Какие-то духи печальными голосами кричали, как черный ворон у Эдгара По. Идущие нам навстречу фигуры отбрасывали длинноногие тени, из которых одна принадлежала домовому с чудовищной головой. Как оказалось, это были обычные смертные, которые, явно понимая нашу принадлежность к «господствующей» расе, отошли в сторону, уступая нам дорогу. Мы не воспользовались их любезностью и стали рассматривать внимательно голову домового, на которой была надета шляпа, напоминавшая китайский фонарик.

Следующие двадцать минут были, пожалуй, наиболее интересными и волнующими из всех пережитых нами до сих пор. Предложив туземцам сигареты, мы повернули собеседников лицом к свету и, чтобы лучше разглядеть лица, воспользовались светом зажигалки, от которой они закурили. Первое, что нас удивило, — возраст человека в шляпе; это вовсе не был юноша-новичок, поступающий в тайное общество, а старый, очень старый полуслепой человек. Его глаза вылезали из орбит и настолько ослабели, что с трудом выносили свет зажигалки. Голова его имела остроконечную Форму, а так как человек был лысым, то расстояние от бровей до шляпы составляло не менее

шести дюймов. Это впечатление необычайной высоты лба несколько смягчалось охватывавшей лоб коричневой лентой, посередине которой висели три огромные раковины. К нашему смущению, новые знакомцы не говорили на пиджин-инглиш, но, будучи истинными туземцами, они были вежливыми и не считали возможным двинуться дальше в путь, покуда мы стояли рядом с ними. А мы не торопились расстаться, раздумывая о том, как запечатлеть на холсте остроконечную голову. В конце концов мы уселись на корточки, как это делают местные жители, если хотят с кем-либо поболтать или покурить. Туземцы немедленно последовали нашему примеру. Мы представляли собой очаровательную группу людей, мило беседующих при лунном освещении в джунглях южного Бугенвиля. Думаю, что подобная ситуация вряд ли скоро повторится. Если эти туземцы и понимали, что мы белые женщины, а не мужчины, то по их поведению не было видно, что они придают этому какое-либо значение.

Разговор шел на разных языках: мы на своем, а они на своем, все размахивали руками, кивали головами и хохотали, если кто-либо не мог что-нибудь объяснить. К сожалению, мы никак не сумели дать понять нашим собеседникам, что им следует отправиться вместе с нами на берег.

К моменту, когда мы закурили вторично, положение стало безвыходным. Как правило, жители деревень предпочитают сигаретам табак в плитках, но наши знакомцы взяли по сигарете и, как обычно поступают туземцы в знак вежливости, закурили вторично. Когда второй знакомец — молодой человек без шляпы — несколько замешкался при закуривании, Маргарет осветила его зажигалкой, и мы увидели, что он держит руку на перевязи и что кисть руки распухла от начавшейся гангрены до размера перчатки для бейсбола. Тут нас осенила мысль, и мы решили написать

записку немецкому шкиперу, чтобы он привел обоих наших знакомцев на «Накапо»; мы соглашались оплатить проезд молодого парня до Киеты, где ему может быть оказана медицинская помощь. Тогда мы еще не знали, что ни один белый врач не согласится совершить ампутацию туземцу и что только наиболее искушенные в цивилизованной жизни туземцы могут согласиться на хирургическое вмешательство. Мы просили немецкого шкипера задержать (за наш счет, конечно) «Накапо» еще на сутки, чтобы мы успели написать портрет старика с вытаращенными глазами и остроконечной головой. Громко и четко мы объяснили нашим собеседникам, кому надо отдать в деревне записку, и показали направление. Молодой человек без шляпы, видимо, все понял и в точности воспроизвел наши движения. Когда наши собеседники двинулись в путь, мы помчались на крыльях Пегаса прямо к берегу.

Ночью мы услышали сквозь сон, как к «Накапо» подошла лодка, и были уверены, что приехал шкипер с нашими двумя новыми моделями. Но наутро человека в шляпе не оказалось. По рассказу шкипера, он заявил через переводчика, что у него нет охоты возвращаться на берег. Молодой человек без шляпы не дал себя долго уговаривать и, получив за счет нашей экспедиции три фунта табака, отправился с нами в Киету. Если бы человек в шляпе пришел, то у нас было бы достаточно времени для сеанса, так как «Накапо» стоял на якоре до самого вечера, ожидая завербованных рабочих. Оказывается, соревнование по плевкам кончилось тем, что староста обещал прислать на берег тех, кто соглашается ехать на работы. Никто из присутствующих мужчин, прозаседав десять часов кряду, не мог принять окончательного решения, а на другой день ни одна живая душа не явилась, и немецкий шкипер заявил, что всему виной мы, послав записку через членов тайного

общества остроголовых, являющихся врагами местных жителей.

Появление наших посланцев привело в бешенство старосту, который в нынешних условиях обязан поддерживать мир и порядок, вместо того чтобы заставить врагов бежать под угрозой быть пронзенными меткими копьями.



Глава двадцать девятая



Весь день мы плыли вдоль берегов огромного острова Бугенвиля, и берег был от нас слева, там, где ему следовало быть. Солнце село за горизонт, подымавшийся на восемь тысяч футов к небу; над морем взошла луна, мотор «Накапо» пел бесконечную песню, и снова наступил рассвет. Мы проснулись от грохота цепи отдаваемого якоря. Перед нами лежала Киета, и, увидев ее, мы ощутили то же самое, а может быть, и нечто большее, чем сам Бальбоа[22], когда впервые увидел просторы Тихого океана. Прибытие в Киету было для нас событием. Очутившись на территории Новой Гвинеи, нам не нужно было больше думать о возвращении в Сидней, чтобы оттуда двинуться на запад, являвшийся заключительным этапом нашего путешествия.

Киета как населенный пункт не заслуживает подробного описания. Поселок расположен на возвышенности, окружающей бухту; на вершине горы торчит радиостанция, а по скатам гор разбросано около дюжины белых домиков. Возле пристани стоят три крытых железом здания, являющиеся складами и магазинами; несколько дальше стоят какие-то хибары, похожие на китайское поселение. Сегодня Киета показалась нам прекрасной столицей, поскольку на

протяжении многих месяцев мы ни разу не видели одновременно более одного дома.

Как только «Накапо» поднял карантинный флаг, мы принялись одеваться для выхода в город с тщательностью и волнением, знакомыми любой дебютантке, когда она впервые выходит на столичную сцену. От нашего внешнего вида зависела дальнейшая судьба экспедиции, впервые лишившейся покровительства капитана «Матарама». В Киете не было ни одной гостиницы, и нам надо было искать крова в месте, где каждый человек убежден в правиле «мой дом — моя крепость».

Одеваться на «Накапо» было нелегким делом, поскольку весь туалет совершался на палубе, на глазах всего городка, где каждый житель, вооружившись биноклем, может созерцать довольно необычное зрелище. Нам пришлось, согнувшись в три погибели, залезть в так называемую каюту и в узком пространстве между мешками копры и потолком натягивать на себя элементарные принадлежности женской одежды. Пыхтя и обливаясь потом, но оставаясь в полуголом виде, мы выскочили на палубу, где состоялся заключительный этап надевания платья. Мы знали, что английские женщины в такой же степени, как и туземки, очень щепетильны в отношении освященной обычаями женской одежды. К нашему ужасу, мы не могли надеть обуви, которую не допускали наши растертые до крови, покрытые язвами и волдырями ноги. Кожа на ногах слезала клочьями, особенно между пальцами, и места, где она слезла, были болезненно чувствительными. Наши ноги представляли заслуживающие демонстрирования случаи «пруриго», называемого также «шанхайские ноги». Почему «шанхайские» — неизвестно, так как заболеть «пруриго» можно везде, где жарко, если ходить все время в обуви на резиновой подметке. Здесь, на островах, где бы ни снять защитный

слой кожи, начинается воспалительный процесс. Каким бы нелепым ни казалось такое заболевание, оно представляло для нас большую опасность, так как ноги нужны художнику экспедиции не меньше, чем руки.

Надев чулки и китайские соломенные туфли, мы решили проблему, хотя и выглядели недостаточно шикарными. Затем возник вопрос: надо ли красить губы? Немногочисленные европейские женщины, которых мы встречали на островах, никогда не пользовались губной помадой или лаком для ногтей. Но без этой окраски Маргарет и я выглядели такими бесцветными, что красная полоска могла бы оживить пейзаж, а потому мы тщательно намазали губы и еще с большей тщательностью отделали ногти. Через полчаса мы решили, что, когда ступаешь на неизвестную землю, надо иметь более скромный вид, и мы удалили лак с ногтей и помаду с губ. Еще через полчаса я решила замазать лаком пятна краски, присохшей к моим ногтям, а посмотрев еще раз в зеркало на свое желтое, как чай, лицо, я снова намазала губы. В общем мы были полностью готовы за полтора часа до того, как шлюпка с таможенным флагом отделилась от берега и направилась к нам. Тогда я срочно удалила губную помаду.

В лодке, управляемой туземным гребцом, прибыл белый человек, и, когда он причалил к «Накапо», мы встали позади шкипера, держа наготове паспорта. Таможенный джентльмен не потрудился даже поздороваться и, продолжая сидеть в лодке, затребовал от капитана судовые документы. Наступила тишина, покуда чиновник выполнял необходимые формальности.

— Пассажиры? — спросил чиновник, не взглянув на нас.

— Да… — ответил с явным пренебрежением шкипер.

— Паспорта! — произнес чиновник, не замечая нашего присутствия.

Мы подали ему паспорта, которые он открыл, что-то в них написал, проштемпелевал и протянул вверх, не посмотрев даже, кому он их вручает. Даже если бы мы были японскими шпионами или наши лица покрыты пятнами оспы — его это нисколько бы не заинтересовало. Чиновник приказал гребцу повернуть лодку к берегу, но мы вспомнили о парне с гангреной руки и спросили чиновника, как поступить с больным. Внимательно рассматривая складку на своих брюках, чиновник очень сухо распорядился прислать к нему парня на берег и тут же отбыл, на этот раз окончательно.

Видимо, вся Киета носила на себе отпечаток нелюбезности этого чиновника и была полной противоположностью поселениям на Соломоновых островах.

С первой шлюпкой мы съехали на берег и в ближайшей лавке осведомились о возможности подыскания жилья. Через пять минут мы выскочили оттуда как ошпаренные. Белый владелец лавки был точной копией уже знакомого нам чиновника, только не так хорошо выбритый и более толстый. Он холодно заявил нам, что в Киете нет гостиниц или меблированных комнат и никто не желает держать постояльцев, в том числе и он сам. В другой лавке мы застали немецкого шкипера, беседовавшего с лавочником и еще каким-то господином. Шкипер делал вид, что он нас не знает, и не потрудился познакомить нас со своим собеседником. Для того чтобы выиграть время, покуда в голову придет хорошая мысль, мы решили выяснить возможность приобретения красок.

— Какие краски вам нужны? — спросил торговец.

— Уиндзор-ньютоновские краски для художников… — ответили мы, но наш интригующий ответ пропал впустую.

— У меня таких нет…

— А какие у вас есть?

— Краски для лодок… Краски для стен… Разные простые краски.

— Мы купим немного…

— Сколько вам надо?

— Не знаем… Покажите нам, как она расфасована, — сказали мы, подумав о жестяных баночках.

— Если вы скажете, сколько вам нужно, — мрачным голосом сказал торговец, — я могу продать вам любое количество.

Оказывается, краска хранилась в огромных бочках, и тогда мы повели разговор о цвете красок. После долгих переговоров мы заказали пинту какой-то неизвестной желтой краски и получили возможность узнать, где стоят бочки, и выбрать то, что нам было нужно.

В дни нашего посещения в Киете находилось шестнадцать белых резидентов. Кое-кто из жен уехал на юг, а полицейские офицеры разъехались по районам. В лучшие дни поселок насчитывал не больше двадцати пяти резидентов, тщательно отделенных друг от друга различными степенями общественного положения. Чиновники и их жены входили в высшее сословие; ступенью ниже располагались оба торговца, но и они между собой не были равными по положению, так как один из них англичанин, а другой австралиец. К «неприкасаемым» принадлежали китайцы, туземные миссионеры и… американцы, если только они имелись налицо.

Все подробности о Киете мы узнали за завтраком от радиста, пригласившего нас к себе в дом, стоявший на вершине холма. Радистом оказался тот самый господин, который беседовал со шкипером, не пожелавшим нас познакомить. Радист представился без посредников и сразу предложил Маргарет краски, находившиеся у него дома. Это был огромный дом с бесконечным количеством свободных комнат, но нам не было предложено ни

одной. Это вам не позабытые Богом Соломоновы острова, где две женщины могут прожить шесть недель под одной крышей с холостяком хозяином, не рискуя подвергнуться суровому общественному осуждению.

Слабыми и невнятными голосами мы сказали, что готовы перенести самое суровое общественное осуждение, лишь бы нам предоставили возможность побыть в Киете достаточно долго, написать портреты тыквоголовых туземцев и сделать ряд зарисовок. Даже эти намеки не натолкнули молодого человека на мысль предложить нам одну из многих пустых комнат, и мы очень пожалели о своей принадлежности к женскому полу и о чрезмерной порядочности нашего собеседника. Видимо, только прямая попытка соблазнить этого молодого человека могла бы убедить его, что мы — женщины сомнительной репутации.

С высот радиостанции мы спускались все ниже и ниже по ступеням социальной лестницы, покуда достигли китайского поселка, где почувствовали себя в своей тарелке. В этом ряду домиков-лавочек китайские купцы и их маленькие косоглазые жены встретили нас с поклонами и улыбками. Стоило нам остановиться, как в тени пальмы ставились кресла, а подростки обмахивали нас опахалами и приносили стакан воды. Никто не пытался нам что-либо продать; это были приятнейшие люди, вызывавшие в нас чувства симпатии. Но остановиться здесь было негде; в каждом домике-лавочке проживали десятки детей, не считая матерей с толстыми грудными младенцами.

Мы решили вернуться на «Накапо», сменить наши наряды на привычные пижамы и тем самым показать кукиш Киете. Возвращаясь из китайского поселка, мы наняли двух велосипедистов, чтобы они довезли нас до пристани. Длина дороги, образующей приморский бульвар Киеты, менее мили, но половина передвигающихся по ней туземцев была на велосипедах.

За плитку табака туземные велосипедисты согласились бежать рядом, подталкивая нас сзади. Наш обратный въезд в деловой квартал Киеты был шумным и триумфальным. Несколько смутившись вначале, молодые туземные парни, толкавшие велосипеды, вошли во вкус и, подымая облака пыли, бежали во весь опор. Встречные туземные велосипедисты в изумлении соскакивали наземь, пешеходы уступали дорогу, но все они, широко раскрыв рты, дружно хохотали.

Мы лихо подкатили к лавке купца-англичанина; наши ноги болтались из стороны в сторону, шлемы съехали на затылок, а толкавшие парни восторженно приветствовали Маргарет, сумевшую меня обогнать. Слезая с велосипедов, мы пожали руки нашим велосипедистам и неожиданно очутились лицом к лицу с молодой парочкой, пристально нас Рассматривавшей. Сначала их улыбка показалась нам дружелюбной, но в таких суждениях надо проявлять осторожность, особенно когда имеешь дело с англичанами. Возможно, они посмеивались над нами, что гораздо характернее для обитателей Киеты. Еще минута, и им пришлось бы или перестать смеяться, или же заговорить с нами, так как мы должны были пройти мимо них. Но кризис разрешился без всяких последствий, так как именно в эту минуту оторвалась пуговица от моего платья, и, пока мы нагнулись за ней, молодая парочка скрылась в магазине.

Нитка, на которой держалась пуговица, решила исход нашего набега на Киету в поисках моделей.

Впоследствии от друзей, приобретенных в Рабауле, мы узнали, что эта парочка, видимо являвшаяся лучшими представителями местного английского общества, разоделась в пух и прах, отправилась в жару на пристань только для того, чтобы пригласить погостить в их доме (радист успел им рассказать о достоинствах Маргарет). А мы так их — шокировали!..

Вернувшись на «Накапо», мы узнали, что парень с гангренозной рукой не остался в Киете и ушел пешком в южный Бугенвиль, не пожелав даже обратиться к врачу.

Глава тридцатая



Мы решили отправиться в Рабаул! Неожиданно эта мысль показалась нам блестящей, и мы твердо уверовали, что чем скорее мы очутимся в Рабауле, тем лучше будет хотя бы потому, что Рабаул является столицей Территории, наиболее крупным городом во всей Меланезии, а мы давно мечтали пополнить наш сильно оскудевший запас денег. Постоянным напоминанием об острой необходимости пополнить запас средств было наше судно, продолжавшее торчать в этой поганой Киете. Мы все время опасались съехать на берег, так как шкипер предупредил, что судно может сняться с якоря в любую минуту. Так продолжалось двое суток, покуда шкипер не закончил свой большой бизнес. Все же на следующий вечер мы отправились на званый обед. Местный радист прислал нам приглашение, в котором сообщал о желании познакомить нас со своими друзьями. Нам вновь пришлось преодолеть все мучения с переодеванием и решать проблему применения губной помады. Мы не сомневались, что в качестве друзей приглашены только те, кто мог помочь нашей экспедиции. Эти доброжелатели оказались слишком милыми и привлекательными, чтобы входить в состав высшего сословия, которое одно могло нас спасти. Это были трое молодых людей, состоявших на государственной службе. К концу вечера они

разработали замечательный план помощи экспедиции, «терпящей бедствие».

Они предложили нам полный комплект полевого экспедиционного оборудования (носилки, противомоскитные сетки и кухонный инвентарь), предоставили в наше распоряжение двух слуг и разрешили нам занять в ближайшей от Киеты деревне дом для представителей администрации.

Мы приняли их проект всерьез.

Вскоре выяснилось, что все это лишь шутка. Этого нельзя сделать!

— Почему? — спросили мы.

— Потому что так никогда раньше не делалось…

— Кто-либо будет возражать против нашего пребывания в доме администрации?

— Нет… Вряд ли… Но, видите ли… Это необычно… Вдруг две белые женщины живут в одиночестве в деревне… Это не принято.

И пошло, и пошло… Мы считали, что хотя это и необычно, но почему не испробовать. Если же местный начальник запретит нам проживать в доме представителей администрации, то нам не останется ничего другого, как откупить в собственность полевое экспедиционное снаряжение и жить там, где нам вздумается. Странно, почему мы не подумали раньше об этой дешевой и прекрасной жизни в деревне, где мы быстро подружимся с местным населением и не будем преодолевать трудностей при подыскании моделей. Дело только в том, чтобы доказать местному начальству, что мы не какие-то жалкие леди, а настоящая экспедиция.

Возвращаясь на «Накапо», мы твердо решили с утра привести наш замысел в исполнение. Однако, добравшись до пристани, мы коренным образом изменили наши намерения в отношении жизни на Бугенвиле. На пристани в ожидании шлюпки с «Накапо»

стоял худощавый молодой человек с огромной повязкой на ноге; тут же стояли полицейские с багажом, принадлежавшим молодому человеку.

— Ну, как, Сэмми… — приветствовал его провожавший нас радист. — Наконец-то едешь в госпиталь? Как твоя нога?

— Да из нее все еще лезут зубы летучей мыши… — ухмыльнулся Сэмми.

Мы познакомились с новым пассажиром и узнали, что «Накапо» через час уходит в рейс.

— Мы не едем на «Накапо», а остаемся здесь и будем жить в какой-нибудь деревушке, — заявили мы хвастливо.

Наступило молчание, после чего Сэмми спросил:

— А местный начальник знает об этом?

— Нет… — сказали мы. — Завтра мы ему об этом скажем.

— Но завтра «Накапо» будет уже далеко в море… — с беспокойством сказал радист. — И мне придется жениться на ком-либо из вас, чтоб дать вам приют.

— Не знаю, повлияет ли это на ваше решение, — прервал его Сэмми, — но именно в деревне я получил ранение в ногу, которая теперь полна зубов летучих мышей. Не сомневаюсь, что местный начальник не позволит вам поселиться вдвоем в деревне, даже если она будет на расстоянии одной мили от Киеты. Он не захочет неприятностей ни для себя, ни для вас. Нельзя доверять населению Бугенвиля.

Наш замысел рухнул, так как Сэмми говорил с полным знанием дела, поскольку он занимал должность полицейского офицера. Свое ужасное ранение он получил в туземной деревне, расследуя загадочную смерть одного из туземцев, последовавшую в результате посещения деревни каким-то белым человеком. Хотя Сэмми был ни при чем, но жители действовали по принципу «око за око». Сэмми с

полицейскими, потеряв одного человека убитым, бежал, получив ранение копьем в ногу. То, что он не умер, было просто чудом, так как даже в момент знакомства с нами острие копья торчало у него в бедре. Зубы летучих мышей прикрепляются клеем к острию копья таким образом, что вынуть их из раненного тела очень трудно, особенно если они попадают между костями. Когда Сэмми пытался извлечь острие, оно сломалось и конец остался в ране.

Событие произошло две недели назад, и, хотя копье не было отравленным, процесс воспаления давал себя знать.



Местный врач извлек добрый десяток зубов из раны, но их было слишком много, и они продолжали выходить из раны наружу. Нога была сейчас в таком серьезном состоянии, что Сэмми надо было срочно ложиться в больницу, находившуюся в Рабауле. До прихода «Накапо» в Киету не было возможности отправить больного в Рабаул. Сэмми был лишь одним из многих

страдальцев на «Накапо»; подъехав к трапу шхуны, мы почуяли запах других жертв Бугенвиля.

Трехдневные поиски бизнеса принесли шкиперу «Накапо» ощутительные результаты, так как к моменту выхода в море на «Накапо» находилось шестеро белых и сорок один туземный пассажир, которым надлежало проплыть до Рабаула три сотни миль на судне, имеющем в длину всего лишь шестьдесят пять футов и лишенном пригодных для лежания мест. К туземным пассажирам относились команда судна, сопровождавшие Сэмми полицейские и вновь завербованные рабочие. Впрочем, один туземец составлял исключение: он только что убил свою жену новеньким топором, и ехавший с нами французский католический священник отвозил убийцу в Рабаул, где его должны были предать суду.

В момент отплытия мы не видели наших спутников и лишь утром за завтраком встретились с «белыми элементами», усевшимися вокруг стола. Это было невиданное сборище необычных лиц, к которым мы причисляем и нас... Справа, на койке в конце стола сидел католический священник, не говоривший по-английски. Это была странная личность с тщательно обритой головой при небритом, поросшем чем-то непонятным лицом. Скорее всего, это была черная щетина, делавшая еще более страшной голову священника и без того напоминавшую голый череп с горящими в нем черными глазами. На священнике была выцветшая, лоснящаяся от пота ряса, от которой так воняло, что сопровождаемый священником меланезиец мог бы упасть в обморок. Но будучи убийцею, он не обладал достаточной тонкостью чувств. Вонь, исходившая от священника, распространилась по всему судну, и без того пропитанному неестественным сочетанием запахов.

Двое других пассажиров, сидевших рядом со священником, напоминали исполнителей эстрадного

номера, именуемого «танец смерти». Круто посоленные янки, они были в данный момент вербовщиками, а до этого золотоискателями, торговцами и даже спекулянтами крупной недвижимостью в штате Флорида. Короче, воплощенные авантюристы. Трудно было себе представить этих двух типов, только что вырвавшихся из адского пекла бугенвильских зарослей, разъезжающими на роскошных, купленных в рассрочку «дьюзенбергах» или кутящими в дорогих барах Флориды с прибывшими на купальный сезон красавицами.



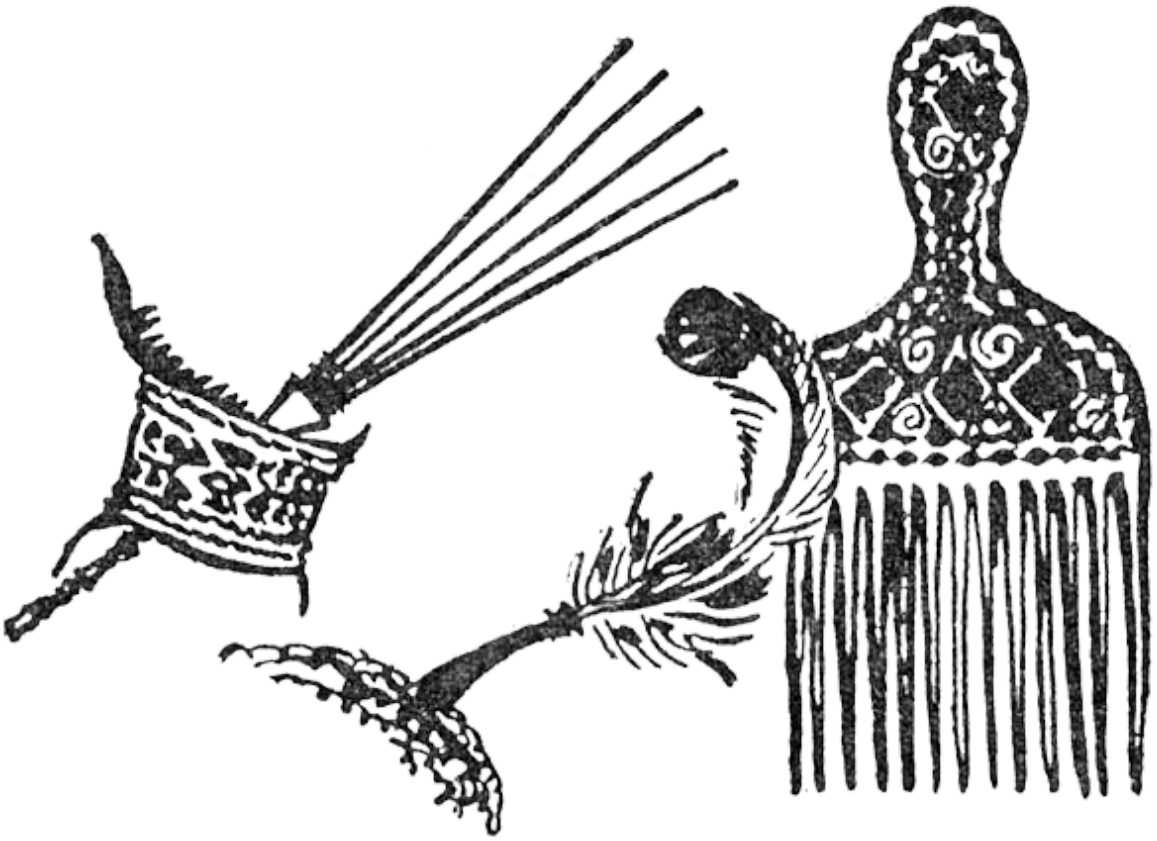
Перевозимые на «Накапо» завербованные туземцы были добычей вербовщиков, компенсировавшей перенесенные лихорадки, сломанные ноги и голодание в

чаще, где носильщики бросили их на произвол судьбы среди враждебно настроенного населения. Смертельно бледные, бритоголовые, поросшие щетиной, они сохранили франтовские замашки флоридских покорителей сердец. Это были тертые парни, но их присутствие доставляло нам радость хотя бы тем, что наши земляки лихо и гнусаво говорили на американском жаргоне, которого мы уже два года не слыхали.

Сэмми — стопроцентный англичанин — смотрел на них с недоумением.

Обеденный стол накрывался скатертью (точнее, полотнищем красной материи, идущей на набедренные повязки; я не сомневаюсь, что этот кусок материи использовался ранее по прямому назначению), за столом молча присутствовал шкипер. Его место было на гакаборте, рядом с гальюном, локтями он опирался на стол, а по другую сторону от него выпячивался зад рулевого матроса. Теснота была неслыханная.

В перерывах между завтраками, обедами и ужинами мы находились на кормовой палубе одни, если не считать наших двух флоридских соотечественников, превративших крышу каюты в свою спальню и посещавших гальюн без всякого стеснения.



Передняя палуба была превращена в мужское спальное отделение. В трюме, набитом мешками копры, ночевала часть туземцев, спавших в ужасающей тесноте и духоте, так как люк трюма задраивался. Кто не помещался в трюме, спал вповалку на палубе. Тут же стояли носилки для троих белых пассажиров.

Три сотни миль — достаточно утомительный переход даже на «цивилизованном» судне, а на «Накапо» это просто пытка. Свое плавание мы начали уверенно, делая по пяти миль в час, но уже на следующее утро мы встали возле какой-то плантации под погрузку дополнительной партии копры. Плантатор, усиленно занятый погрузкой, не обратил на нашу экспедицию ни малейшего внимания, а погруженная им копра вытеснила на палубу трюмных обитателей. Теперь не было буквально вершка, не занятого сидящими, лежащими или стоящими туземцами. С этого момента «Накапо» стал неотличим от

кораблей, когда-то возивших невольников с Золотого Берега.

Судно было так перегружено, что борта в средней части выступали над водой не больше чем на восемнадцать дюймов, а скорость хода снизилась на одну треть. Все это было к выгоде шкипера: чем больше времени займет переход до Рабаула, чем больше будет груз, тем удачнее рейс. Видимо, на шхуне был достаточный запас горючего.

Мы проходили район, отмеченный на имевшейся у Сэмми карте надписью: «Есть сведения о рифах, находящихся в шести милях от берега». Если на карте напечатано «есть сведения», то можно не сомневаться в их правильности. Вопрос только в том, не находятся ли уже эти рифы под днищем нашего корабля.

В примечании, напечатанном на той же карте, говорится: «Поскольку острова изучены слабо, а большинство вообще не изучены, то плавание должно осуществляться с большой осторожностью». Сама же карта составлена по работам Д'Антркасто[23] XVIII века с поправками, внесенными в 1918 году.

Вдруг двигатель шхуны издал хорошо знакомый звук, который слышится перед тем, как мотор глохнет. Мы начали осматриваться кругом в поисках волн и ряби, являющихся признаками наличия рифов. Ничего опасного мы не обнаружили, но когда мотор остановился, нас понесло течением к югу с неменьшей быстротой, чем мы раньше двигались к северу.

Сидевший с нами Сэмми прекратил рассказывать страшные воспоминания о Бугенвиле и отправился в машинное отделение, бросив нам фразу, что шкипер умышленно прекратил работу мотора. Через два часа, когда мотор заработал, Сэмми вернулся и заметил, что задержка принесла шкиперу пятнадцать долларов чистой прибыли.

Следующая задержка была для шкипера еще выгодней. На этот раз рулевой, сидя на столе, заснул, удерживая ногой рулевое колесо. Всю ночь мы описывали огромные круги, не достигнув, впрочем, ни Гавайских островов, ни небесного рая. В ту ночь мы, имея на борту сорок восемь человеческих душ, напоминали легендарное, лишенное экипажа судно, несущееся по волнам. Все следующее утро шли в обратном направлении, чтобы найти ориентиры и лечь на правильный путь. Наши соотечественники-вербовщики выражались по этому поводу довольно крепко.

В перерывах между всякими задержками мы продвигались вперед, усталые и ослепленные блеском воды. Оба вербовщика спали круглые сутки, просыпаясь только в часы еды, а католический священник ел и продолжал благоухать, читая катехизис и не произнося ни слова на каком-либо языке. Его черная фигура образовывала темный силуэт на фоне сверкающей воды, и он казался чуждым на этом фантастическом «невольничьем корабле», таким далеким от мира, в том числе и от своеобразного мира двух спекулянтов флоридской недвижимостью.

Сэмми мы приняли в нашу компанию и предоставили ему возможность проводить весь день в нашем обществе. Он был очень обеспокоен медленностью нашего продвижения вперед, так как рана требовала перевязки и положение становилось все серьезнее. Белые пассажиры бездельничали, а туземцы на носовой палубе трудились, как муравьи.

Они вырезали узоры на бамбуковых ящичках для извести, ремонтировали корзинки, изготовляли гребни из пластинок бетелевого ореха, украшали свои прически и выщипывали волосы на бакенбардах. Некоторые из них нанизывали стеклянные бусы, делая ожерелья, или играли в нескончаемую карточную игру, правила

которой были так сложны, что она непостижима для белого человека. Как женщины за вышиванием, они дружески болтали между собой. Все туземцы, за исключением экипажа «Накапо», принадлежали к пользующимся дурной репутацией темнокожим обитателям Западного Бугенвиля.

За сутки до нашего входа в пролив Короля Альберта, разделяющий оба острова Бука, мы попали в шторм и встречное течение. Тут, по крайней мере, наш капитан был ни при чем. Наступил период смены сезонов, когда влажные муссоны сменялись сухими и ветер ревел как бешеный. С небес в исступленной злобе низвергались потоки воды. Ехавшие на открытой палубе завербованные рабочие тщетно пытались укрыться под несколькими небольшими кусками брезента, но вода лилась на пассажиров отовсюду, несясь потоками по палубе перегруженного судна, зарывавшегося носом в бурное море. Белые пассажиры выдерживали серьезные испытания, сопутствующие морской качке, но вместе с тем аккуратнейшим образом собирались за обеденным столом. На следующее утро после самой штормовой ночи мы гуськом потянулись к завтраку; на этот раз последним шел пахучий католический священник. Все мы теснились вдоль борта и поочередно отдавали дань морю. Хуже всего пришлось Сэмми; тяжело больной, он лежал у самого борта, периодически облегчая ужасную тошноту. Все остальные, за исключением напичканной хинином Маргарет, дополнительно страдали от приступов лихорадки, вызванной похолоданием. Даже американцы вербовщики принялись ворчать друг на друга и стали разговаривать с остальными пассажирами с ядовитым сарказмом.

Путешествуя на «Накапо», мы оценили пачку писем, которую когда-то дал нам прочитать один плантатор. Письма были подлинниками, а частично копиями переписки между двумя белыми компаньонами,

поселившимися на изолированной группе островов, на расстоянии многих миль от белых людей. Через несколько месяцев совместной жизни они поссорились, и одному из компаньонов пришлось построить себе отдельное жилье, находившееся всего в нескольких ярдах от дома, где они раньше проживали совместно. Друзья перестали разговаривать, но компаньонство требовало деловых взаимоотношений, и они стали переписываться, хотя каждому было слышно, как другой отстукивал письмо на пишущей машинке.

Первое письмо от плантатора А. содержало официальную просьбу к плантатору Б. одолжить фунт мелких гвоздей, которые будут возвращены, как только прибудет пароход. В ответ плантатор Б. сообщил плантатору А., что гвозди будут выданы только по представлении соответствующей гарантии, ибо мистер А. является, с точки зрения мистера Б., человеком, который не заслуживает доверия. Ответ последовал в таком же, если не похлеще, духе, и вся корреспонденция, полная бесплодной взаимной ненависти, напоминала поле ожесточенной битвы со взрывами в форме восклицательных знаков и снарядными воронками ругани среди недописанных фраз. Несомненно, что оба джентльмена в первые дни компаньонства находились в здравом уме, но принудительное уединение, когда на протяжении долгих месяцев они должны были видеть только друг друга, сломало их многолетнюю дружбу.

Несколько похожая ситуация возникла у наших спутников-туземцев, и, собственно говоря, не стоило бы обращать на нее внимания, если бы не деление ехавших с нами людей на категории: «ваши люди», «наши люди», «их люди». Один из завербованных рабочих — житель бугенвильских зарослей, никогда не бывавший в море, — заболел морской болезнью и брызнул рвотой на набедренную повязку другого парня, принадлежавшего

к экипажу «Накапо». Курьез заключается в том, что претензии возникли не у пострадавшего, а у бугенвильца, который потребовал отдать ему набедренную повязку матроса, поскольку на ней находятся извержения бугенвильского желудка. Возник конфликт, в процессе которого матрос заявил, что повязки он не отдаст, а в случае продолжения ссоры передаст повязку со следами извержений колдуну.

Поскольку Сэмми был представителем власти, ему пришлось вмешаться в конфликт и указать, что по существующим законам всякое запугивание колдунами является наказуемым.

Бугенвилец пожаловался вербовщикам, что матрос хочет его сглазить. Услышав нечто подобное, жаждавшие скандала американцы вербовщики заявили шкиперу, что если он не прикажет своему матросу вернуть их рабочему все извержения, оставшиеся на повязке, то они (американцы) сделают из него (матроса) отбивную котлету.

Сэмми заявил, что всякий нанесший удар будет отвечать перед судом. Пока разыгрывалась вся сцена, католический священник, засунув нос в свой катехизис, с горящими глазами наблюдал за происходящими событиями, не понимая ни единого слова. Мы с удобствами улеглись на крыше кабины и были бесконечно благодарны бывшим спекулянтам флоридской недвижимостью, в достаточно цветистых выражениях заявивших шкиперу, что это не рейс, а «сволочная затея для выколачивания из нас денег», с чем мы все были согласны. Такие заявления граничили с бунтом и привели шкипера в безмолвную ярость. Казалось, что инцидент на этом закончился.

Но ничего не закончилось; конфликт только вылился наружу. Это было неминуемо с того времени, когда мы потеряли день, бесцельно кружа в открытом море.

В этот день за завтраком шкипер ухитрился обозлить даже Сэмми, заявив, что мы будем стоять всю ночь на якоре в проливе, так как он не рискует плыть ночью среди рифов.

Шкипер мог и не знать здешнего фарватера, но туземный матрос-рулевой должен был его знать. Кроме всего, пролив достаточно глубок для прохода судов из Сиднея, и заявление шкипера было встречено общим молчанием, а американцы вербовщики многозначительно переглянулись.

Вскоре после захода солнца мы подошли к какой-то плантации и отдали якорь под предлогом необходимости пополнить запас пресной воды.



— Не ездите на берег... — загадочно сказал нам Сэмми. — Хотя они вас пригласят к обеду, но я вам не советую ездить.

— Почему? Почему бы нам не отобедать за хорошо накрытым столом, который не качается?

— Потому что обеда не будет, а они вдрызг перепьются и начнут скандалить...

Тут Сэмми начал высчитывать срок последнего прохождения парохода. Живущая здесь семейная пара — бывший моряк и бывшая подавальщица из бара —

крайне напоминала плантатора с лагуны Марово, который беспробудно пил между двумя приходами «Матарама». Нарушая обычный ход событий, муж и жена пытаются время от времени убить друг друга. В данный момент прошла только половина срока между двумя пароходными рейсами, и ситуация была довольно рискованной.

— Ладно, пусть будет скандал! Мы хотим увидеть его воочию… — сказали мы.

Скандал разыгрался такой, какой можно видеть только в кинофильмах о жизни в районах южных морей, и даже еще фантастичнее. И начался он из-за нас.

Как только «Накапо» отдал якорь, появился с приглашением отобедать бывший моряк, необычайно похожий на свой кинематографический вариант: крепко сколоченный и с сильно развитой мускулатурой рук. Шкипер и двое американцев вербовщиков немедленно воспользовались приглашением и отправились на берег. Несколько минут спустя на дорожке, ведущей с холма на берег, появилась не менее крепко сколоченная миссис — бывшая подавальщица в баре — и вторично пригласила нас к обеду. Мы чувствовали себя очень виноватыми, так как знали существующее на островах правило, что все белые женщины обязаны при проезде навещать друг друга. Мы крикнули с палубы, что не придем… У нас было достаточно извиняющих обстоятельств: во-первых, у нас нарывали ноги, а во-вторых, Сэмми и я ожидали очередного приступа лихорадки.

Миссис с обиженным видом удалилась…

Оказалось, что шкипер отправился на берег, не оставив распоряжения об ужине, и нам угрожал голод. Примерно через час, в течение которого мы непрерывно слышали какие-то бессмысленные выкрики миссис и американцев вербовщиков, снова появился бывший моряк с приглашением такого рода, что мы были бессильны отказаться. Он предложил нам принять

горячую ванну, а потом отобедать. Тут капитулировал даже Сэмми, согласившийся сопровождать нас на берег; правда, он крайне обеспокоился, когда по добавочной просьбе бывшего моряка мы захватили с собой музыкальные инструменты (американские вербовщики успели сообщить, что мы «лихо» играем). Мы были рады расплатиться за мытье горячей водой любым количеством песен; мы достаточно их пели ради получения самых обычных обедов.

Карабкаясь на горку, мы были готовы встретить в доме, имеющем столь скандальную репутацию, все что угодно. Каково же было наше удивление, когда мы увидели перед собой голливудскую версию тропического чуда, обычно приписываемого состоятельным плантаторам Малайи и Индии (что, кстати говоря, очень далеко от действительности). Дом и его обстановка были целиком сделаны руками местных жителей из местных материалов по проекту бывшего моряка и бывшей подавальщицы из бара. Очевидно, образцом служил; дом, виденный в кино, но хозяева проявили гораздо больше вкуса. Бамбуковая мебель в стиле модерн — вполне комфортабельная — была изготовлена собственноручно хозяйкой дома с помощью туземных рабочих. Сиденья и диванные подушки были ярких и чистых красок; многочисленные керосиновые лампы были отлично размещены и давали уютное освещение. Двухъярусная, широкая, идущая полукругом веранда, построенная из темного блестящего дерева, была устлана циновками, сплетенными из тонких лиан. Повсюду стояли вазы с цветами, что мы здесь увидели впервые, так как срезанные цветы привлекают муравьев. У входа на веранду были посажены цветы. Отовсюду свисали гроздья орхидей. Это был дом, который можно было со вкусом построить в этом далеком уголке земного шара, если располагать достаточными деньгами. Несомненно, обитатели этого

дома занимались не только пьянством и попытками убить друг друга.

Наше появление было встречено хором приветствий всей компании, усиленно заботившейся об улучшении цвета лица с помощью содержимого винных бутылок, расставленных на изумительном кофейном столике. Нас немедленно заставили — без особого сопротивления с нашей стороны — взять бокалы с коктейлями и провели через высокую столовую в ванную комнату, выходившую на задний двор. Это была комната, о которой можно было только мечтать: она благоухала, как витрина парфюмерного магазина, а на украшенном зеркалом столе, таком огромном, что он напоминал стойку бара, стояли батареи хрустальных, флаконов. Стены залитой светом комнаты были украшены циновками из отлично подобранного золотистого бамбука. Здесь же лежали горы полотенец и купальных простынь, а на полу синий коврик. Пусть Бог благословит всех подавальщиц из баров за это отличное место для мытья, такое чистое и просторное.

Наверху был установлен голубой эмалированный бак для воды, которую мы наливали из стоявших тут же ведер с горячей и холодной водой. Маргарет вымылась первой, и, пока она широко пользовалась имевшейся в изобилии туалетной водой и разными сортами пудры, успела вымыться и я. Так как воды было вдосталь, Маргарет вымылась еще раз, так сказать «в запас».

Мы не хотели уходить из нашего уединения, хотя пробыли здесь более часа; это была неслыханная роскошь за долгие, бесконечно долгие месяцы. Время от времени к двери подходила наша хозяйка и спрашивала у «милых американочек», как они себя чувствуют.

— Не торопитесь… — пела она ангельским голоском. — Я поставила вам прохладительные напитки около двери.

Когда усталые, но чистые, какими не были уже много-много месяцев, мы вышли из ванной комнаты, то увидели шесть бокалов, выстроенных в ряд около двери. За все наше купание мы выпили всего лишь два бокала, но это не остановило нашу гостеприимную хозяйку. Теперь мы были готовы принять участие в обеде, который, несомненно, будет банкетом, если принять во внимание образ жизни, принятый в этом доме. С заднего двора доносились явно банкетные ароматы, хотя там не было видно домашних слуг, а когда мы проходили через столовую, обеденный стол стоял ненакрытым. Все слуги находились на веранде и с лихорадочной быстротой подносили гостям наполненные бокалы и забирали опустевшие. Все присутствующие, за исключением Сэмми, были вдребезги пьяны.

Скандал начался после того, как мы добрых полчаса концертировали. Сначала мы пели те песни, которые сами любили. Затем хозяева резко разошлись в музыкальных вкусах, и бывшая подавальщица из бара стала просить нас спеть любимую ее песню.

— Нет… — решительно заявил бывший моряк, — пусть споют «Минуло все…».

Тут он пытался спеть сам.

— Заткнись… — сказала бывшая подавальщица из бара, но бывший моряк продолжал демонстрировать свое вокальное мастерство.

— Дай им спеть… — взвизгнула супруга, и, не дождавшись, прекращения вокальных выступлений мужа, пошатываясь, пересекла веранду, и угостила мужа увесистой пощечиной.

Я не берусь описывать точного хода событий, но следующий удар был нанесен кулаком бывшего моряка по комплекции супруги. Совершенно неожиданно в драку вмешался американец вербовщик, ринувшийся на защиту чести поруганной леди, сбив с ног хозяина дома, который рухнул на ничего не подозревавшего немецкого

шкипера, мирно допивавшего какой-то сложный напиток. Еще минута, и четверо мужчин — шкипер, оба вербовщика и хозяин дома — бросились друг на друга.

Сэмми, выпив за весь вечер один коктейль, мирно дожидаясь обеда (который так и не подали), пытался увести нас от этого поучительного зрелища. Мы сидели, как в ложе, на перилах веранды, подальше отлетающих кресел и бутылок, а из двери, ведущей в столовую, с неподдельным восторгом и блеском в глазах смотрели пятеро туземных слуг. Блестевшие от удовольствия глаза виднелись в садике, где за пальмами собрались остальные зрители.

Хозяйка дома вела себя так же неестественно, как актриса в типичных драмах из жизни плантаторов южных морей: она кружилась возле побоища, изредка бросаясь в гущу боя, чтобы удержать падающие вазы, лампы и другие бьющиеся предметы. Время от времени она отодвигала в сторону мешающую мебель, расширяя арену боя, и давала пинка в зад кому-либо из сражающихся, независимо от того, кто ей подворачивался.

Бой вступил в решительную фазу, хотя и крайне запутанную: оба вербовщика доколачивали на полу шкипера, а бывший моряк пытался его выручить. Все они, как звери, рычали, хрипели и обливались потом. Затем полилась кровь, и тут мы решили, что получили достаточное представление о случившемся. Уходя по тропинке, мы оглянулись на прелестный дом: на очаровательных плетеных циновках всюду валялись яркие, цветастые подушки, разбитые вазы, цветы, бутылки и стаканы; кресла и столы были отодвинуты к стенам, диван перевернут вверх ногами, а посередине этой свалки взлетали в воздух чьи-то кулаки и ноги; вокруг порхала толстая визжащая бывшая подавальщица из бара, ее голова с «перманентом» стала похожа на голову Медузы, а в руках она крепко

стискивала бутылку в ожидании удобно подвернувшейся головы кого-либо из сражающихся.

Мы прошли мимо сверкающих глаз зрителей, чувствуя себя пристыженными.

Несколько часов спустя, тщетно пытаясь уснуть на наших койках, мы увидели огоньки фонарей, спускавшиеся от дома к пристани. Все пятеро участников драки мирно шагали к берегу, а когда они подошли к причалу, хозяйка дома завопила:

— Эй, американочки!.. Миленькие американочки! Идите к нам! Ало-о-оха! Ало-о-оха!..

Все спутники хором заревели: «Ало-о-оха!» — а потом три фигуры в белом уселись в шлюпку и отчалили. Бывший моряк нежно обнял супругу, и они остались стоять у причала. По колебанию зажженных фонарей мы видели, как супругов шатало из стороны в сторону. Так продолжалось недолго, потом раздался громкий всплеск, и одинокая фигура забарахталась в черной воде.

— Дай ей утонуть! — послышался голос галантного вербовщика. — Все драки на островах затевают бабы или собаки…

— Ах готт! — воскликнул шкипер. — Вы правы… все неприятности от баб или собак…

По неизвестным причинам мы не простояли эту ночь в проливе, и на восьмые сутки вечером «Накапо» бросил якорь в Рабауле.

Глава тридцать первая



Полоску земли, на которой разместился Рабаул, называют Кратерный полуостров, так как прилегающая к нему бухта является огромным кратером древнего вулкана. В середине бухты то появляются, то исчезают небольшие островки, что указывает на процессы, происходящие под толщей воды. Далее, к югу, в бухте Бланш, находится остров под названием Вулкан. Рабаул разместился на прибрежной низменности, которая опускается к южной окраине города. Напротив острова Матапи твердая почва сменяется зыбучим черным песком. Обладающий обонянием путешественник, попав в эту бухту, ясно ощущает запах серы, наполняющий весь район вулкана. В часы прилива Матапи становится островом, но в малую воду туда можно добраться пешком по влажной полоске песка, соединяющей Матапи с основной территорией. Эта полоска является верхней частью заполненного водой кратера, образующего бухту Бланш.

Удачно расположенный на полуокружности бухты, Рабаул примыкает к скатам гор, которые являются периодически действующими вулканами. Когда смотришь со стороны бухты, вид исключительно живописен, как только может быть красив маленький

городок с белыми зданиями и бесконечным количеством зелени, растущей среди воды и горных склонов.

По поводу этого лирического городка и его драматических окрестностей доктор Паркинсон в книге «Тридцать лет в странах южных морей» пишет: «Большое число спокойных вулканов не внушает ни малейшего доверия, и вполне уместно задать вопрос: не станет ли этот район местом ужасающей катастрофы?»

Судя по правительственным отчетам, здесь ежегодно происходит не менее двадцати землетрясений, достаточно сильных, чтобы привлечь внимание начальства; ощущаемые каждые пять-шесть дней подземные толчки внимания не заслуживают и считаются нормальным явлением.

Во времена немецкого владычества местопребывание администрации менялось неоднократно в поисках наиболее спокойного угла, где можно было рассчитывать, что «его превосходительство» не будет в один прекрасный день подброшено к небесам.

Во время нашего приезда столица находилась в Рабауле, на краю кратера вулкана, окруженная цепью действующих вулканов и грязевой трясиной.

В зловещем покое жизни Рабаула ощущалось то бессмысленное напряжение, которое иной раз заставляет мальчишек бросать, к общему и собственному удивлению, камни в чужие окна.

Город и его окрестности, как указано в официальных справочниках, имеют около девяноста миль автомобильных дорог, и Рабаул «насчитывает больше автомобилей на душу населения, чем любой такой же по величине город в мире». Но в официальных справочниках не указывается, что в Рабауле происходит на душу населения больше автомобильных катастроф со смертельным исходом, чем где бы то ни было (в этом начальство никогда не согласилось бы признаться). В

субботу после полудня все автомобили несутся по имеющимся дорогам с такой скоростью, какая никогда не предусматривалась при конструировании этих типов автомашин. Причиной для такой бешеной езды является желание «проветриться», крайне напоминающее пресловутое битье стекол в окнах.

Представьте себе, этот город неожиданно очутился в центре событий, вызванных самой большой «золотой лихорадкой» двадцатого века, когда на Новой Гвинее были открыты золотые месторождения. Город немедленно переполнился золотоискателями и торговцами, сотнями туземных рабочих, завербованными на разных островах и ожидающими отправки на золотые прииски, плантаторами, миссионерами, полицейскими офицерами (явившимися сюда по делам или для кутежей), а также жителями близлежащих деревень, торговавшими на рынке всякой съедобной зеленью. Таким образом, тихий Рабаул стал похож на театральную площадь, незадолго до начала спектакля.

Когда-то город был распланирован немцами. Широкие бульвары обсажены большими цветущими деревьями, бросающими густую тень и щедро в сезон цветения осыпающими улицы лепестками цветов. Резиденция генерал-губернатора находится за городом, на горе Наманула, у подножия которой расположены больница, здание суда и жилые дома чиновников. Значительная часть постоянных жителей Рабаула состоит из сотрудников государственных учреждений, нескольких адвокатов, нескольких врачей, представителей больших пароходных и торговых компаний. Почти все резиденты проживают вместе со своими женами. Всю эту группу населения мы относили к возможным заказчикам портретов.

Не менее значительной по численности является другая часть жителей (непостоянных), сгрудившихся в

меблированных домах, расположенных за городом. К этой группе населения, главным образом женского, относились сотрудники больницы, мелкие конторские служащие, среди которых много девушек.

Помимо белого населения, имелась туземная полиция и, конечно, сотни туземных слуг. Совершенно особо надо упомянуть о китайском квартале с его плодовитым населением.

Для приезжих, располагающих значительными средствами, имеется гостиница, расположенная в центре Рабаула. Для искателей наживы, вербовщиков, авантюристов и, конечно, участников экспедиции имеется отель «А Чи» в китайском квартале.

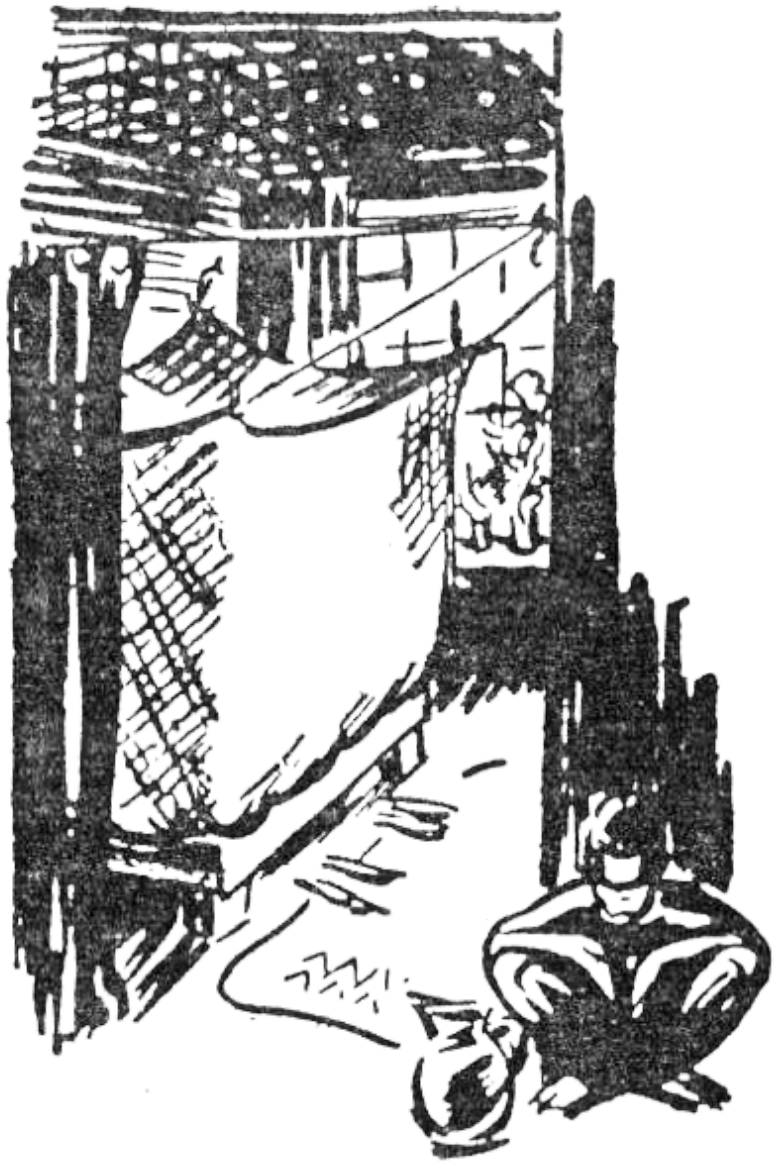
Территория Новой Гвинеи связана с внешним миром регулярным пароходным сообщением с Сиднеем. Есть еще грузовой пароход, который совершает рейсы из Сиднея в страны юго-восточной Азии, заходя на Новую Гвинею и Филиппины. Но ходит он очень нерегулярно, и редко кто на нем приезжает в Рабаул.

Путешественники, попадающие на Новую Гвинею с черного хода, как это сделали мы, остаются для властей официально неизвестными, разве что они прибудут на собственной яхте. Прибыв сюда из Киеты, мы не подверглись каким-либо формальностям или неудобствам. Мы не были обязаны давать ответ всех и вся подозревающим таможенным чиновникам, зачем две молодые женщины явились сюда с таким небольшим запасом денег и отсутствием ясно выраженных намерений. Это позволило бы таможенным чиновникам дать волю фантазии. Не попав в эту официальную регистрацию, мы считались фактически не существующими, но такое положение осложняло нашу возможность начать работу по писанию платных портретов.

Наше восхождение на высоту правительственной резиденции, на священные вершины Наманула, может

сравниться только с журнальными рассказами о головокружительных карьерах.

Наша жизнь в Рабауле началась среди «неприкасаемых» в чудесном отеле «А Чи». В день прибытия «Накапо» Сэмми настоял, чтобы мы отправились в гостиницу, и послал туда одного из своих слуг для заказа номера. К счастью, свободного номера не оказалось, и мы сэкономили не менее десяти долларов в сутки, отправившись в отель «А Чи». Но что было еще приятнее, это личное знакомство со знаменитым владельцем китайского отеля, самим господином А Чи.



Отель не отличался ни красотой, ни чистотой, но это было солидное заведение, представлявшее собой деревянную двухэтажную постройку со сплошным балконом, соединяющим весь второй этаж и затеняющим проходящий под ним тротуар, совсем как наши старинные постройки в южных штатах. Балкон был разделен низкими перегородками, через которые мы могли видеть, как соседи почесывают у себя в головах. Внутри постройки помещался огромный, широкий и темный, как колодец, холл, и в этом холле заключалось

сердце отеля — местный бар. Номера отеля представляли собой небольшие кубики, отделенные один от другого перегородками, не превышавшими восьми футов. Два дверных отверстия, именно отверстия, вели на балкон и в холл. Вместо дверей висели на веревочках куски материи, изображавшие собой занавески, которые надо было прикалывать кнопками, чтобы полностью закрыть дверное отверстие. Впрочем, никто из постояльцев отеля «А Чи» не стремился к уединению; большинство обитателей переполненного отеля связывали занавеску узлом, болтавшимся посередине; по крайней мере, было видно и понятно, кто, куда и зачем идет, все было слышно и широко известно. Все постояльцы отеля принадлежали к мужскому полу.

Другой особенностью отеля «А Чи», свойственной многим отелям тропических стран, было полное отсутствие горничных, коридорных и посыльных. Каждый постоялец должен был иметь собственный обслуживающий персонал.

Собственный слуга обязан приносить воду для мытья, прислуживать за столом и убирать комнату. Нам пришлось бы довольно туго, но один из американцев вербовщиков предоставил нам слугу, которого звали Меру. Он дико обозлился, узнав, что должен обслуживать двух женщин, но все же покорно притащил сюда наши чемоданы, расставил постели и занял свою позицию снаружи у дверей, как это делали все остальные слуги.

Покуда Меру не пришел с докладом, что все для купания готово, мы занимались приготовлениями к мытью, как это делают девушки, которые твердо уверены, что их никто не видит. Занавеска была тщательно прикреплена кнопками к дверному отверстию, хотя и не доставала до пола добрых восемнадцать дюймов, и сквозь образовавшуюся щель

мы видели десятки босых ног, с топотом пробегавшие по холлу в обоих направлениях. Изредка появлялись ноги в башмаках, над которыми виднелись обшлага плантаторских белых брюк. Мы обратили внимание, что ноги, проходя мимо нашей комнаты, замедляли шаг, а только что прошествовавшие башмаки появлялись снова. Мы были спокойны — занавеска не имела ни одной дырки.

Прибежавший Меру возвестил, что все для купания готово, и снова встал за занавеской, из-под которой торчали его босые ноги. Я направилась мыться, а Маргарет снова и со всей тщательностью прикрепила занавеску. Когда я после обычного мучения в абсолютной темной душевой подошла к нашей комнате, то почувствовала себя вознагражденной за мужественное решение — купаться первой. Тщательно приколотая старая материя занавески была прозрачна, как металлическое сито, и Маргарет, отлично видимая из темного холла, предстала предо мной совершенно голая. Со всей грациозностью подняв ногу кверху, она рассматривала потертые места на пальцах.

Отличный сюжет в стиле Ренуара!..

Таким образом постояльцы отеля «А Чи» узнали о нас все и во всех подробностях на протяжении первого часа нашего проживания в этом сумасшедшем доме. Однако они мало нами заинтересовались, а если и заинтересовались, то практических шагов не предприняли. В соседней комнате шла непрерывная игра в покер, и можно было бы услышать звон бутылок и щелканье фишек, если бы эти звуки не тонули в радостном реве, сотрясавшем все здание. Полдюжины патефонов орали изо всех направлений, и их звук заглушался дикими возгласами «Бой! Бой!» и грохотом мужского смеха. Где-то вдалеке, в самом конце холла, слышались хлопанье, щелканье и взвизгивание, издаваемые, как потом мы узнали от старожилов,

маленьким золотоискателем-немцем, цирковым клоуном в прошлом. Непосредственно за нашей дверью непрерывной цепью двигалась процессия пивных бутылок и бокалов, шлепали босые ноги, а из первого этажа валил густой табачный дым, перемешанный с пивными испарениями. Там тоже шло непрерывное празднество. В этот субботний вечер радость и ликование пронизывали отель «А Чи».

В понедельник воцарилась благостная тишина. Часть плантаторов и золотоискателей уехала, а может быть, присутствие женщин наложило отпечаток на всеобщее веселье. Шедшая по соседству игра в покер не прекратилась, но анекдоты и всякие россказни, которые мы слышали, не ложась из-за них спать, теперь передавались вполголоса, а удовлетворенные слушатели смеялись в более благопристойной форме.

Днем явился бывший клоун и, сдерживая дыханье, преподнес нам флакон японских духов в знак извинения за производимый шум. Оказывается, он показывал цирковые фокусы. Мы высказали наше сожаление, что не могли видеть его потрясающего мастерства. Маленький клоун был так растроган, что подарил нам несколько мелких самородков золота, найденных им в горах Новой Гвинеи.

Этот маленький немецкий клоун узнал мое имя и устроил необычайно странную встречу, приведя вечером одного старика золотоискателя, который несколько застенчиво спросил, как правильно произносится моя фамилия. Находясь когда-то на золотых приисках Аляски, он знавал некоего Льюиса Майтингера, приехавшего в Джуно с новой моделью вашгерда[24]. Там новые знакомцы подружились и поддерживали наилучшие отношения до того дня, когда Льюис утонул. Этот Льюис Майтингер был моим отцом, которого я никогда не знала. Он изобрел новый вашгерд и

отправился в Джуно, где хотел реализовать свое изобретение.

И вот здесь, в далекой Новой Гвинее, я узнала от старого золотоискателя подробности о последних днях жизни и смерти моего отца, оставшихся неизвестными даже моей матери.

— Как вы похожи на отца! — сказал золотоискатель. — Если бы даже я не знал вашей фамилии, все равно узнал бы в вас дочь старого Льюи, особенно встретив вас здесь, на золотых приисках...

Не сомневаюсь, что тип гостиницы сыграл немаловажную роль в этом узнавании.

* * *

Прежде чем приступить к писанию портретов, нам надо было подыскать недорогую квартиру. Так как в Рабауле белая женщина ничего не должна делать своими руками, а мы не располагали кучей слуг, которые бы все нам подавали (туземного слугу запрещено брать на срок менее двух лет, а Меру был предоставлен нам на короткое время), то наилучшим выходом было поселиться в пансионе. В Рабауле имелось несколько пансионов, но они были переполнены. Не было никакой возможности снять в аренду меблированный или необставленный коттедж. Часто приехавшие сюда люди подолгу живут в гостинице, ожидая, когда кто-либо уедет и освободит дом.

Спасибо американцам вербовщикам, направившим нас в минуту полного отчаяния в так называемый «Амбассадор». Только в порядке насмешки можно было так назвать здание, чрезвычайно похожее по размерам и форме на ангар, построенный правительством для проведения аукционов на плантации, когда австралийцы захватили эти края во время Первой мировой войны.

Часть ангара была разделена перегородками и превращена в конторы, а другую часть занимал единственный в городе ресторан, принадлежавший бывшему матросу и его жене. В момент нашего появления здание было собственностью рабаульской газеты, типография которой помещалась в смежном доме. Редактор газеты жил и работал в комнатах, непосредственно примыкавших к ресторану, но о редакторе я расскажу дальше.

В «Амбассадоре» можно было снять помещение на любой срок и для любых достойных уважения целей. Например, контора торговца, обслуживавшего проходящие суда, мирно располагалась рядом с конторой начинающего адвоката, а несколько дальше находились комнатки, снимавшиеся посуточно или понедельно проезжими золотоискателями или вербовщиками рабочей силы. Комнаты настолько походили на стойла, что какой-то весельчак украсил большинство ведущих в них дверей именами известных скаковых лошадей. Совершенно понятно, что здесь не было мебели, водопровода, а дорога в уборную шла через кухню ресторана. Душевые находились на заднем дворе. Зато месячная плата составляла всего лишь двадцать долларов, и мы твердо надеялись меблировать наши стойла полевым экспедиционным имуществом. Один раз в сутки мы могли питаться в ресторане и тем самым соблюсти престиж белых женщин.

Как только стало известно, что мы переезжаем в «Амбассадор», со всех сторон нам стали доставлять мебель. А Чи, этот чудесный старик китаец, так много раз помогавший впавшим в отчаяние золотоискателям и вербовщикам, немедленно предложил нам большое зеркало, кровать, простыни, тазы, ведра, миски и, более того, доставил все это нам со своим боем. Американцы вербовщики пожертвовали большой противомоскитный полог и предоставили Меру в наше распоряжение. Друг

моего отца принес чудесную, привезенную с островов Адмиралтейства циновку, достойную украсить стену, но он настоял на том, чтобы постелить ее на полу. Редактор газеты прислал небольшой письменный стол, а Сэмми — самый нежный привет Маргарет из больницы, где он лечил ногу.

Когда все вещи были принесены, мы не могли представить, как все поместится в этом стойле. Однако редактор газеты — он же хозяин дома — посоветовал вынести все наши экспедиционные ящики в какую-либо пустую комнату и тогда устраиваться по-настоящему. Мы так и сделали, после чего комната показалась нам достаточно большой. Так как окно, размером во всю стену, выходило на улицу, то прежде всего мы позаботились о занавесях и купили дешевую рыболовную сеть, которая и стала занавесью. Шторы, закрывавшиеся в вечерние часы, были сделаны из ярко-голубой бумажной материи; ее же мы использовали в качестве покрывала на пружинный матрац, стоявший на поленьях, который стал выглядеть, как настоящая тахта.

Полученные от А Чи подушки, сохранившие запахи давно уехавших золотоискателей, мы обтянули красной материей, очень хорошо сочетавшейся с голубым покрытием дивана. Большой голубой занавеской мы отделили часть комнаты, создав вестибюль. Пустые бутылки из-под виски служили вазами для цветов; для этой же цели был использован пятигалонный бак из-под бензина.

Мы оглядели комнату и остались ею вполне довольны.

— Восхитительно… — сказал редактор газеты, просунув голову сквозь занавеску.

— Комфортабельно… Совсем как на родине… Даже лучше… — сказал проходивший мимо адвокат.

После этого мы закрыли занавеску и остались одни, если не считать спавшего на пороге Меру.

В британских колониях для приезжей женщины существует строго установленный порядок знакомства с местной иерархической лестницей: надо начинать с верхней ступеньки и отправиться в резиденцию начальства и оставить визитную карточку в знак засвидетельствования своего почтения. Ни при каких условиях не полагается при оставлении карточки встречаться с кем-либо, кроме слуги. Этот процесс означает: «Я прибыла и жду соответствующего признания». Надо полагать, что тут немедленно начинают действовать тайные агенты, которые доносят, пригодны ли вы для приглашения: а) на обед; б) на завтрак; в) на чашку чая или г) вами надо полностью пренебречь.

У нашей экспедиции не было визитных карточек, но зато были больные ноги, а правительственная резиденция на горе Наманула располагалась слишком высоко, чтобы добраться туда на велосипеде. Кроме всего, было слишком жарко, и мы не располагал и туалетами, чтобы предстать даже перед слугами. С американской точки зрения, было нелепостью нанимать автомобиль, чтобы въехать на какую-то вершину, вручить там визитную карточку, которой у нас не было, и ожидать действий тайных агентов, могущих донести, что податели визитной карточки живут в каком-то лошадином стойле. Но мы должны были так поступить, ибо не было другого пути для нахождения заказов на платные портреты.

Первая задача сводилась к изготовлению визитных карточек, что оказалось нетрудным, так как редактор газеты отпечатал несколько штук в типографии. Все выглядело отлично, но содержание карточек вызывало сомнение, поскольку редактор, неизвестно чем вдохновленный, напечатал на карточке: «Американская экспедиция охотников за головами», а после этого странного примечания зачем-то поставил

восклицательный знак. Пришлось напечатать новые, без редакторских юмористических упражнений. Но тут в рабаульской газете появился выдуманный от начала до конца глупейший отчет о приключениях нашей экспедиции, ярко свидетельствовавший об упадке журналистского таланта.

Затем возник вопрос о платьях, в которых мы могли бы выйти за пределы рабаульских улиц. Все тот же А Чи одолжил нам швейную машинку полувековой давности, а мы приобрели бумажную материю, из которой сшили платья такой простоты, что их мог разгладить утюгом любой туземный слуга. Мы кроили так, чтобы все было «по фигуре» и была «линия», но у нас упрямо получалось подобие пижам.



Как-то после полудня, когда мы пыхтели над примеркой и шитьем, раздался стук в дверь. Меру по обыкновению спал, а Маргарет в разгар примерки стояла полуголой, и мне пришлось с полным булавками ртом пойти открывать дверь. За дверью стоял великолепный туземец. Он был молод, но преисполнен важности и одет как местный полицейский: в бахромчатую набедренную повязку и форменную фуражку, красовавшуюся поверх

прически в стиле «помпадур». С минуту он свысока разглядывал нас, а потом произнес какую-то фразу, звучавшую словно «их величество прибыли», или «его превосходительство просит», или еще что-нибудь в этом роде. Мы выглянули в окно и увидели огромный сверкающий автомобиль с гербом на дверцах. К нам прибыла с визитом супруга губернатора — и у нас едва хватило времени вытереть лившийся с нас пот и отбросить со лба прилипшие волосы, а Маргарет — накинуть купальный халат. Наша всегда очаровательная комната была усыпана булавками, лоскутками материи, а будущие туалеты разбросаны на диване — единственном месте для сидения.

Когда «первая леди Новой Гвинеи» вошла в этот бедлам, ее первыми словами было: «Как у вас мило!» (Мы и сейчас не можем понять, что она хотела этим сказать.) Оказывается, она приехала пригласить нас на обед и была бы нам очень признательна, если мы захватим свои музыкальные инструменты, так как она слышала, что мы играем...

Удивительно, откуда она могла это слышать? И вообще, как она узнала о нашем существовании? И как могло случиться, что нам простили то, чего никогда не простили бы англичанке — весь этот фокус с визитными карточками! Но как бы там ни было, если у нас нет других приглашений, то автомобиль будет прислан за нами...

Вот, дорогой читатель, каков путь продвижения по общественной лестнице в английской колонии. Никто, а особенно женщина, не может пробыть на островах столько времени, как мы, чтобы это не стало известным повсеместно, даже в местах, столь далеких от Соломоновых островов. Рассказы о приезжих передаются капитанами судов, когда они встречаются в Сиднее в помещениях пароходных контор. Слухи перекочевывают с острова на остров, передаваемые из

уст в уста. Несомненно, что шотландский капитан «Матарама» продолжал оказывать нам свое покровительство. Кроме того, несколько сомнительную рекомендацию дала нам публикация чепухи в рабаульской газете.

Логика подсказывала, что прежде всего мы должны написать портрет хозяйки, и я бы ей это несомненно предложила, если бы не Маргарет, сообщившая мне на ухо, что она получила другой заказ. Чудесно! По-видимому, гости предположили, что написанный мною портрет будет не хуже прелестной музыки Маргарет. Может быть, этому способствовал отменный обед, где все было вкусным, свежим, горячим или холодным и сверкало при свете канделябров. Набирая еду на вилку, я каждый раз вспоминала грязную набедренную повязку, служившую скатертью на «Накапо», нашу тоску по вкусной еде и тем сильнее смаковала каждый кусок, чтобы удержать его вкус в памяти.

Помимо нас, к обеду были приглашены еще двенадцать гостей; в том числе члены какой-то неизвестно что обследующей комиссии, приехавшей из Австралии, и местные тузы. Обед начался рано, часов в восемь, но все мы прибыли к заходу солнца, так как заранее было сообщено, что это явление особенно интересно наблюдать с веранды резиденции, откуда открывался замечательный вид на бухту Бланш.) Коктейли подавались с чисто американским излишеством, вина за обедом были самые различные, а ликеров было чересчур много. После обеда дамы удалились наверх, где пробыли не менее часа, а мужчины использовали это время для продолжения питья. Нет ничего удивительного в том, что после обильных возлияний местный сановник заказал нам свой портрет, заявив, что хочет послать его своей матери. Право, ему не стоило ссылаться на мамашу.

На родине я никогда не обратила бы внимания на заказ, сделанный мне в разгар подобного обеда. Находясь в приподнятом настроении, многие люди готовы рисовать сами или позировать художнику, но впоследствии редко удается добиться, чтобы заказчик назначил часы позирования. На этот раз Маргарет учла прежний опыт и договорилась о часе встречи. С тех пор за нами в обусловленный час приезжала автомашина, отвозившая нас в дом заказчика, где мы работали, а после работы отлично обедали.

Но между обедом у губернатора и первым сеансом нас постиг удар судьбы, и Маргарет сказала, что это в наказание за обжорство, которое мы позволили себе в губернаторской резиденции. Мы заболели дизентерией…

Здесь на рынке продают салат, похожий на латук, и маленькие помидоры. Тогда мы решили каждый день завтракать излюбленным американцами салатом из латука. Вымыл ли Меру недостаточно хорошо принесенные с рынка овощи, прикасался ли к ним дизентерийными руками, но результат был для нас самый плачевный. Жалкие фигуры, отправившиеся на гору писать портрет господина судьи, были лишь оболочками духа экспедиции. Портрет получился плохой. А ведь это был очень важный для нас портрет, и мы надеялись, что он нам поможет получить другие заказы. Мы хотели его переписать, но судья заявил, что портрет хорош, и он не согласен позировать вторично. Заказчик выписал нам чек, и на этом все закончилось.

Я была очень расстроена, что никакая «портретная эпидемия» возникнуть не сможет, но об этом потом, когда мы будем лучше себя чувствовать.

Глава тридцать вторая



Прежде чем приступить к писанию портретов туземного населения, мы должны были устранить препятствия, обычно возникающие на новом месте, и прежде всего ликвидировать возникший у нас в Рабауле домашний кризис.

Меру исчез!.. Мы давно оценили его достоинства, но с момента его исчезновения почувствовали себя полностью парализованными. Он был таким спокойным, таким обходительным (в редкие часы бодрствования). Несмотря на то что обслуживание нас должно было ему претить, мы никогда не слышали грубого ответа. По происхождению он был сыном вождя из Кавьенга (Новая Ирландия), где существует строгое кастовое деление и где рабы считаются худшими людьми, проданными в рабство потому, что их не хотят терпеть в родной деревне. Сыновей вождя было принято посылать в Рабаул, где они должны были учиться точно так же, как сыновья наших крупнейших банкиров едут обучаться делу в европейские банки или сыновья восточных аристократов едут в США. Меру поехал с американцами вербовщиками в качестве личного слуги, чтобы

научиться уму-разуму; стиснув зубы, он молча терпел все, как подобает природному аристократу.

Расположенный между «Амбассадором» и типографией двор был тем местом, где бездельничали бои из газетной редакции и личные слуги съемщиков помещений. Это были разбитные ребята, долгое время околачивавшиеся в Рабауле и приобревшие здесь залихватский вид. Волосы они стригли и красили на необычный манер, а их юмор был вполне достоин наших столичных юнцов. Меру своих красивых черных волос не красил, носил очень скромную прическу и презирал лихих городских парней. В ответ они хором издевались над Меру за то, что он прислуживал женщинам. Избежать насмешек он не мог, так как воду для питья приходилось носить из того же места, откуда ее брали остальные; воду для мытья приходилось греть на общем костре, горевшем во дворе. Часто, слыша визг и насмешки, мы удивлялись, как может Меру сохранять терпение.

Мы не сомневались, что Меру сбежал, и даже не винили его, но жизнь без Меру стала сразу невыносимой. Сначала мы думали, что вопрос престижа, не позволяющий белой женщине самой что-либо делать в присутствии туземцев, на нас не распространяется. Но представив себе, как мы будем с ведрами в руках шагать по холлу, расплескивая воду во все стороны, или пользоваться для нагревания воды костром, кокосовую скорлупу для которого принесли не мы, а чужие туземные слуги, или, что еще хуже, будем ходить выливать горшки и ведра, — мы решили, что престиж существует и для нас. Мы боялись, что разухабистые парни будут зубоскалить по нашему адресу, а теперь, после обеда, устроенного в нашу честь губернатором, это было бы недопустимым.

Вскоре мы обнаружили местонахождение Меру — он сидел в тюрьме!

В силу закона ни один завербованный туземный рабочий не может быть передан одним хозяином другому без соответствующей регистрации, обязывающей нового работодателя выполнять условия заключенного ранее договора: кормить, предоставлять жилье и выплачивать заработную плату. По отношению к Меру ничего не было сделано, так как он был временно передан в наше распоряжение. Мы полагали, что основные хозяева Меру пока что в нем не нуждаются, но, как только он им понадобится, они заберут его и поставят нас об этом в известность. Мы были уверены, что Меру квартирует и питается с остальными боями американских вербовщиков, но именно в этой уверенности заключалась наша ошибка. Безропотно работая на нас, Меру шнырял по городу и кормился где и чем попало, спал где удастся. Когда мы узнали об этом, то не могли понять, почему Меру не сказал нам ни слова. Разве только из гордости... Он предпочел иметь дело со своими земляками, работавшими на большом складе и делившими с ним свой скудный паек риса. Это продолжалось до тех пор, покуда служащий склада не обнаружил непрошенного гостя и не передал его в руки полиции. Место нахождения Меру открыл вездесущий и всезнающий редактор газеты.

Закон предусматривал для нас как «работодателей» двойную ответственность: во-первых, мы отвечали за использование труда рабочего без соответствующей регистрации; во-вторых, мы должны были отвечать за непредоставление ему пищи, крова и платы. По закону мы способствовали превращению туземца в бродягу, а в Рабауле строго смотрели на такие вещи. Только гордость Меру спасла нас от наказания: он отказался признаться в том, что обслуживал женщин. Счастье сопутствовало и американцам вербовщикам, поскольку власти обнаружили их лежащими в больнице. Передав своих завербованных бугенвильцев другим

предпринимателям, они на вырученные деньги закатили грандиозный кутеж, закончившийся для обоих отправкой в больницу (тут-то Меру и потерял их из виду). Вербовщик, болевший черной лихорадкой, слег от нового приступа, столь сильного, что бывший спекулянт флоридской недвижимостью чуть не отправился на тот свет. Другой вербовщик слег после разгула в госпиталь, чтобы сломать и вновь срастить неправильно сросшуюся ногу. Болезни не помешали обоим вербовщикам уехать раньше нас в США искать применения своего трудолюбия в более спокойных авантюрах.

Пока что Меру был возвращен своим сомнительным хозяевам.

Право, Меру был чудом, особенно если сравнить его с преемниками. На несколько дней, покуда мы пытались найти компромиссное решение между собственным престижем и требованием закона о двухлетнем сроке найма туземного слуги, Сэмми прислал нам своего слугу по имени Бонга. Этот Бонга обладал всеми недостатками, отсутствовавшими у Меру, и вдобавок был невероятно груб. Будучи полицейским, он считал службу у женщин прямым оскорблением, и мы были счастливы, когда в нашу жизнь вошел Томбат, принесший от редактора газеты записку следующего содержания:

> «Леди, терпящие бедствие! Податель сего письма некий Томбат, или Падающий Дождь (ибо родился он в час дождя). Он подлинный Гермес, и я не сомневаюсь, что вы оцените его по заслугам, поскольку он два года служил в доме моей сестры. Он умеет выполнять все домашние обязанности: стирать, гладить, стряпать, подавать на стол, переносить все местные сплетни, торговаться не хуже уличного разносчика (на случай, если вы будете посылать

его на рынок). Он умеет лгать не хуже американского сенатора и является кумиром рабаульских бездельников. Советую вам оценить его готовность пойти в услужение. Остальные мои парни Тобонга, Тобука, Тогата, Томелия и Томерия — все из племени То, но не братья — отказались работать на миссис (это все те бездельники, что надсмехались над Меру). Когда я вызывал добровольцев, они отвернули головы. Бука объяснил мне, почему они не хотят идти: „Вчера я посмотрел в глаза длинной миссис (длинная — это я). Честное слово, она нехорошая… Ах, я не пойду к ней, я ее боюсь…“ Я чуть было не нарушил параграф 666 Кодекса о труде для туземцев Папуа издания 1912 года, намереваясь съездить ему по уху, но тут Томбат вызвался на эту работу. Три месяца назад, когда я с этими парнями силой пробивал дорогу, чтобы уйти из деревни Варангои-Байнинге, Томбат сбежал от нас. С того времени он жаждет совершить какой-либо героический поступок, чтобы восстановить репутацию храброго юноши. Он считает поступление к вам в услужение вполне подходящей возможностью. Он будет питаться и спать со своими соплеменниками и получать плату там же. Табака ему не давайте, так как он получает в редакции газеты».

Мы посмотрели на храброго Томбата, стоявшего на фоне голубой занавески, и увидели мускулистого коричневого парня с пышной желтой прической и простоватой улыбкой на лице. Эта улыбка послужила отличной рекомендацией после озлобленного выражения лица Бонга. Томбат не был высок, но широкоплеч и мужествен, с крупными чертами лица —

совсем другого склада, чем бледный аристократ Меру. Все парни из рода То были такими.

Теперь мы достигли уровня культурных интересов всех белых женщин, живущих на островах: мы не могли говорить ни о чем, кроме как о своей прислуге; впрочем, совместное проживание с Томбатом полностью лишило нас возможности думать о чем-либо ином.

Прежде всего Томбат решил изменить цвет собственных волос, чтобы он гармонировал с цветовой гаммой нашей комнаты. Мы подарили ему для набедренной повязки кусок голубой материи (из которой были сделаны занавески) и вскоре увидели, что волосы Томбата выкрашены в тон подушек, в ярко-красный цвет.

С момента появления Томбата каждое утро нас будил отчаянный крик, доносившийся со двора. Крик постепенно нарастал, все явственнее слышался в здании, где к нему примешивался топот босых ног, и наконец достигал нашей двери.

На протяжении этого пути Томбат обменивался шутками с каждым встречным слугой; иногда он останавливался, для того чтобы побороться с кем-то в холле. Наконец, не спрашивая разрешения, он врывался в комнату, сгребал в охапку одежду, которую мы надевали накануне, и с грохотом исчезал. К вечеру все платья были тщательно выглажены, правильно сложены и даже выстираны.

— Вы дали Томбату мыло? — спросила я у Маргарет.

— Нет… Он ни разу не просил.

Но Томбат стирал с мылом, и Маргарет отлично знала, откуда берутся мыло, тазы, дрова и все, что, по мнению Томбата, нужно для его деятельности. Все это он доставал из редакции рабаульской газеты. И зачем было Томбату спрашивать у нас то, что он имел в избытке? И для чего было нам задавать Томбату бесполезные вопросы? Правда, гладил он нашим утюгом.

В Рабауле имеется электричество, но здесь принято гладить только духовыми утюгами. Долгое время мы удивлялись, зачем мы привезли в Меланезию дорожный маленький электрический утюг. Теперь мы все поняли: Томбату нужен был наш утюг, чтобы произвести впечатление на дворовых бездельников. Доставляя им развлечение, Томбат долго водил крохотным утюгом по громадным простыням (гладил он, конечно, на редакционном столе), а затем гонялся за восхищенными зрителями, пытаясь прижечь их утюгом. В конце концов он стал носить утюг в качестве галстука, повесив его на шнуре, обмотанном вокруг шеи. Зачастую утюг носился как украшение на одном бедре.

Так как контакты утюга были неисправными, то Маргарет показала Томбату, как надо чинить утюг, и с того дня начались бесконечные упражнения с отверткой в руках, неизменно собиравшие зрителей, которые затаив дыхание ждали, что обнаженные провода соединятся и посыплются искры.

Тем временем наша экспедиция медленно, но верно приближалась к гибели. Не имея платных заказов на портреты, мы не осмеливались питаться более одного раза в день в соседнем ресторане, где кормили плохо и невкусно. Пожалуй, единственной нашей поддержкой были званые обеды, на которые нас приглашали.

Нам рекомендовали Томбата как отличного повара, но у нас не было кухонного инвентаря и посуды, кроме того, пищу надо готовить на плите. Услышав наши разговоры, Томбат, со свойственной ему ловкостью, достал все необходимое. Затем, захватив наш красный кошелек (с золотым слоном, прикрепленным к монете в пенни) и пальмовую корзину, Томбат отправился на рынок с твердым намерением перехитрить всех рыночных торговок. В часы, когда бои делают закупки, рынок напоминал стаю кричащих по утрам какаду. Деревенские женщины сидели в живописном

беспорядке, окруженные кучами ребят и ворохами зеленых пальмовых корзин, наполненных фруктами и овощами. Возгласы, вопли и смех раздавались на рыночной площади, где все продавцы принадлежали к женскому полу, а покупатели к мужскому; а если учесть, что торговля происходила в городе, почти лишенном женщин, то нетрудно представить, в каком восторженном состоянии возвращался Томбат с рынка, причем, это следует отметить, всегда с большими успехами. Он приносил с собой массу чудесных вещей, купленных за жалкие гроши: живых цыплят, яйца (не всегда свежие), ракушки, рыбу, большие и великолепные папайи, спелые ананасы и плоды, похожие на яблоки, наполненные белым и густым сладким кремом. Часто он приносил маленькие бананы, которые мы еще в деревнях пробовали есть, но нашли их в сыром виде грубыми и горькими. Иногда он приносил помидоры и салат-латук и при этом божился, что тщательно их вымоет и что обе миссис не будут болеть животами.

Неизвестно где раздобыв горшки и кастрюлю, а мы не сочли удобным спрашивать Томбата об их происхождении, он самовольно захватил находившееся по ту сторону холла пустое помещение и в нем воцарился. Вскоре он принес туда кусок чьей-то железной крыши, смастерил из камней очаг походного типа и при помощи пальмовых ветвей заставлял дым выходить в окно. Остававшийся в комнате дым вынуждал обитателей дома предполагать, что в «Амбассадоре» начался пожар, но никто не беспокоился, так как все рассчитывали, что пожар будет отличным развлечением. Вскоре Томбат оправдал рекомендацию прекрасного повара: испеченная им на угольях «кумара» была черна и хрустела, как уголь, но содержимое было вкуснее любой цивилизованной картошки. Зажаренные в

листьях цыплята были нежными и сочными, хотя и несколько своеобразными на вкус.

Томбат никак не мог научиться варить кофе, и так как продаваемый в здешних лавках кофе был с примесью цикория, а Томбат кипятил кофе, как англичане чай, и он получался черным. Посуда всегда подавалась чистой, фрукты вымытыми, и с момента, когда Томбат взял на себя обязанности кормильца, мы ни разу не болели дизентерией.



Но у нас началось другое заболевание: вокруг рта и глаз появилась сыпь, вызывавшая сильный зуд. Томбат и его приятели не знали, впрочем как и местный врач, происхождения этой болезни и способов ее лечения.

Постепенно, исключая из нашего меню одно блюдо за другим, мы выяснили, что сыпь появляется от местной рыбы. Тогда мы, к великому удовольствию Томбата, перешли на рыбные консервы.

Некоторое время мы прожили в условиях комфорта и безмятежности и запаслись силами для встречи с Монки — вторым слугой. Здесь всех мальчишек-слуг называют «монки», но никому из них так не пристала эта кличка, как нашему, ухитрившемуся непрерывно держать нас во взбудораженном состоянии, на грани бешенства и неудержимого веселья. Он был дальним родственником Томбата и появился из миссии, где духовные отцы пожелали, чтобы он обучался домашнему хозяйству. Томбат сразу решил, что именно мы являемся мягкосердечными и не помешанными на чистоте хозяйками, у которых можно научиться домоводству. Такой же точки зрения держался редактор рабаульской газеты, лишившийся из-за нас услуг расторопного Томбата. Будучи бессильными, мы согласились.

Возрастной минимум для туземного рабочего двенадцать лет. Нашему Монки было на вид не более девяти, и, пожалуй, даже для этого возраста он был слишком мал ростом. При поджаром юрком коричневом теле у него была круглая ребячья голова и необычно большой, никогда не закрывавшийся рот с двумя рядами ослепительно белых зубов. Принадлежа к клану То, Монки был мужествен, но, побывав в миссионерской школе, стал отличаться особыми идеями. В школе он провел всего лишь год, и мы подозревали, что легкость, с которой он был предоставлен в распоряжение любого нанимателя, объясняется тем, что христианское учение оказалось неспособным его воспитать, и духовные отцы решили, что здоровенный кулак нанимателя скорее приведет Монки к духовному спасению. Черные глазки мальчишки блистали святой невинностью, однако

усиленное моргание давало нам возможность ясно понять истину.

К счастью, постигший нас удар был смягчен тем, что Томбат взялся обучать Монки. Из холла все время доносились пререкания одного То с другим То. Через каждые два слова слышалось: «А это что?»; Монки непрерывно произносил слова «почему» и «для чего», хотя отлично знал ответ.

Первое столкновение с Монки возникло на финансовой почве, когда Томбат велел мальчугану пойти на рынок за покупками, предупредив его, что золотой слон в сумочке внимательно следит за тем, на что тратятся деньги, и доносит хозяйкам о всяком расходе не по назначению. Хозяйственная деятельность Монки ничуть не изменила роскоши покупок. Более того, появились всякие деликатесы вроде калифорнийских персиков, гавайских ананасов и даже орехов «гнали», столь излюбленных туземцами, что их очень редко приносят на продажу. В первое время мы не обращали внимания на то, что стоимость приносимых продуктов превышает отпускаемые на хозяйство деньги, но однажды Маргарет проверила расход и выяснила, что в сумочке лежит слишком много денег по сравнению со стоимостью принесенных продуктов. Вечером мы сказали редактору газеты, что считаем Монки многообещающим слугой, и объяснили происшедшее; редактор рассердился, потом улыбнулся и велел прислать к нему Монки для объяснений.

Мы обнаружили, что туземцы никогда не лгут в свое оправдание — они не чувствуют себя виноватыми. Монки честно согласился, что он «брал» для нас продукты, поскольку они лежали без применения. Иногда он брал их в кладовой у редактора, иногда у повара ресторана, а чаще всего у рыночных торговок, когда они бросали взор в другом направлении.

Мы никак не могли обвинить мальчугана в воровстве и постарались решить назревший кризис с истинно материнской мудростью, так как много читали о том, как туземцы относятся к вопросам собственности на предметы продовольствия. В туземной деревне принято считать продовольствие общим достоянием и самым большим позором считается не делиться запасами с тем, кто голоден и запасов не имеет. Скупость, по мнению туземцев, смертельный грех. Купля-продажа предметов питания (за исключением откормленных для празднеств свиней) считается, с точки зрения «дикого» общества, бессмыслицей, и немудрено, если неиспорченные цивилизацией туземцы будут презирать нас за то, что мы, белые, наживаемся за счет голодающих членов нашего общества и заставляем неимущих умирать от голода или недоедания.

Отношение Монки к предметам продовольствия было диаметрально противоположно нашему, и ежедневно, видя, как на рынке покупают и продают овощи и фрукты, Монки не мог себе представить, для чего делается глупый фокус с обменом шиллингов на продукты, когда гораздо правильнее взять все тебе нужное, не применяя никаких выкрутасов. Мы долго и терпеливо объясняли Монки сложный путь купли-продажи и, когда выбились из сил, увидели перед собой улыбающегося и усиленно моргающего мальчишку, поддакивающего каждой произнесенной нам фразе. Потом он пулей вылетел из комнаты.

На первый раз он отделался внушением; второе столкновение было существеннее и заставило нас присмотреться к делу внимательнее. На протяжении длительного времени, пока Монки «брал взаймы» продукты на рынке, количество денег в кошельке понемногу уменьшалось, но с момента, когда Монки было настрого приказано за все платить, шиллинги стали таять не пропорционально стоимости покупок.

Заподозрив неладное, Маргарет стала ходить на рынок вместе с Монки, и исчезновение шиллингов прекратилось.

Посылая Монки в магазин, мы писали на листке бумаги перечень необходимых товаров и получали от продавца подтверждение в получении денег; кроме того, деньги в сумочке тщательно пересчитывались. Монки пытался обойти все создаваемые нами препятствия, и однажды, когда Маргарет выдала ему на расход банкнот в один фунт, Монки вернулся из магазина, не принеся ни продуктов, ни денег, ни даже золотого слоненка. Последний был оставлен дома и стоял на окне, а Монки заявил, что, придя в магазин, он передал сумку приказчику, а тот в ней не нашел ничего, кроме нашего заказа. Все это, по мнению Монки, было очень таинственно, так как он сам видел, как миссис положила деньги в кошелек. Большего от Монки нельзя было добиться.

Тогда мы пожаловались многострадальному редактору газеты, который без малейшего промедления схватил мальчишку за волосы и извлек оттуда пропавшие деньги. Больше всех был изумлен сам Монки, ахнувший от неожиданного открытия, что фунтовый банкнот сам влез к нему в прическу и тем сконфузил мальчугана с лицом темнокожего херувима.

Когда мы сели ужинать, херувим стоял неподвижно и грозил остаться недвижимым до тех пор, пока не получит прощения. Как правило, перед едой, в изготовлении которой принимал участие Монки, мы произносили на молитвенный лад следующий текст: «Боже милостивый, даруй нам силы переварить эту пищу без печальных последствий». На этот раз Монки стоял со сложенными, как на молитве, руками, улыбался и усиленно моргал. Когда мы произнесли «аминь», он был счастлив, считая, что получил прощение.

Когда же он утащил наш последний карандаш американской губной помады и явился с разрисованным, как при жевании бетеля, ртом, мы поставили виновника в угол, где он начал немедленно распевать ломающимся фальцетом религиозные псалмы.

Через некоторое время редактор газеты сообщил нам, что с наших слов распространился дикий слух о существовании синих и зеленых американцев. Наше сходство с английскими белыми женщинами объяснялось тем, что мы ежедневно втираем в кожу какую-то чертовщину, которую Монки продает за наличные своим товарищам по профессии. Мы быстро выяснили, что пропала бутылка с минеральным маслом, которое мы применяли для кожи вместо обычного кольдкрема. Что касается синих и зеленых американцев, то эта версия требует уточнения.

Как-то мы рассказали Монки, что мы родом из Америки. В миссионерской школе он узнал, что в Америке живут такие же темнокожие, как и он сам. Это привело Монки к выводу, что все американцы чернокожие, а мы ему о себе попросту наврали, либо что-то делаем с нашей кожей и она становится белой. В те дни мы серьезно относились к нашей ответственности за воспитание темнокожего херувима и терпеливо объяснили ему о существовании белых, черных, желтых и красных американцев. Рассказывая эту простейшую историю Томбату и другим, Монки добавил от себя все прочие известные ему цвета. Одновременно он сообщил, что, по его мнению, перемена окраски зависит от содержимого бутылки.

Монки немедленно вернул бутылку с минеральным маслом, которую он тщательно спрятал под домом, а мы позвали Томбата вершить суд и расправу. Томбат знал свое дело, разжал крепко стиснутые челюсти Монки, вставил ему в рот горлышко бутылки и заставил

хлебнуть порцию масла. Через минуту наказанный снова хохотал и был в восторге от происшедшего.

В конце концов он навлек на нас столкновение с гражданскими властями, и нас вызвали в суд как ответственных за Монки лиц из-за жалобы женщины, с которой Монки стащил одежду. Женщина шла на рынок, нагруженная корзинами и детьми, обе руки ее были заняты, и она не смогла защититься. Этим воспользовался Монки, и, раньше чем женщина успела раскрыть рот, она была обнажена. Мы решили, что кратковременное тюремное заключение пойдет Монки на пользу, и были крайне смущены, когда судейский чиновник вручил нам наше сокровище и объявил о небольшом денежном штрафе, который мы должны удержать из жалованья Монки. Хотя Монки еще не заработал суммы штрафа, но наш отказ от уплаты вряд ли способствовал бы воспитанию Монки.

Теперь, когда Монки удовлетворил любопытство и посмотрел на обнаженную женщину, он вряд ли повторит подобную выходку, и мы не сомневались, что в следующий раз он сделает нечто более безобразное, так как был настоящим анархистом: позабыв законы деревни, он не научился уважать законы города.

Обнажение женщины является в Рабауле вовсе не столь простым делом, поскольку здесь строго наказывается всякая «нескромность». Ни одна туземная женщина не имеет права войти в черту города с обнаженной грудью, и отсюда возникла церемония одевания на окраине города уродливой длинной рубахи, которая немедленно снимается при выходе из города. Подвергнувшись нападению Монки, женщина, не считая это оскорблением, боялась привлечения к ответственности за свое обнаженное состояние. Скромность — понятие искусственного происхождения, но женщины Новой Британии принимают его всерьез.

На обратном пути, возвращаясь с рынка в деревню, женщины купаются в заливе и, стоя в воде, меняют городскую одежду на привычные повязки или юбки из травы. Процесс переодевания совершается с удивительным проворством, и один из местных жителей рассказывал нам, что за тридцать лет жизни в этих краях он ни разу не видел на берегу полностью обнаженной туземной женщины. Таким образом, Монки можно было считать вполне преуспевшим героем.

Городская жизнь быстро портила Монки, и мы решили преподать ему соответствующий урок и научить уважать права других людей. Для этого нужно было вызвать в нем такое же чувство стыда, какое ощущала обнаженная женщина. Само собой понятно, что нельзя было заставить его появиться публично без набедренной повязки, но неслыханное самолюбование Монки предоставляло нам другие возможности. Например, он никогда не мог пройти мимо зеркала, чтобы не полюбоваться на свое отражение, а цвет его волос менялся почти ежедневно, для чего использовались краски, которые он безбожно тащил отовсюду. Только прочностью туземных волос, напоминающих стальную проволоку, можно было объяснить, что после всех отбеливаний и окрашиваний у Монки еще сохранилась шевелюра. Не менее часто совершенствовалась и сама прическа, а так как у Монки не было собственных ножниц, то он пользовался нашими, тщетно пытаясь их присвоить. Когда мы требовали ножницы, Монки находил их в самых странных местах, утверждая, что они сами туда спрятались. Однажды они залезли под дом и сами зарылись в землю. К чести Монки надо сказать, что ножницы всегда воскресали по первому требованию, так же как и любой другой исчезнувший предмет.

Возвращаясь к вопросу о прическе, надо сказать, что она была ахиллесовой пятой нашего героя. И мы

решили, что если Монки увидел оголенную женщину, то почему бы женщине не увидеть оголенную голову Монки? Мы принялись многословно и обстоятельно объяснять Монки классическое правило справедливого возмездия и сообщили, что собираемся сделать. Маргарет взяла Монки за плечи, а я отхватила ножницами небольшой клок волос как раз посередине головы. Произошла небольшая стычка, после которой наступило самое для нас страшное. Монки заморгал ресницами и разревелся так, как только плачут маленькие дети. Еще мгновение, и он выбежал из комнаты и больше не появился.

На следующий день мы встретили его в суде, куда он принес на нас жалобу.

«Малира» в точном значении этого слова является любовным наваждением, но оно применяется гораздо шире и охватывает очень многое, включая наказуемую черную магию, при помощи которой «напускаются» разные болезни.

Нас вызвали для полуофициальной беседы с судьей, чтобы изложить суть дела по обвинению нас в использовании черной магии против туземного слуги. Оказывается, взволнованный Монки явился в суд и, продемонстрировав выстриженное место, заявил, что мы отрезали у него клок волос с целью отдать их колдуну.

В несколько минут мы изложили обстоятельства дела, но наши объяснения не успокоили мальчугана. Он был убежден, что раз у него пропал клок волос, то произойдет нечто ужасное.

У туземцев отлично развито чувство справедливости, и, если бы Монки был старше, он несомненно понял бы, что с ним поступили точно так же, как он поступил с женщиной. Но Монки был ребенком, да притом еще испугавшимся, а Маргарет и я — самыми жалкими творцами правосудия.

Судья посоветовал нам вернуть Монки отрезанный клок волос. При этом было объяснено, что суд никак не заинтересован в каком-либо признании возможностей черной магии, но поскольку дело идет о ребенке, который может заболеть от самовнушения, то лучше с этим делом поступить попроще.

Мы были бы рады вернуть этот клок волос, но его не оказалось. Перерыв без пользы все корзины и мусорные ящики, мы отправились к редактору газеты и попросили помочь нам достать клок волос цвета киновари, так как в данный момент Монки носил волосы ярко-красного цвета. Редактор кликнул Томбата и приказал достать за наличный расчет клок волос. Томбат вытаращил глаза, улыбнулся, исчез и вскоре вернулся с клоком ярко-желтых волос. Где он их достал, мы не узнали, но он был пройдоха-парень, а шиллинги всегда остаются шиллингами. Клок волос был нами выкрашен в ярко-красный цвет, передан мальчику, а сам мальчик отправлен обратно в миссионерскую школу для дальнейшего просвещения.

Глава тридцать третья



Повествование о Монки не заканчивается тем, что о нем рассказано в предыдущей главе. Самое суровое наказание, которое мы могли придумать для Монки, вкусившего сладость городской жизни, было направить его обратно в миссионерскую школу. Но он бежал оттуда, вернулся к Томбату а Томбат пытался всучить его нам, чего мы решительно не желали, опасаясь, что он нас самих доведет до тюрьмы.

Теперь нас обслуживал один из слуг, присланных Сэмми. Монки, неизменно находившийся под покровительством Томбата, вертелся вокруг нас и озорничал, выливая воду для мытья, нагретую нашим слугой, или утаскивая из душевой наши полотенца. Он не позволял нам позабыть о нем и, несомненно, сам все время думал о нас.

Вскоре у меня началось ужасающее воспаление уха. Я лежала в постели, и по ночам меня мучили кошмары, в которых я неизменно видела себя терзающей темнокожего херувима. Маргарет рассказывала, что я все время бормотала: «Долой голову... голову долой...» Видимо, я хотела избавиться от собственной головы. На

третий день боль достигла страшной силы, и мы поняли, что это не просто боль в ухе, а болезнь, требующая вмешательства врача.

Болезнь уха — обычное явление на здешних островах — возникает от морской воды. Мы не очень верили этой версии и ходили купаться, хотя нас и предупреждали. Болезнь эта серьезная, так как она связана с непрерывно возрастающей глухотой. (К сведению тех, кто когда-либо заболеет «тропическим ухом», можем сообщить, что эта глухота теперь успешно лечится специальным применением электротерапии.) В момент моего заболевания здешний врач получил новое средство, и применение на мне в экспериментальном порядке нового вливания привело к обмороку, длившемуся несколько минут.

Когда я себя почувствовала лучше, меня навестил редактор газеты и сказал: «А он все-таки доканал вас...»

Сразу поняв его мысль, я смутилась и вспомнила, что редактор предупреждал нас о том, что Монки собирается нам мстить, а совсем недавно мы нашли в углу на кухне спрятанный и завернутый в листья пучок моих волос. Маргарет решила, что это какое-то гнездо, но когда мы внимательно разобрались, то поняли намерение Монки применить против нас колдовскую «малиру». Эту курьезную историю мы рассказали редактору газеты и приняли за шутку его предложение заявить властям о поступке Монки. Мы уже знали, что лучшее противодействие колдовству — сжечь волосы, смешать золу с имбирем и закопать полученную смесь в землю. Мы не верили в колдовство, как не верили в дурные намерения Монки; он мог быть шалуном, но не злодеем.

А теперь, хотя и подсознательно, но я в это поверила. На протяжении всех мучивших меня по ночам кошмаров мне мерещился Монки, а сейчас я как-то сразу

поняла, что подразумевал редактор фразой: «А он все-таки доканал вас...»

Пробыв достаточно долго среди первобытных людей, вы начинаете верить в чудеса. Конечно, проживая далеко от этих островов в обстановке сугубо реалистического отношения к фактам, чудеса считаешь абсурдом. Однако болезнь и смерть, вызванные внушением, являются даже предметом разбирательства здешних судебных инстанций. Если бы эта черная магия не имела дурных последствий, то с какой стати не верящие в чудеса государственные чиновники накладывали бы на виновных наказание, приравнивая магию к запугиванию. И если бы это запугивание иногда не имело вредных, а порой и роковых последствий, то оно не было бы наказуемым.

Я отлично понимаю, что становлюсь еще одним из многочисленных рассказчиков случаев смерти от черной магии, но приводимый мною случай базируется на судебных отчетах и тем самым освобождает меня от репутации одержимого пылкой фантазией художника, готового верить чудесам. Мы не были свидетелями рассказываемой истории, а почерпнули ее из отчетов суда Новой Гвинеи и бесед с местным чиновником, участвовавшим в судебном разбирательстве этого дела.



Недалеко от Рабаула проживал деревенский колдун, которому сильно приглянулась одна из женщин той же деревни. Тогда колдун стал приставать к женщине с «недостойными предложениями», но женщина не захотела иметь дело с колдуном, и последний пригрозил напустить на нее «чары». Здесь принято считать, что напускание чар (в случае несогласия женщины) неминуемо приводит к смерти, а потому туземные женщины избирают путь наименьшего сопротивления. Эта женщина оказалась более упрямой и сообщила мужу о приставaниях колдуна. Оскорбленный супруг поговорил как следует с колдуном и посулил ему всех чертей, если он немедленно не снимет чары. Запугать колдуна ему удалось, но, по-видимому, не удалось охладить любовного пыла, и, хотя колдун обещал «смыть» с женщины чары, именно процесс смывания привел колдуна в суд, где его обвинили в попытке изнасилования. Дальше я пересказываю события так, как они изложены в судебном отчете. Колдун потребовал, чтобы женщина уединилась с ним в хижине, встала на колени и локти, после чего он начал поливать

женщину содержимым небольшой бутылки, а потом потребовал, чтобы она сняла набедренную повязку. Это вызвало с ее стороны столь шумный протест, что ворвался муж, и финал сцены привел всех участвующих в суд, где колдун выдвинул встречное обвинение — покушение на убийство. Колдуна осудили и отправили в тюрьму, а вещественное доказательство — содержимое бутылки — подвергли анализу, который гласил: «Грязная вода». В присутствии женщины и ее супруга, крайне перепуганных тем, что «смывание чар» не было закончено, бутылка с содержимым была заперта в судебный несгораемый шкаф. Но, несмотря на то что колдун и грязная вода были упрятаны за замок, женщина была уверена в близкой смерти. Судебный чиновник из любопытства решил проследить за дальнейшим развитием дела; женщине было велено периодически являться на медицинский осмотр. Прежде чем покинуть Рабаул, она прошла полное освидетельствование в местной больнице. Никаких болезненных симптомов у нее обнаружено не было, но биение пульса было слабее нормального, что объяснялось реакцией туземной женщины на мучительную процедуру суда. Прошло не более шести месяцев, и сердце молодого существа перестало биться лишь потому, что женщина была убеждена в неизбежности близкой смерти. При каждом посещении рабаульской больницы не отмечалось какого-либо ухудшения здоровья женщины, но биение пульса становилось все слабее, и вскоре женщина превратилась в скелет, обтянутый кожей.

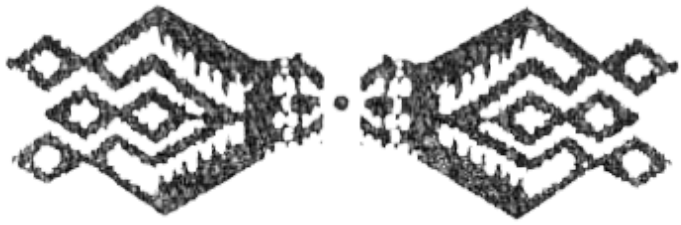
Чиновника-шотландца не так просто убедить в существовании духов, и, как только женщина умерла, он распорядился о медицинском вскрытии. История о том, как удалось избежать туземного погребального обряда и доставить тело на анатомический стол, прежде чем оно начало разлагаться, не попала в судебный отчет.

Вскрытие не показало ничего, что, по мнению врачей, могло способствовать смерти. У женщины обнаружили геморрой, но до сих пор еще никто от него не умирал. Женщина была мертва, и это произошло потому, что она верил в свою скорую и неотвратимую смерть.

Этот случай отличался от многих других тем, что здесь прослежено начало и конец истории и сделан вывод, что смерть наступила по «естественной причине».

Что думал по этому поводу чиновник? Он сказал, что ничего не знает, но здесь есть «нечто такое», что можно «объяснить логически», если «посмотреть в корень» и «привести в систему», но, чтобы все это сделать, требуется длительное время. Короче, он ничего не мог объяснить.

— А не может ли быть, — спросила Маргарет, которая верила в магию и всегда старалась найти подтверждение этой вере, — что это нечто такое, что когда-то было понятно всем и о чем мы, белые, одержимые рассудочностью, позабыли? Может быть, у первобытных людей сохранился какой-то инстинкт, какая-то особая чувствительность, которая сродни тому, что побуждает угрей переплывать океаны и подниматься против течения по незнакомым рекам в поисках родины предков, которых они никогда не знали...



Глава тридцать четвертая



Впервые я увидела полупервобытных негроидов на Гаити, когда совершала автомобильную поездку по стране из Порт-о-Пренса до Санто-Доминго-Сити. Мы выехали из Порт-о-Пренса в ночь с пятницы на субботу. На протяжении многих миль фары нашего автомобиля освещали босоногих туземцев, шагавших по дороге нам навстречу рядом с навьюченными мулами. Они везли на субботний базар овощи и фрукты. Тут и там возле горевших костров виднелись группы людей за едой и отдыхом. Когда забрезжил рассвет, мы увидели, что весь утомительный путь женщины тащили на себе не только детей, но и ту часть груза, которая не помещалась на спинах тяжело навьюченных мулов. А мужчины шли налегке, как на прогулке...

В окрестностях Рабаула на расстоянии многих тысяч миль от Гаити мы увидели ту же картину. Отсутствовали только мулы, потому что здесь, в Новой Британии, роль мулов полностью исполняют женщины. Сопровождавшие их здоровенные мужчины не обременяли себя даже маленькими луками и колчанами стрел, что могло послужить каким-то оправданием тому старику туземцу,

который на Гвадалканаре охранял возвращавшихся с огородов женщин.

Здесь, как и в районе Порт-о-Пренса, на базар отправляются в полночь и идут ночь напролет, так как дорога долгая и трудная. Когда восходит солнце, группами садятся на обочине дороги, кормят детей и сами жуют куски холодного печеного мяса или саго. На базаре мужчины разгуливают с важным видом и сплетничают, предоставив женам право торговаться с покупателями. К вечеру женщины грузят на спины непроданный товар и снова пускаются в долгий и тяжелый обратный путь, который иногда длится всю ночь.

Обычно группу в четыре-пять нагруженных женщин сопровождает один мужчина, но как-то раз утром по дороге в Кокопо мы встретили небольшое семейство: мужа с его ручным какаду, жену с ребенком и грузом. По запыленным до колен ногам можно было судить, что семейство идет издалека. Когда они остановились, мужчина галантно помог женщине снять груз и было видно, что она буквально не в состоянии распрямить спины. Опустившись на землю, она какое-то время сидела сгорбившись, тупо глядя вниз, а и без того толстый ребенок принялся сосать материнскую грудь. По виду мы решили, что перед нами немолодая женщина, но когда она смогла наконец поднять голову, мы увидели молодое лицо. Женщина отвязала висевшую через плечо полосу белой хлопчатобумажной ткани, в которой лежал ребенок, и, так как он задремал, положила его на землю, и принялась надевать чистую «городскую» рубашку. Супруг натер кокосовым маслом свои запылившиеся руки и грудь и снова стал жевать бетель, готовясь в полной красе вступить в город. От бетеля губы стали кроваво-красными, а один глаз мужчина обмазал белой глиной. На плече его висела

сумка из пальмовых листьев, к которой был привязан за ногу пронзительно кричащий белый какаду.

Заметив, что мы не уходим, разукрашенный джентльмен одарил нас блистательной красно-белой улыбкой, а его супруга даже не взглянула в нашу сторону, хотя по угрюмому выражению ее лица было видно, что она «все знает». Возможно, что именно поэтому она тут же начала собираться в путь. Сперва она повесила на плечо перевязь, в которой лежал ребенок; она не связала, а только переплела концы перевязи, которые под тяжестью груза сами затянулись. Затем она встала на колени и взвалила на спину огромный тюк с овощами, имевший длинную петлю, которую она надела себе на лоб. Дергая головой, она подтягивала тюк, покуда он правильно лег на поясницу. Супруг помогал подталкивать тюк кверху. Поверх первого тюка муж взгромоздил второй, уравновесив его так, чтобы он плотно держался. Все это время женщина стонала, как навьючиваемый верблюд, а мужчина продолжал расточать приветливые улыбки. Наконец женщина поднялась на ноги, проделав это без посторонней помощи, и, когда она нагнулась вперед буквально под углом в тридцать три градуса, супруг крайне любезно поставил ей на голову еще полуторапудовую корзину с овощами. Женщина была вынуждена придерживать корзину рукой, так как ребенок, висевший на шее женщины, начал раскачиваться. Стараясь по возможности освободить шею, женщина удерживала и приподнимала ребенка второй рукой, но все же ее шатало из стороны в сторону, и она шла, согнув колени, опустив взор в землю, и только, проходя мимо нас, взглянула исподлобья уголком глаза. Наверное, ей, как устрице, казалось, что она спрятана достаточно глубоко и может незаметно удовлетворить свое любопытство. Впрочем, ей

представилась возможность рассмотреть нас подробно, так как мы не дали ей уйти совсем.

Мы последовали за этой семьей в город. Мужчина кокетливой походкой шагал впереди, а женщина, пошатываясь, плелась сзади. Когда они проходили мимо сада духовной миссии, мужчина сорвал большой красный цветок и тщательно воткнул его за ухо, в желтую копну волос. Это еще выразительнее, чем замазанный белой глиной глаз, говорило о том, что он думает о какой-то женщине, так как флирт обычно входит в расписание базарных развлечений. Представить, что он мечтал о собственной супруге, было абсолютно невозможно. По-видимому, это была какая-то особа, которую он рассчитывал встретить на базаре (весьма сомнительно, чтобы этот флирт выходил за рамки заигрывания и шумного обмена любезностями). Внимательно осмотрев свою прическу в карманном зеркале, вытащенном из сумки, он поправил набедренную повязку, подтянул пояс и принялся щекотать шею какаду, который, то поднимая, то опуская высокий желтый хохолок, пронзительно заклекотал. Все это время женщина стояла на солнцепеке, напоминая своей покорностью старую лошадь. Когда наконец блистательный супруг бросил заигрывать и прихорашиваться и решил продолжать прогулку по городу, женщина покорно последовала за ним. Ее поведение ничем не отличалось от прочих меланезийских женщин, которые проявляют невероятную терпеливость при выполнении традиционных обязанностей, но становятся грозными, как вулкан, если их попросить сделать что-либо выходящее за рамки традиций.

Подойдя ближе к музею — большому зданию, построенному аккуратными немцами для того, чтобы поместить в нем любопытнейшие вещи, отобранные полицейскими, миссионерами и золотоискателями у

местного населения, мы сели на велосипеды и, обогнав нашу семейную пару, помчались за помощью к директору музея с целью заполучить навьюченную женщину в качестве модели для портрета. Мы пользовались северной верандой музея как студией, а весь штат сотрудников музея любезно обслуживал нас в качестве переводчиков, консультантов и вербовщиков моделей. Но все они как один дрогнули перед задачей уговорить эту женщину позировать. Тем не менее они это сделали.

Как и всегда, целый час пришлось выслушивать стенания, хныканье и уговоры, сопровождаемые усиленной жестикуляцией. Директор музея обращался к супругу на пиджин-инглиш, а тот на местном языке уговаривал свою навьюченную супругу, которая отвечала приглушенным визгом, а ребенок тем временем плакал. Собравшаяся вокруг толпа бездельников насмехалась над женщиной за то, что она «темная дикарка». Она была здесь совсем одна — единственная представительница женского рода среди толпы туземцев мужчин, лишенная поддержки своих сестер по полу. Ей оставалось либо стоять так весь день и реветь, либо дать отвести себя к изгороди из желтого кротонового кустарника и хныкать там, что одновременно означало бы позировать. Так оно и случилось. Я начала портрет раньше, чем получила ее согласие, но в это утро мне было гораздо труднее, чем женщине с ее многопудовым грузом.

С необычайной поспешностью я сделала набросок фигуры и мешков, так как боялась, что моя модель вот-вот потеряет сознание. Но когда я, чуть ли не падая сама в обморок от напряжения, предложила женщине устроить небольшой перерыв, она решительно отказалась снять с себя поклажу и заявила о своем безоговорочном желании отправиться на базар. Тогда Маргарет дала ей монету, и это убедило ее присесть на

корточки, чтобы отдохнуть, но она все еще не позволяла мужу снять с нее ношу. Однако пришлось все-таки снять поклажу, так как мне нужно было, чтобы она сняла «городскую» рубашку. Снова начался спектакль, но на этот раз женщина боялась, что ее арестуют за появление в городе с неприкрытой грудью. Впрочем, еще сильнее она боялась директора музея, который обращался с ней грубо, так как мы ему основательно надоели. Под воздействием директора и новой монеты, после нового хныканья и болтовни, после того как разогнали зевак, короче, очень не скоро рубашка была снята. Но теперь женщина не желала, чтобы ее вновь нагружали. Так продолжалось все утро.

Я предпочла бы нарисовать женщину сидящей на земле, лишь бы не видеть трясущихся от напряжения колен. Но как только женщину снова нагрузили (что свершилось благодаря плитке табака), она наотрез отказалась сесть на землю, и мне не оставалось ничего иного, как разрешить ей стоять. Я принялась за работу, заслонив пальмовым листом дрожащие ноги женщины и внушая себе, что туземки с детства приучены носить корзины с овощами на голове. Но вид этой руки, поддерживавшей корзинку, этот каждый дрожащий в ней мускул или этот пот, катившийся на нос и подбородок с искаженного напряжением лба! Маргарет часто подходила к женщине, пыталась помочь ей держать корзинку и знаками объясняла, что может стереть пот с ее лица, но женщина смотрела на Маргарет застывшим взглядом, вся сжавшись, как животное, застигнутое жестокой бурей.

Фигуру женщины с ребенком я закончила часа через полтора, но это был в большей степени рекорд физической выносливости, чем быстроты живописной работы. Оставалось еще написать портрет нарядного супруга, но на это у меня не было сил, да и он сам торопился вернуться в деревню. Мы просили его прийти

на следующий день и выяснили, что его зовут Токобау из деревни То, откуда происходил Томбат и все лихие парни, обслуживавшие редакцию рабаульской газеты.

Поскольку это были люди одного клана, а следовательно, по типу сходные между собой, то мы могли предложить Томбату позировать вместо супруга. Я хорошенько запомнила и даже зарисовала украшения Токобау, его раскрашенный глаз, сумку, детали прически и все, что мог отлично воспроизвести Томбат (в крайнем случае мы могли обойтись без какаду).

К неудовольствию супруга, мы уплатили ему две плитки табака, а жене дали шесть. Вскоре оба, к нашей великой радости, исчезли с горизонта: она — плачущая, а он — самодовольно улыбающийся.

Уговорить Томбату позировать в качестве супруга чужой жены было не так просто, как мы это предполагали.

Начатый мною портрет и все наше снаряжение остались ночевать в музее на никем не охраняемой веранде, где, кроме нашего имущества, находилось множество музейных редкостей, способных взволновать любого коллекционера. Мы попросили редактора газеты прислать к нам Томбату, чтобы он посмотрел на рисунок и знал, как ему надлежит нарядиться. Вместе с Томбатом явились редактор и все сородичи Томбата.

Вернувшись в «Амбассадор», Томбат и его сородичи буквально давились от смеха, так как каждый из них отлично знал Токобау и его жену, а идея изобразить Томбата рядом с женой Токобау казалась им необычайно смешной. В конце концов нам пришлось перенести весь наш инвентарь в «Амбассадор» и отгородить циновками уголок на заднем дворе. На фоне прикрепленной к стене ветки кротона Томбат начал нам позировать. Войдя во вкус, Томбат скопировал перевязь с бахромой из банановых листьев, намазал глаз белой краской и соорудил сумку для хранения мужских безделушек.

Остальные соплеменники из рода То в это время торчали по другую сторону циновок и визжали от удовольствия, когда Томбат сообщал им ход событий. Сообщения рассказывались на том пиджин-инглиш, которым владел Томбат, и если бы повторить их буквально, то это был бы нечленораздельный лепет. Однако кое-где народный юмор Томбата оказался сильнее языковых различий и в приблизительном переводе его рассказ звучал бы приблизительно так: «Миссис поставил Томбат далеко-далеко... Миссис хочет убить Томбат. Миссис идет картина, идет от картина. Картина шатается туда-сюда... Миссис говорит: „Ах, проклятье...“ Тогда Томбат умирать... (В этом месте рассказа Томбат застывает в определенной позе, а слушатели оглушительно смеются.) Потом миссис говорит: „Передышка. Томбат, иди гулять“. Потом миссис кричит: „Готов!“ Томбат опять умирать...» При этих словах Томбат снова замирает в позе, а все заливаются исступленным смехом. Рассказ повторяется до бесконечности, к неизменному восторгу слушателей.

Когда я закончила фигуры людей, а затем и пальмовые корзины, которые я писала с образцов, купленных на рынке, оказалось, что в картине отсутствует какаду, и без него рисунок казался мне незавершенным. Тогда Томбат взял у редактора газеты старый двухместный «форд» и помчал в деревню, чтобы взять напрокат принадлежавшего Токобау какаду.

Он вернулся смущенный, с пустыми руками, так как Токобау отказался предоставить своего какаду даже на короткий срок. Тогда Томбату было приказано ехать назад и любой ценой привезти какаду вместе с его хозяином. Но Томбат снова вернулся в одиночестве...

Как выяснилось, Томбат рассказал Токобау, что его поместили рядом с супругой Токобау на картине. Счастье Томбата, что он не выключил мотора (стоит ли обременять себя и выключать мотор, если потом его

опять заводить!), но, несмотря на поспешность бегства, Томбат получил такой удар кокосовым орехом в плечо, что несколько дюймов кожи слетело начисто. По словам Томбата, это результат сплетен других То, а сам Токобау хороший парень, да и сам Томбат не из плохих.

Так или иначе, но какаду мы не получили.

Птица, которую я впоследствии нарисовала на плече «мужа», была ручным попугаем одного из туземцев в Порт-Морсби в Папуа. Она мне позировала, сидя на плече у своего хозяина, и два часа подряд повторяла: «Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе», изредка прерывая эту болтовню более свойственными ей выкриками и поклевывая ухо хозяина. Владелец птицы клялся, что она получила воспитание у миссионера.



Глава тридцать пятая



В Рабауле все происходит случайно…

Однажды на дороге, накачивая спустившую шину велосипеда, я увидела проходящую мимо группу туземцев, возглавляемых белым человеком, столь обросшим волосами и бородой, что в нем не трудно было признать вербовщика. Головы всех двадцати шести туземцев имели заостренную форму, и все они были бугенвильцами из района, где принято уродовать форму головы.

В местном музее имелась шляпа, похожая на китайский фонарь, и мне понадобилось не более сорока пяти минут, чтобы привести в музей молодого бугенвильца, и еще минут пятнадцать, чтобы создать из него представителя «братства Большого Бука».

Написанный в результате этой встречи портрет являлся предметом спора между «знатоками» и «очевидцами». Мы однажды были очевидцами, как такую шляпу носил старый бугенвилец, которого мы встретили в зарослях; а знатоки утверждали, что такие шляпы уничтожаются после окончания церемонии вступления новичка в тайное общество. Вербовщик с очаровательной логикой доказывал, что именно этот парень никак не мог бы носить шляпу, так как закон

запрещает вербовать на работы туземцев, носящих такие шляпы. Когда мы спросили у самого парня, ходил ли бы он в такой шляпе, если бы остался в родных местах, он уверенно ответил: «Да!» На вопрос, мог ли бы он носить такую шляпу, если был бы стариком (как тот, наш встречный старик), он ответил, что не мог бы, потому что его теперь остригли и шляпе не на чем держаться. Мы так и не смогли разобраться в путанице со шляпами, похожими на фонарь. Если верить авторитетам, утверждающим, что после обряда посвящения шляпы уничтожаются, то наш бугенвильский старик просто носил шляпу сходной формы, защищая свою лысую голову от солнца и насмешек. Меланезийцы очень редко лысеют и почти не седеют; только в Нодупе мы встретили пожилого лысого туземца, служившего посмешищем для всей деревни. Над ним смеялись не меньше, чем смеемся мы над плешивым героем какого-нибудь фарса.



Однажды я возвращалась верхом на лошади с прогулки, которую совершала в одиночестве. Я обнаружила за городом китайское кладбище и иногда ездила туда отдыхать, так как во всем Рабауле не было другого такого тихого и уединенного места. Кладбище и зоопарки — замечательные места, и мой интерес к кладбищу не являлся чем-либо из ряда выходящим. На кладбище можно было представлять себе давно умерших сыновей Востока, сейчас мирно лежащих под большими зелеными насыпями, и думать о том, что драгоценная жизнь пока еще принадлежит тебе и надо что-то с ней сделать. В те дни я чувствовала себя очень усталой и нуждалась в чем-то стимулирующем. Одно дело, когда вы путешествуете по тропикам в качестве праздного созерцателя; совсем иное, когда нужно

работать, превозмогая жару, которая одурманивает и лишает способности думать, когда с каждым приступом малярии вы становитесь пассивнее. А затем эта вечная борьба с неожиданными препятствиями. И хоть бы раз нам попалось уже знакомое препятствие, с которым мы могли бы привычно справиться.

Почему, например, Рабаул так решительно воздерживался от заказов платных портретов? Мы знали, что «дизентерийный» портрет судьи не был по исполнению лучшим из наших произведений, но, посмотрев на него позже, после нашего выздоровления, мы нашли его неплохим, и сходство с оригиналом было бесспорным. Вместе с тем ни у одного из местных жителей, видевших портрет судьи, не возникло желания увековечить себя на полотне. Если дело не сдвинется с мертвой точки, наша экспедиция окажется под угрозой краха. Критический момент должен был наступить, когда денежных фондов хватит лишь на покупку обратных билетов, и мы были близки к этому.

Пребывание на китайском кладбище всегда успокаивало душу. Наше преимущество перед обитателями этого поросшего зеленью последнего прибежища заключалось в том, что мы могли дышать, а уже это одно придавало нам уверенность в себе.

В тот день, чувствуя себя вполне бодро, хотя дышалось мне довольно плохо, я мчалась галопом по дороге, стараясь превозмочь начавшийся у меня озноб, вызванный вечерним дождем. Моя лошадь — рослый австралийский конь — имела своим постоянным спутником белого бультерьера, который был ей вполне под пару. Их объединяло чувство неприязни к местному населению, и это было настолько известно, что встречные туземцы соскакивали с велосипедов и спасались на ближайшем дереве; собака неслась за ними, а конь несся вслед за собакой. Во время преследования туземцев интересы и желания всадника

в расчет не принимались. В то время как натянутый повод поворачивал голову лошади вправо, ее ноги бежали влево, вслед за бультерьером. Двигаясь вкось, мы неминуемо должны были врезаться в стену какой-либо хижины. Когда туземцы, цепляясь за стволы, повисали на пальмах, мой конь задирал хвост, делал стойку, как гончая, и ждал, покуда бультерьер стащит туземцев за ноги. Единственный способ избежать подобных сцен заключался в том, чтобы предоставить лошади свободу действий, а это означало, что мы будем скакать во весь опор и у бультерьера не хватит времени кидаться на туземцев. Возвращение назад было как раз тем, на что мой огнедышащий конь был совершенно неспособен. Теоретически прогулки должны были уменьшать меланхолию, развившуюся вследствие малярии. Практически они разрушали последние атомы твердого вещества и без того размякшей экспедиции. Но лошадь была удобнейшим средством добираться до мест, куда трудно было попасть, пользуясь услугами собственных, постоянно израненных ног.

В тот день я скакала во всю прыть домой; капли дождя со всей силой ударяли по деревьям, росшим на обочине дороги, срывая лепестки цветов, и дождь казался желтого цвета. Туземцы бросились врассыпную, спасаясь от дождя и моих спутников. Только вереница обнаженных и темнокожих людей продолжала двигаться по дороге, и было ясно, что это идут завербованные рабочие. Впереди шел небритый и обросший белый вербовщик.

Мой конь, предводительствуемый бультерьером, врезался в толпу, туземцы бросились врассыпную, за ними бультерьер, за бультерьером мой конь, а позади всех бежал яростно ругавшийся вербовщик. Это столкновение стало началом отличной дружбы, сыгравшей значительную роль несколько позже, когда мы должны были принять решение, что делать дальше:

возвращаться ли в США, отправиться ли на Запад в Папуа или в Голландскую Индию. Модель, которую мы выбрали в этой группе завербованных рабочих, решила многое.

В момент нашего знакомства модель искала спасения на дереве, бультерьер пытался схватить парня за пятки, жеребец делал, как гончая, стойку, вербовщик изрыгал потоки ругани, а я, сидя на коне, находилась на одном уровне с залезшим на дерево парнем, и то, что я увидела, сделало меня совершенно безразличной к происходившей вокруг кутерьме. Перед моими глазами была темно-коричневая спина, покрытая великолепным орнаментом рельефной татуировки. Ряд рубцов, имевших форму птицы-фрегата, начинался у предплечья и спускался по обеим сторонам позвоночника. Нельзя было найти квадратного дюйма тела, не превращенного в рисунок, который делается очень сложным надсеканием кожи и неправильным сращиванием с применением глины. Это был первый случай, когда мы увидели хирургическую надсечку кожи у жителя южных морей. Этот парень — первый «каннибал», увиденный нами в жизни. Он был папуасом (а не меланезийцем) из района реки Сепик. Даже с обритой головой и в набедренной повязке, которую ему дал вербовщик вместо принятых в его деревне штанов, парень был наиболее живописным из всех тех, кого я до этого встречала. В нем было то, что мы называем «линией». Полинезийцы приземисты и неуклюжи, даже если они не толстые. Меланезийцы — даже наиболее красивые жители западных районов — имеют непропорционально крупные черты, по сравнению с фигурой и особенно с длиною шеи.

А в этом папуасе была какая-то элегантность; длинный тонкий нос, пропорциональная шея и общая стройность торса, хотя и несколько отощавшего от голода. Он был насмерть перепуган происходящим.

Несомненно, он никогда не знал о существовании животных размером с моего австралийского коня, никогда не видел столь большой и злобной собаки, и все это заставляло его цепляться за дерево.

Вербовщик побежал собирать разбежавшихся людей, а когда он вернулся за парнем, я уже привязала лошадь и собаку подальше от места событий. Парень упорно не слезал и продолжал цепляться за дерево; я объяснила вербовщику, что являюсь всего-навсего безобидным художником, и если он соблаговолит пожаловать в «Амбассадор», после того как расквартирует рабочих, то мы поговорим о татуированных папуасах.

Не знаю, за кого принял меня вербовщик, но в пять часов он появился на пороге нашей комнаты, улыбающийся и тщательно выбритый, но трясущийся, как, впрочем, и я сама, от вызванного дождем приступа лихорадки.

Наша просьба предоставить папуаса в качестве модели картины рассеяла недоумение, вызванное нашей красно-синей комнатой, но несколько коктейлей, которыми мы его угостили (разумеется, как средством против приступа малярии), чуть не испортили все дело. Эти коктейли толкнули его в круг обычных для вербовщиков рабаульских развлечений, из которых не так легко выбраться.

Покидая нас, вербовщик обещал прислать папуаса завтра утром в музей. От нас он, по-видимому, отправился прямехонько в китайский ресторан «А Чи», чтобы продолжать дело, столь неосмотрительно нами начатое. На следующее утро никто в музей не был прислан, и я вернулась домой. Так как у меня начался очередной приступ малярии, я предоставила Маргарет выяснить судьбы модели и вербовщика.

Папуаса надо было нарисовать без малейшего промедления, невзирая на мою болезнь, так как по

опыту мы знали, что завербованные рабочие исчезают в Рабауле невесть куда, словно растворяясь в воздухе. Маргарет вернулась с пустыми руками, но установила место пребывания вербовщика. Тогда мы написали ему записку и послали нашего временного слугу, которому велели не возвращаться живым, если он не обнаружит вербовщика. Через несколько часов слуга вернулся и сообщил, что вербовщик не то болен, не то пьян. Позднее выяснилось, что налицо оба состояния, но второе значительно сильнее.

Меня это вполне устраивало, так как я могла отлежаться в постели до конца приступа малярии. Было ясно, что, пока вербовщик пьянствует, наш папуас никуда не исчезнет. Я не сомневалась, что здоровье вербовщика находится в достаточно приличном состоянии, чтобы выдержать трехдневное беспробудное пьянство. За три дня мой малярийный приступ закончится, и я стану на ноги. В качестве предупредительной меры, на случай если вербовщик очнется раньше и захочет передать папуаса какому-нибудь хозяину, мы поместили нашего слугу к А Чи и велели доносить нам о поведении нашего подопытного кролика.

Что касается меня, то такого веселья во время приступов малярии у меня никогда еще не было. По-видимому, наш слуга не спускал глазе вербовщика. Всякий раз, когда тот менял положение, наблюдатель сломя голову мчался в «Амбассадор» с сообщением, что вербовщик хочет «идти гулять». С трудом встав со своего одра, я приводила себя в порядок и катила на велосипеде через весь Рабаул к А Чи, где обнаруживала, что вербовщик спит праведным сном младенца.

Во избежание недоразумений Маргарет втолковала нашему слуге, что доносить надо, лишь если вербовщик сумеет ходить по прямой линии, не качаясь, и попытается уйти из кабака. Через короткое время нам

снова пришлось ехать к А Чи, так как донесение гласило, что вербовщик ушел во двор, где наш слуга потерял его из виду. Примчавшись на место, мы обнаружили, что вербовщик давным-давно торчит в уборной, но когда он оттуда вышел, его внешний вид был таков, что я сразу вернулась домой и спокойно легла в постель.

Я выздоровела раньше вербовщика, и, не желая его тревожить, мы отправились прямо в рабочий барак, где нашли нашего папуаса. Тут выяснилось, что он тоже болен. Вероятно, ему никогда не приходилось далеко отходить от родной деревни и теперь, после путешествия через Новую Гвинею у него началась тоска по родине. Увидев нас, он побледнел, но был слишком слаб, а может быть, слишком напуган, чтобы оказать сопротивление, и безропотно пошел за нами. Вид нашей направлявшейся в музей маленькой процессии был очень смешной. Папуаса все удивляло и пугало: и наш важно шествовавший низенький, коренастый слуга, и городские парни, проносившиеся мимо на сверкающих велосипедах. Но наибольший страх внушали ему мы — существа, ездящие на диких лошадях в сопровождении страшных собак. Мы казались ему олицетворением его ужасной участи. Когда нас обогнал фыркающий автомобиль, нам пришлось остановиться и переждать, пока папуас извергнет из своего желудка пищу, в которой он так нуждался. Только тут мы поняли, до какой степени дошел его страх и тоска по родине. Остаток пути он шел за нами буквально по пятам, напоминая повадками и побуждениями бродячего пса, идущего за чужими не потому, что любит их или надеется что-либо получить, а потому, что с потерей даже этих чужих людей исчезнет последняя точка опоры. Охотнее всего мы взяли бы его за руку и отвели назад, на землю его тыквоголовых предков, где он умел отличать настоящую опасность от мнимой и знал, как ее избежать.

Этому юноше, проведшему свою жизнь в изолированной деревушке, сохранившей уклад каменного века, вокруг которой на мили не было ничего, кроме чащи, местный музей должен был казаться волшебной пещерой из сказки об Аладдине. Даже на наш взгляд, это было прекрасное и в то же время внушавшее страх место. Три большие комнаты были наполнены оружием, украшениями и предметами туземного обихода. Все это покрывало стены, свешивалось с потолка, стояло в ящиках прямо на полу. Даже на верандах, в подвале и в саду в огромном изобилии лежали сотни и сотни ценных вещей, разбросанные в величайшем беспорядке и без единой надписи. Нам и прежде хотелось использовать эти вещи в качестве аксессуаров при писании портретов, но даже если бы нам удалось найти подходящие модели, то никто бы не мог нам что-либо сказать о происхождении самих вещей.

Мы решили провести нашего папуаса через музейные «джунгли», чтобы он сам опознал знакомые предметы, которые мы использовали бы для придания картине местного колорита. Совершенно понятно, что нельзя было писать портрет человека, украшенного столь изощренной татуировкой, в набедренной повязке, изготовленной из манчестерского текстиля.

Итак, мы приступили к делу. Но если наша процессия имела смехотворный вид по дороге в музей, то теперь, внутри музея, она выглядела ничуть не лучше. Из всех углов на нас угрожающе смотрели темные лица деревянных фигур, изображения, нарисованные на щитах и барабанах, огромные и страшные маски. Для нашего юноши все это имело свой особый смысл; взгляд его стал диким, губы вытянулись, как для свиста, а сам он еле держался на ногах. Меня тоже шатало из стороны в сторону; возможно, что и у меня, как и у него, это было следствием только что перенесенной болезни. Мы шли

гуськом, в полном молчании, ожидая, когда заговорит наш оракул. Медленным шагом мы дважды обошли музей, но так и не услышали от него ни звука. Нам ничего не оставалось, как написать торс и голову юноши без соответствующего убора. Этим мы и занялись…

Выбор позы для портрета не представлял трудности, так как мы уже давно отказались от мысли добиваться от туземцев какой-либо иной позы, кроме им привычной. Маргарет знаками показала юноше, чтобы он сел где-нибудь на веранде, после чего я минут десять ждала, чтобы он уселся поудобнее. Это и была поза для портрета.

В деревне мы обычно проводили линию на земле вокруг ног и спины модели, чтобы после перерыва человек мог занять то же положение. Здесь, на веранде, мы использовали для этой цели мел. При виде белой черты, появившейся вокруг его ног и туловища, папуас оглянулся влево и вправо, увидел замкнутый круг и, решив, что находится в ловушке, оцепенел от страха. Прошло не менее получаса, пока он успокоился настолько, что напряженная поза сменилась обычной и я смогла начать портрет. Наш юноша сидел лицом к саду экспериментальной сельскохозяйственной станции и, позабыв о нашем существовании, внимательно рассматривал растущую кукурузу, шпалеры бобов и стоящие позади стройные ряды фруктовых деревьев. Все это было совсем непохоже на его родную деревню, но выращивание урожая было для него понятным.

Я наблюдала за немигающим взором юноши, переходившим с предмета на предмет, останавливающимся на дальних и близких вещах. Юноша был неподвижен, только далеко отставленные большие пальцы ног непрерывно шевелились, выдавая напряженную деятельность, происходившую на противоположном конце его тела.

Папуасов принято описывать как наиболее грубых и глупых человеческих существ, лишенных каких-либо достоинств. О них пишут, что они едят змей, муравьев, собак, языки и половые органы своих врагов, что они живут в грязи и постоянном страхе перед своими соседями и злыми духами, населяющими каждое бревно, дерево или скалу. Они устраивают сексуальные оргии с целью увеличить плодородие садов и съедают собственных детей.

Но то же самое нам приходилось читать и о меланезийцах, а при личном знакомстве они оказались вежливыми, чистоплотными и уж, конечно, вовсе не глупыми. То, что порой мы не могли понять хода их мыслей, вовсе не доказывает отсутствия у них разума, а говорит лишь о различном с нами понимании одних и тех же вещей. Их точка зрения имеет такое же право на существование, как и наша собственная. Наши модели были покрыты болячками, привлекавшими рои мух, но ведь и мы страдали от того же самого. Мы ходили в брюках, а туземцы, может быть, уже давным-давно испробовали этот вид одежды и отказались от него, увидев, что брюки в здешних условиях являются не чем иным, как ловушкой для муравьев.

Как бы там ни было, мы относились к находившемуся перед нами «дикарю»-папуасу без всякого предубеждения.

Результаты умственных усилий, выражавшиеся в движении больших пальцев его ног, стали нам ясными после второго сеанса, причем они не имели никакого отношения к сельскому хозяйству. Во время первой паузы мы с трудом объяснили папуасу, что наступила передышка. Пришлось буквально поднять его на ноги, но он и стоя продолжал оставаться внутри мелового круга. Тогда Маргарет рукой стала манить его с веранды в комнату, он выпрыгнул из круга.

В эти дни я сама редко поднималась с места. Я работала, сидя на большой циновке, и, когда наступал перерыв, просто откидывалась назад, вытягивала онемевшие ноги и засыпала на несколько минут. Поэтому я не видела, как во время второй паузы Маргарет «снимала заклятие» с модели. Открыв глаза, я увидела, что юноша снял набедренную повязку, и на нем теперь нет ничего, кроме шнурка с нанизанными на него пожелтевшими косточками (как выяснилось потом, это были человеческие позвонки). Сзади пояс оканчивался своеобразным помпоном, напоминавшим заячий хвост. Маргарет сказала, что юноша сам обнаружил этот пояс в одном из ящиков и тут же заменил им свою набедренную повязку. Это позволило мне удалить с картины манчестерский ситец и, к общему удовольствию, изобразить целиком его стройную фигуру. Вид у него был теперь совсем осмысленный. На его лице даже промелькнула улыбка, выражавшая застенчивое любопытство.

После четвертого сеанса (каждый сеанс длился около получаса), когда портрет продвинулся настолько, что голова имела вполне понятный вид, мы решили повернуть юношу лицом к портрету, чтобы он посмотрел на свое изображение. На минуту он снова превратился в первобытное существо — по-обезьяньи вытянул губы трубочкой, и нам показалось, что он узнает свой профиль не больше, чем, скажем, собака, смотрящая в зеркало. Однако после перерыва он вернулся из глубины музея и принес шляпу, которую надел, сдвинув на затылок, тем давая понять, что считает ее подходящим головным убором. Мы не представляли себе хода его мыслей, так как нельзя было ожидать, чтобы он понимал, как пишутся портреты. Но этот первобытный человек чувствовал, что каким-то образом участвует в нашем труде, и мы не могли не оценить его понятливости.

Как только он понял, что после каждой передышки надо возвращаться обратно в круг, он осторожно перешагивал черту, стараясь не наступить на нее, и принимал прежнее положение, повернув голову в ту же сторону. Он оставался в этой позе до тех пор, пока ему снова не предлагали встать. Маргарет только один раз поправила его в начале второго сеанса. Среди белых моделей мне попадались такие, с которыми нужно было говорить до хрипоты, втолковывая им, чтобы во время каждого сеанса они занимали одну и ту же позицию. Попадались и такие, которые сами понимали, что нужно, хотя им никто еще ничего не говорил. Этот папуас принадлежал ко второму типу. Ведь он даже не знал, для чего все это делалось.

Шляпа, которую он нашел, представляла сложное сооружение. У нее было основание из тростника, на котором в форме буквы «V» было укреплено несколько дюжин ракушек, а впереди шло несколько рядов больших собачьих зубов. Она напоминала скорее манжету, чем шляпу, так как у нее не было верха. Юноша вполне понятно объяснил нам, что, если бы у него были длинные волосы, он продел бы их сквозь шляпу, и тогда она держалась бы на голове. Пока я рисовала шляпу, он удерживал ее рукой в надлежащем положении, а когда я кончила и перешла к изображению несуществующих волос, он подошел и, стоя за моей спиной, следил за работой. После многих исправлений, мне удалось написать волосы, и юноша наградил нас протяжным свистом. Мы впервые слышали в Меланезии свист туземца. Этот свист был равноценен первой премии на какой-нибудь художественной выставке, потому что это было единственное одобрение, которое мы услышали от туземца.

Когда мы перешли к спине, я опять удостоилась одобрения. Хоть он и не знал, что перед ним его собственное изображение, спина на картине имела, на

его взгляд, замечательную татуировку. Он уселся перед холстом на корточки и, показывая на него пальцем, щебетал и насвистывал так долго, что мы потеряли терпение. Мы искали большое зеркало, чтобы дать ему возможность увидеть восхищавший его рисунок на собственной спине. У нас было карманное зеркальце, у одного из служителей музея нашлось приличного размера зеркало для бритья, но интеллекта папуаса не хватило на то, чтобы правильно применить его. По-видимому, он так и не понял, что удивительная спина, изображенная на картине, была его собственной.

Относительно занятной шляпы мы получили потом дополнительные сведения. Так же как и шляпа бугенвильцев, напоминающая китайский фонарик, она надевалась при посвящении в тайное общество, но оставалась на голове своего хозяина, пока тот был жив и жил в своей родной деревне. Когда молодежь завербовывали на работу, шляпы снимали и вместе с ними и волосы, потому что за годы, в течение которых шляпа находилась на голове, курчавые спутанные волосы туземцев так переплетались с тростниково-ракушечной конструкцией, что становились неотделимы одно от другого.

Эта шляпа подвела нас. В родной деревне этого юноши носили похожие шляпы, но та, которая послужила мне образцом, происходила из соседнего района. Папуас, вероятно, узнал ее потому, что ему приходилось видеть такие дома. Может быть, они попадали в деревню вместе с головами своих хозяев, отделенными от их тела. Однако по физическому типу туземцы, живущие на расстоянии нескольких миль, разделяющих эти районы, ничем не отличаются друг от друга. Таким образом, шляпа все-таки по праву поместилась на картине, так как она была изображена на голове туземца того же самого типа.

Но этот удивительный малиновый и ярко-синий с белым щит, который он себе подобрал! Мы сами давно восхищались им и искали повода нарисовать его. И вот наш папуас вернулся с одной из своих прогулок по музею именно с этим щитом. Вне себя от радости, я поместила его на заднем плане портрета, раскрашенной стороной к нам. Внутренняя сторона была из некрашеного дерева, а нас привлекали именно краски, и как раз они-то понравились и нашей модели. Только этим можно было оправдать его поступок. Этот щит не был ни папуасским, ни вообще новогвинейским, это было местное украшение, употреблявшееся во время танцев. После этого мы решили, что собственная кожа юноши — единственная вещь на картине, в подлинности которой мы были уверены.

Глава тридцать шестая



Нашей лебединой песней на территории Новой Гвинеи было туземное празднество. Уже одно то, что мы решились изобразить на полотне это торжество, заслуживает одобрения. Вдохновивший нас сюжет был необычайным зрелищем истинно голливудского размаха, которое мы пытались вместить на сорокадюймовом холсте. Причина нашей неудачи не в размере холста, а в неспособности красок передать все элементы, из которых складывается туземное празднество.

Существуют два вида празднеств: к первому виду относятся те, на которых танцуют, поют и пируют в честь совершеннолетия невесты, помолвки молодых, бракосочетания или рождения ребенка. На таких обычных празднествах присутствуют все жители деревни. Вторым видом являются сборища членов тайных обществ, как бы мужских клубов, где происходят не только церемонии по приему новичков, но и подготовка к набегам или празднование успешного завершения набега. На втором виде празднества не могут присутствовать женщины или посторонние. Традиционным блюдом на празднествах является

жареный кабан, и местное население находит столько же поводов лакомиться излюбленным блюдом, сколько итальянцы дней для празднования всех своих святых. Поводом для празднества может быть все что угодно, начиная от первой беременности или прорезывания первого зуба у ребенка и до обрезания или первой менструации, не говоря уже о более крупных событиях, как свадьба или вступление в тайное общество.

В каждом районе существует свой рецепт приготовления кабана. Мы расскажем о наиболее занятном.

В зарослях был пойман огромный раненый кабан. Четверо охотников с трудом принесли его в деревню, подвесив за ноги к бамбуковому шесту. Рану кабана замазали глиной, чтобы не вытекала кровь.

В центре деревенской площади был разложен костер. Над ним повесили живого кабана, чтобы опалить щетину и подрумянить кожу. Визжащему кабану накрепко связали пасть и вырезали отверстие в брюхе, через которое вытащили внутренности.
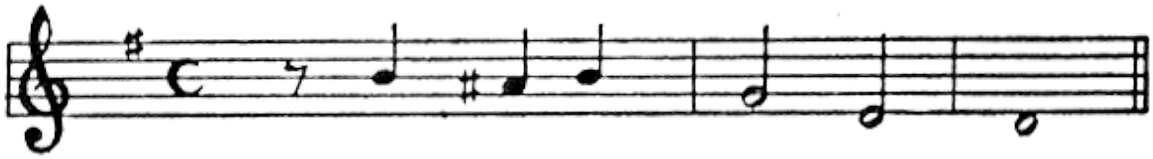


Туземцы начинили вскрытую полость брюха кусками горящего дерева. Мы не знаем, почему так было сделано, но через короткое время угли из туши были вынуты, а взамен положили какое-то количество саго. Конечно, при такой системе убоя потеря крови ничтожна, а ту кровь, которая вытекала у кабана из горла, собрали в большую раковину и вылили на саговую приправу.

Для обжаривания тушу положили на подстилку из листьев и водрузили на каменный очаг, прикрыв сверху слоем листьев, раскаленным песком и камнями.

Бывают празднества, на которых может присутствовать всякий желающий. Поводом для празднества может служить любое происшествие. Например, наша экспедиция послужила причиной такого спектакля, и, если бы мы не уехали, празднество приняло бы большие размеры.

Покидая одну из плантаций на Соломоновых островах, мы упаковывали вещи, а туземная жена плантатора, окруженная своими родственницами, наблюдала за укладыванием вещей. Четыре часа они сидели молча, глубоко потрясенные сокровищами, исчезавшими в глубине наших чемоданов, и смотрели, как Маргарет подносила вещи, а я укладывала их на привычные места.



Возможно, что в процессе работы у нас выработался определенный ритм, и тут одна из женщин запела, не разжимая губ. Потом она замолчала, громко захохотала вместе со всеми остальными и снова запела тот же мотив, протяжно голося на шестой ноте. Неожиданно другая женщина вступила на четвертой ноте и затянула ту же мелодию; потом запела третья. Они пели с закрытыми ртами, но очень гармонично и протяжно, как при богослужении. Потом первая женщина перешла к сольному исполнению и пела приблизительно следующее: «Обе миссис уезжают, уезжают, уезжают... Они укладывают в ящик белые платья, белые платья, белые платья... (Платьев было три.) Они едут на катере... Они уезжают на пароходе... Высокая рисует

картины, а маленькая поет зубами (то есть свистит). Право, они завтра уедут…»

Одна из женщин, та, что запела первой, поднялась с места и довольно застенчиво и неуклюже разыграла пантомиму, изображавшую укладывание вещей. Оставаясь стоять на месте, она показывала, как мы ходим взад и вперед; при этом она сильно притоптывала пятками, что, по-видимому, является основным па в меланезийском танце. Дружный хохот родственниц заставил женщину закончить танец, но тем не менее это выступление содержало зерно празднества общественного характера и именно так празднества начинаются.

Эти женщины были единственными жительницами Восточной Меланезии, которых мы видели поющими и танцующими. Несомненно, что только привычка общения с белыми людьми и отсутствие боязни быть поднятыми на смех (что неминуемо произошло бы в деревне) позволило им петь и танцевать, что является чисто мужской прерогативой.

Танец, вызванный каким-либо текущим событием, зачастую показывается в порядке соревнования представителями нескольких дружественных деревень. Имевший успех номер может стать предметом «купли-продажи» между отдельными деревнями, а исполнители пантомимы или текста обучают «покупателей» точно так же, как наши учителя танцев сбывают продукт своей выдумки.

На первый взгляд, тема такого празднества может показаться очень прозаичной. Представление, которое мы увидели и решили изобразить на картине, было посвящено еще более прозаическому событию, чем только что описанная пантомима «Обе миссис уезжают…». В этом случае причиной празднества был отъезд миссионера, прослужившего двадцать пять лет на островах и покидавшего их навсегда.

Местопребывание миссионера находилось в четырех милях от города, и мы сильно сомневались, стоит ли в душный субботний вечер предпринимать даже столь недалекое путешествие. Мы были уверены, что тщательно причесанная и одетая в белые чистые рубашки туземная паства усядется полукругом и будет, фальшивя, распевать: «При встрече в мире том…», а мы будем изнывать от жары.

Все же, усевшись в редакторский двухместный «форд», мы покатили. Даже в затененных деревьями улицах Рабаула висела густая пыль; на протяжении многих недель не упало ни капли дождя, и дорога превратилась в ослепительно белую, как пух лебедя, пудру. Подъезжая к Кокопо, мы поняли, что перенесенные нами лишения не будут напрасными; впервые мы увидели такое скопление туземного населения. По обеим сторонам дороги нескончаемой вереницей в Кокопо шли люди, украшенные цветами и бусами. Их намазанная кокосовым маслом кожа была покрыта налетом пыли, щедро подымаемой проезжавшими автомашинами. Когда же мы подъехали к зданию духовной миссии, то увидели нечто похожее на ярмарку в небольшом городе. Со всех сторон сюда спешили толпы туземцев, и мы с трудом двигались в этой массе людей с разрисованными лицами, высокими причудливыми украшениями на головах, блестящими от кокосового масла и пота телами и ртами, расплывшимися в улыбке. Двое носильщиков пронесли мимо нас огромного живого кабана, подвешенного за ноги к шесту. В этой жаре мы покрылись таким слоем пыли, что даже потеряли нашу драгоценную белую окраску. Сегодня — день туземцев!

С трудом мы прошли в здание миссии, и нам указали места на веранде, переполненной белыми посетителями. Непосредственно перед верандой, обращенной в сторону залива, была просторная площадь размером с

небольшой ипподром. Она была заполнена туземцами, и порой казалось, что это не люди, а разбросанное цветное конфетти или беспорядочно нанесенные мазки красок. В воздухе висела густая пыль, пронизанная лучами солнца, а бухта, видневшаяся позади бахромчатой линии пальм, напоминала таз с разведенной синькой.

Первоначально находившаяся под нами толпа туземцев казалась беспорядочным нагромождением перьев, причудливых причесок, масок, полос краски на коричневых телах, руках и ногах, украшенных цветной бумагой, ветками живых цветов и похожими на мечи листьями каких-то тропических растений. Все это двигалось и переливалось в большом беспорядке. Я собралась отправиться в толпу, чтобы фотографировать, но миссионер велел подождать.



Где-то внизу, возле берега, начался барабанный бой; тысячи голов повернулись в ту сторону, и тут произошло нечто необычайное. Огромная масса людей разделилась

на небольшие группы, словно какое-то божество разрезало пирог на маленькие части. Туземцы каждой группы начали двигаться в унисон. Каждая группа исполняла свою песню, свой танец и двигалась по-своему. Кое-кто из мужчин танцевал соло, прыгая взад и вперед, но вместе с тем участвуя в одной линии танцоров. Другие плясали попарно, двигаясь лицом друг к другу, но тоже в унисон. Только одна группа, прижатая зрителями к веранде, танцевала иначе, и каждый участник исполнял свою собственную пантомиму. Повсюду барабаны отбивали дробь, и если содержание танцев объясняло тему отъезда миссионера, то мы этого понять не могли.

Собравшиеся здесь люди были из разных концов Новой Гвинеи, и это празднество было для них тем же художественным состязанием деревень, но огромного, невиданного масштаба.

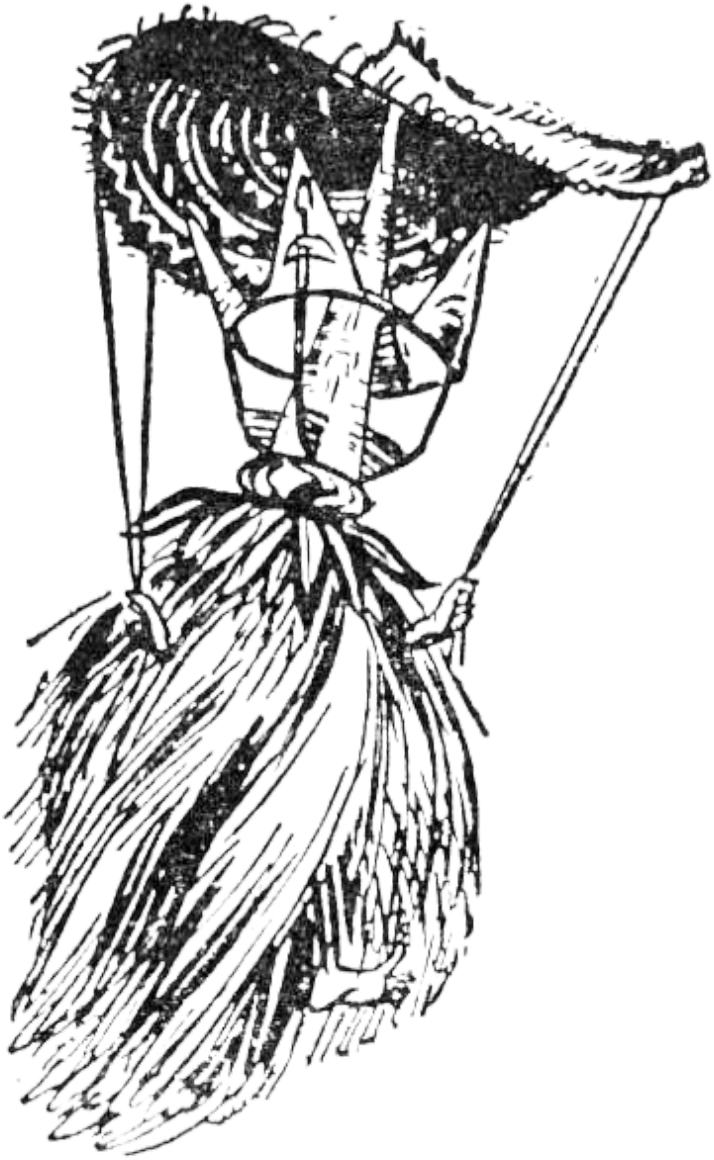
Каждая группа начинала песню и танец в очень умеренном темпе, но постепенно, желая быть услышанными и увиденными, танцоры входили в раж и выкрики, сочетавшиеся с диким боем барабанов, становились все пронзительнее. Ритм движений ускорялся; перья и листья развевались все сильнее и сильнее, и снова перед нами возникало волнующееся море цветного конфетти.

Я спустилась с веранды вниз и с трудом прокладывала себе дорогу среди туземцев, окружавших каждую группу танцующих. С широко раскрытыми ртами и сверкающими от восторга глазами, зрители так были увлечены празднеством, что даже не уступали дороги белой женщине, что они охотно всегда и повсюду делают. Танцоры размахивали руками и, прыгая из стороны в сторону, зачастую наносили безропотным зрителям сильные удары, не вызывая чьего-либо недовольства или сопротивления. Временами казалось, что танцоры обезумели; их глаза налились кровью, а

потоки пота размыли узоры красок на лицах. Отбивая резкую дробь пустыми орехами или раковинами, танцоры размахивали ветвями или листьями; на прическах колыхались полосы гофрированной бумаги, а повязки на запястьях трепетали, как бешеные. Кругом стояли облака пыли, и все было пропитано запахом кокосового масла, разгоряченных тел и своеобразно острым ароматом травы.

Обливаясь потом, струившимся со лба мне в глаза, я пыталась фотографировать, но не хватало рук, чтобы отталкивать мешавших моей работе людей. Меня охватил панический страх; когда я очутилась одна в толпе туземцев, среди диких людей, ревущих во весь голос и бьющих в барабаны…

У меня захватило дыхание, но бежать было некуда. Каждый человек, когда-либо переживавший панический ужас, поймет мое состояние.



Однажды я пережила нечто подобное, находясь в переполненном лифте большого магазина. Дверь лифта, закрываясь, прищемила ногу какой-то женщине, и, когда лифт начал опускаться, женщина повисла под потолком кабины. Мгновенно лифт наполнился нечеловеческими криками, а многие женщины упали в обморок, но оставались в вертикальном состоянии, так как падать было некуда. Кабина лифта с людьми превратилась в клетку со зверьми женского рода, которые царапались,

молотили руками и неистово кричали. Это была массовая паника.

Теперь, зажатая со всех сторон судорожно дергающимися темнокожими людьми, я ощущала нечто сходное. Это было ощущение, не поддающееся разумному объяснению или контролю. Возможно, что ритм движения окружающих меня людей совпал с моим внутренним ритмом, как это происходит в момент, когда колебания, вызванные шагами людей, идущих по мосту, достигают в общей сложности такой силы, что под ее влиянием мост рушится.

Одна из мало приятных особенностей туземных танцев заключается в том, что они не прекращаются до тех пор, пока танцоры не падают в изнеможении. Сейчас они плясали и плясали с искаженными лицами, и этот танец был похож на самобичевание.

Но это был всего лишь народный праздник, устроенный новообращенными христианами в честь отъезжающего духовного пастыря. Интересно, как бы выглядело празднество, отмечающее подготовку к воинственному набегу?

Англичане известны своей склонностью к парадоксам, и, когда мне удалось добраться до веранды, где я себя почувствовала в безопасности, меня встретили чашкой чая и пирожными. Пока внизу толпа бесновалась в истерическом танце, здесь сидели и медленно распивали чай; я вспомнила о римских императорах, лениво жевавших финики, пока на арене львы терзали христиан.

Солнце садилось за бухтой, освещая кровавыми лучами безумствующую толпу. Пальмы сверкали яркой зеленью на фоне небес цвета раздавленной земляники. Посмотрев на миссионера, я увидела его смущенное лицо: он провел здесь двадцать пять трудных лет, насаждая среди дикарей христианское просвещение, и сегодня, накануне своего отъезда, понял, что все было

напрасно и что овцы его стада остались прежними волками. Внизу, возле самой веранды, танцевала группа из шести человек; расположившись попарно, они яростно прыгали и разыгрывали странную пантомиму. Каждый из них был одет в рубашку, какую туземные женщины надевают при входе в город, а под рубашками были положены палочки, отлично имитировавшие очертания женской груди. Это была единственная группа танцоров, вызывавшая у зрителей дружный смех. Каждый танцор держал в руках корзинку с куриными яйцами и поочередно подходил к миссионеру и клал яйца к его ногам. Яйцо, принесенное женщиной, имело какой-то символический смысл, понятный миссионеру, но он не пожелал объяснить нам его значение.

Теперь, когда мы увидели, услышали и прочувствовали туземное празднество, было решено увековечить это своеобразное зрелище на полотне. Мы не ставили себе задачей изобразить именно это зрелище, увиденное с высоты миссионерской веранды; оно не является типичным, и подобные толпы собираются только по инициативе белого населения, да и то один раз в полсотни лет. Мы собирались изобразить маленькое деревенское празднество.

Мы начали с того, что позвали в музей Томбата и его сородичей и предложили примерить имеющиеся там украшения, характерные для их района. Наши модели были очень довольны, поскольку им удалось собраться вместе и, главное, освободиться от повседневной работы; они разукрасили себя полосами белой глины и листьями и позировали группами, принимая различные танцевальные позы, а я их фотографировала. Томбат, которому пришлось позировать для индивидуального рисунка, разыскал в музее украшение колдуна, используемое в праздничном танце. Это украшение больше всего напоминало высокий зонт, покрытый белыми остроконечными перьями и размалеванный

снизу полосами белого и синего цвета. Все сооружение покоилось на пятифутовых подпорках, устанавливаемых на плечах танцующего. Сделанная из длинной пышной травы рубашка, свисавшая до колен, скрывала человеческую фигуру.

Как большинство масок, употребляемых в туземных танцах, сооружение было громоздким и малоприспособленным для носки, но Томбат влез в него и под завывания своих соплеменников из рода То сделал несколько неуклюжих прыжков, чтобы показать нам, как надо действовать. Мы не имели ни малейшего представления о значении этой маски и не понимали, что изображают перед нами своим пением и танцами представители рода То. Но все же мы начали работу над этим материалом.

К несчастью, ширина холста была всего лишь сорок дюймов, и это помешало нам дать панораму, как того требовал хороводный танец, а для того чтобы вместить высокую маску, нам пришлось избрать вертикальную композицию.

На протяжении трех недель я напрасно работала над картиной: в ней не хватало главного — пыли, запахов, жары, полузадохшегося дыхания людей, безумия, а более всего — ритмического движения, способного разрушать мосты и обращать в бегство художника, даже если он способен заниматься охотой за головами.

Мы сомневаемся, что кому-либо удастся изобразить в рисунке нечто подобное, разве лишь в форме абстрактной символики.

Но что тогда будет перед вами? Только не соответствующая действительности выдумка…

Глава тридцать седьмая



Прежде чем юго-восточные муссоны принесли дожди, наступила пятинедельная засуха, которая после сухого сезона показалась не особенно долгой и изнурительной.

Каждый велосипед или автомобиль, проезжавший мимо наших окон, поднимал облака врывавшейся в комнату белой пыли, и Рабаул стал форменным адом, населенным раздраженными людьми. Знакомый нам судья утверждал, что никогда не поступало столько судебных дел и что на суде свидетели несут полнейший вздор и даже вступают в драки. Двое наших знакомых поочередно разбились насмерть при автомобильных поездках, во время которых они пытались «проветриться». Один знакомый плантатор был найден мертвым. Супруга и помощник управляющего плантацией были арестованы по подозрению в отравлении плантатора. Хотя оба были оправданы, помощник все же покончил жизнь самоубийством. Дочка другого плантатора сбежала с чужим мужем, а законная супруга покончила с собой, чтобы не мешать счастью мужа. Незамужняя дочка одной из наших знакомых, у которой мы всегда играли в теннис, забеременела, что

было неслыханным для молодой особы, недавно окончившей в Австралии очень привилегированное женское училище. Казалось бы, подобного скандала вполне достаточно даже для Рабаула, переживавшего этот трудный климатический сезон, но не тут-то было. В соседнем поселке некая белая «девственница» родила ребенка от туземца, которого едва не линчевали с давнишним энтузиазмом наших южных штатов.

В одну из нестерпимо душных ночей, когда, лежа в кровати под противомоскитной сеткой, чувствуешь себя словно внутри духового утюга, наша гостиница превратилась в форменный ад. По соседству с нами поселилась семья, состоявшая из мужа, жены и ребенка, заболевшего от невыносимой жары и плакавшего ночи напролет. Его родители непрерывно ссорились, и через перегородку, символизировавшую возможность уединения, к нам доносились все без исключения звуки; мы даже слышали, как супруги царапаются. Учитывая эту звукопроницаемость, Маргарет и я стали объясняться знаками и записками. Конечно, мы могли бы переехать в другую комнату, но наши соседи собирались скоро уехать. Мы тоже считали себя временными жильцами, и если уж трогаться с места, то лучше всего покинуть Рабаул навсегда.

В этот субботний вечер наш сосед, обращаясь к жене и, очевидно, ко всем обитателям дома, заявил о своем намерении отправиться пьянствовать. Супруга пыталась его не пустить, но так как он не соглашался, она последовала за ним, оставив ребенка в одиночестве.

В два часа ночи, лежа в постели и мучаясь от жары, мы услышали вопли, сотрясавшие весь дом. На этот раз вопли шли не из соседней комнаты, а прямо из комнаты по диагонали здания, где поселился какой-то золотоискатель. Вслед за воплями раздался шум и грохот, потом началась драка, и чей-то женский голос неистово кричал: «Ради Бога... Не убивай его!» В

дополнение ко всему по соседству заплакал ребенок, а кругом послышались удары кулаками в дверь, крики мужчин и оглушительный треск ломающейся двери; потом все сменилось шумом всеобщей драки. Не разобрав ни единого слова, мы остались в полном неведении и лишь утром узнали, что владелец ресторана неожиданно вспомнил, что живущий по диагонали от нас золотоискатель с давних времен является его должником. Выпив лишнего, владелец ресторана отправился ночью выколачивать долги из золотоискателя; женские вопли принадлежали жене ресторатора.

Но это не было концом наших субботних испытаний. Оставленный в одиночестве ребенок продолжал плакать.

Несколько позже качнулась наша кровать, а потом с треском закачалось все здание. Это было землетрясение… Настоящее землетрясение, учитываемое в правительственных донесениях. Все здание трещало, как спичечная коробка под ударами кулака, а наша кровать раскачивалась, как люлька. По всему зданию раздавался топот бегущих ног, отовсюду доносились крики людей и грохот падающих предметов. По соседству истошным голосом кричал ребенок, и его крик подействовал на нас отрезвляюще, но когда мы попытались вылезть из кровати, то это оказалось сложным делом, так как кровать рухнула на пол, а мы запутались в противомоскитном пологе. Было смешно и страшно. Внезапно загорелся свет и осветил трясущееся здание; потом свет погас и стало еще страшнее. Казалось, вот-вот обвалится крыша. Затем дом тряхнуло с такой силой, что все висевшие или стоявшие предметы полетели на пол.

Видимо, для Рабаула наступил час «ужасающей катастрофы». С улицы доносились крики и топот босых ног. Подземный толчок продолжался около трех минут, и

не успели мы выскочить на улицу, как последовал второй толчок, от которого закачались вершины деревьев. Отовсюду слышался вой собак и кукареканье петухов.

Мы очутились на углу улицы, среди толпы, смотревшей на вершины гор и ожидавшей извержения вулканов, но горизонт был прозрачно-синим, а облако серы к югу от города напоминало о том, что вероятность взлететь на воздух ничуть не дальше от нас, чем обычно.

Покуда мы стояли на углу, мимо нас, крича от ужаса, пробежала перепуганная мать оставшегося в соседней комнате ребенка. Мы почувствовали себя виноватыми перед ней за то, что в момент панического бегства из трещавшего по швам дома не вспомнили о ребенке. Теперь, расхрабрившись, мы вошли в дом вслед за соседкой и увидели, что огромный и тяжелый гардероб рухнул в направлении кровати, где лежал ребенок. К счастью, открывавшиеся двери задержали падение и ребенок остался невредимым. Наши вещи не пострадали, но неожиданно мы обнаружили нечто очень серьезное: все наши картины, написанные на Соломоновых островах, пострадали от сернистых газов, наполнявших Рабаул.

Поселившись в «Амбассадоре», мы развернули полотна и развесили их в кладовой лицом к стене, чтобы они постепенно просохли; сейчас все они валялись на полу и мы воочию убедились, что длительное пребывание в атмосфере, насыщенной испарениями серы, нанесло им серьезный урон. Все написанное свинцовыми красками было повреждено; белое стало золотисто-желтым, а все краски с примесью белил потускнели и стали значительно темнее; некоторые зеленые тона превратились в черные, а мареновый красный цвет полностью обесцветился.

Мы были глубоко потрясены происшедшим. Надо было немедленно переписать картины, пока было что переписывать. Но мы не могли больше задерживаться в Рабауле, так как наш заработок равнялся нулю. Того, что мы здесь заработали, едва хватило на оплату текущих расходов. Правда, нам заказали написать портрет главного судьи для зала Рабаульского клуба, но еще до получения чека мы решили вернуться на родину. Конечно, это было отступлением, но все же не постыдным бегством, так как мы располагали портретами меланезийцев, ради которых сюда приехали.

Оставалось написать портреты негроидных и монголоидных «предков», живущих к западу, но мы не рисковали израсходовать деньги, предназначавшиеся на оплату обратного пути. Чек за портрет главного судьи мог бы компенсировать расходы по переезду в Папуа и даже до Самараи и Морсби — двух больших населенных пунктов, где можно найти достаточное количество белокожих заказчиков портретов, чтобы добраться до острова Четверга — центра жизни белых людей в северном Квинсленде. Это была длинная цепь возможностей, но мы не решались за нее ухватиться, и все эти размышления не имели ничего общего с проблемой спасения наших меланезийских полотен. Было совершенно ясно, что мы не сможем остаться в Рабауле для копирования картин; такая работа может быть сделана только в спокойной обстановке и без всякой спешки. Поэтому надо было срочно приостановить разрушение красок и немедленно отправить отсюда все наши картины.

Надо сказать, что изменение красок под влиянием серы происходит повсеместно, если в воздухе присутствует двуокись серы, распространяемая в городах котельными, работающими на угле. Это же вещество заставляет нас вечно чистить столовое

серебро, медные украшения, и оно же придает старым живописным полотнам желто-золотистый оттенок. Реставраторы картин получают немалые деньги за то, чтобы удалить этот налет ржаным хлебным мякишем, кусками сырого картофеля или лука. Однако я не советую вам, читатель, приниматься за реставрацию картин, так как если поврежден слой краски, находящийся под лаком, то последний приходится удалять, а это очень тонкая работа, за которую реставраторы вполне заслуженно получают большие деньги.

Во всем мире не было средства, которое могло бы оживить мареново-красную краску на наших картинах, но свинцовые краски можно было попытаться восстановить. Однако на расстоянии тысячи миль от Рабаула нельзя было сыскать ржаного мякиша, а найденный нами картофель не оказывал ни малейшего влияния на вулканическую серу.

Нам удалось одолжить в правительственной резиденции луковицу (мы ее съели впоследствии, так как это была первая луковица, которая нам попалась за многие и многие месяцы); плача горькими слезами, мы терли картины луком до тех пор, покуда убедились, что лук не помогает. Я вспомнила, что можно применять перекись водорода, но имевшаяся здесь перекись потеряла от жары ряд свойств и была непригодной. Так как после всех наших операций полотна отсырели, то, ничем не рискуя, мы решили попробовать обмыть их водой и мылом. Ведь мы имели дело с красками, применявшимися для окраски судов! Почему бы не попробовать? С некоторым опасением мы добавили в воду небольшое количество нашатырного спирта.

Все сородичи Томбата, собравшиеся вокруг нас, издали крик удивления, когда перед нами снова заблистали краски. Зеленый цвет так и не получил прежней яркости; красный и белый остались чуть

мутноватыми, но все же мыло сумело устранить разрушительный налет. Если одновременно с картин удалялось еще что-нибудь, мы старались не обращать внимания.

Затем мы вынесли полотна на освещенный солнцем двор, и весь клан То, вооружившись ведрами, поливал их водой, чтобы смыть мыло и нашатырь. Затем все картины были развешаны вдоль задней стены дома, где подверглись сушке, насколько позволяли тропические условия.

Возгордившиеся представители клана То пригласили чуть ли не всех туземцев Рабаула познакомиться с изображениями своих собратьев с Соломоновых островов, посмеяться над их глупыми деревенскими одеждами и «диким» выражением лиц. Наибольшее признание получил портрет жителя малаитянских зарослей благодаря его выражению лица. Пожалуй, ни на одной выставке мы не имели такого шумного успеха.

Любопытно было наблюдать за тем, как зрители рассматривали картины. Портреты лежали плашмя на земле, а туземцы расположились вокруг, усевшись на корточки. Те из зрителей, что очутились у верхней части картины и видели ее вверх ногами, рассматривали портрете неменьшим интересом, чем те, кто видел его правильно. Они не нагибали голову, чтобы заглянуть сбоку, как делаем мы, когда смотрим на перевернутый рисунок. Возможно, что в этом были виноваты мои картины, на которые можно было смотреть как угодно и с одинаковым результатом.

Полотна были высушены с обеих сторон и тщательно покрыты лаком. По всем правилам к этому времени от изображения ничего не должно было остаться. Краски, которые не выгорели на солнце, должны были потрескаться и облупиться, так как холст попеременно садился или вытягивался. Вероятно, так бы и случилось, если бы большая часть моих шедевров не была написана

на грубой парусине выдерживающей столетия корабельной краской. Полотна мы сушили, прибив их к стене. Для большей сохранности от плесени после нескольких покрытий лаком (что также предупреждало картины от порчи насекомыми) мы снова высушили на солнце обратную сторону полотен. Думаю, что никакие картины на белом свете не переносили подобных испытаний.

Теперь нам оставалось решить судьбу картин, а заодно и нашу собственную. Решать надо было быстро, так как наступил кризис в выборе судов и направлений: через три недели в Рабаул должен был прибыть грузовой пароход, идущий на Филиппины, а послезавтра отправлялся сиднейский пароход с заходом в Самараи на Папуа. Кроме того, в порту бросила якорь шхуна американской научной экспедиции, и мы получили приглашение отправиться на ней в дальнейший путь. На протяжении почти двух лет американская шхуна шла по нашему маршруту, но находилась несколько впереди нас. По рассказам мы знали все подробности о личном составе экспедиции, имена участников и даже особенности характера каждого из них. Сотни раз Маргарет и я говорили о желании быть участниками этой экспедиции, и теперь шхуна прибыла в Рабаул, а мы получили приглашение плыть на ней. Но шхуна возвращалась на Соломоновы острова, а наш путь, если уж оставаться в этих краях, лежал на запад.

Мы чисто по-женски чувствовали себя растерянными и не знали, на что решиться: отправиться ли обратно по прежним следам на Соломоновы острова, где, имея на шхуне постоянную базу, мы могли бы работать в идеальных условиях; отправиться ли навстречу неизвестному на Папуа и острова Голландской Индии или плыть через Филиппины на родину, не закончив намеченной работы?

Мы приняли героическое решение, как обычно бывает только в приключенческих романах, решившись отправиться на запад, потому что нарисованный нами юноша-папуас был настолько интересным образцом, что мы не могли устоять перед соблазном изобразить других представителей этого народа.

До отплытия на Папуа в нашем распоряжении оставались две ночи и день. За это время мы должны были сложить вещи и попрощаться с друзьями, а при такой жаре это была непосильная работа.

Редактор газеты добровольно взял на себя заботу о наших картинах; их надо было свернуть в рулон, проложив вощеной бумагой, упаковать в циновки и крепкий ящик, а затем отправить на грузовом пароходе на Филиппины, откуда их перешлют в Сан-Франциско в адрес наших друзей, которым мы обо всем написали. Поскольку картины были собственноручным изделием гражданина США, они не должны были облагаться ввозной пошлиной. Нам казалось, что наш план тщательно продуман и никаких подвохов быть не может. Однако мы не учли всего, что могло случиться в Рабауле.

В одно прекрасное утро вскоре после нашего отъезда из Рабаула белые резиденты обнаружили, что в их домах, конторах, больницах и даже в полицейских казармах не осталось ни единого туземца. Во всем городе нельзя было сыскать ни одного туземного жителя! Попробуйте представить себе, что в проснувшемся утром Нью-Йорке прекратили работу все рабочие и служащие. Несомненно, что в Нью-Йорке это вызвало бы не меньшее потрясение, чем в Рабауле. Три тысячи человек домашней и конторской прислуги и двести пятьдесят полицейских ушли восвояси, не предупредив ни о чем и не вызвав ни малейшего подозрения у своих хозяев. Всего неделю назад уроженцы районов Сепик, Бука и Ману готовы были перегрызть друг другу глотки, и массовые

междоусобные столкновения были предупреждены быстрыми действиями администрации, изъявшей у туземных обывателей чуть ли не четыреста копий, которыми владели такие легкомысленные молодые люди, как Томбат и его сородичи. И вдруг все междоусобные распри исчезли в общей борьбе с белым человеком.

Туземцы бастовали! Они требовали повышения заработной платы!

Три тысячи двести с лишним туземцев сосредоточились в Малагуна, всего лишь в нескольких милях от города, где они, располагая достаточным запасом продовольствия, могли отсиживаться до тех пор, покуда хозяева пойдут на соглашение. Самым удивительным было, что все движение было организовано с такой скрытностью и так тщательно, что никто из белых жителей ничего не знал, покуда утром за чайным столом не обнаружил себя в необслуживаемом опустевшем доме. Впоследствии говорили, что подстрекали к восстанию матросы с какого-то судна и что они были «немцами».

Стачку «успешно ликвидировали», но это привело к расколу среди белого населения. Одна группа состояла из консервативных правительственных элементов, которые арестовали туземных вожаков (после того как забастовщики приступили к работе без повышения заработной платы) и приговорили их к тюремному заключению. Другая группа объединила оппозиционные правительству элементы, требовавшие для забастовщиков сурового наказания в виде публичной порки, как это когда-то делала для устрашения туземцев немецкая администрация. Одним из вдохновителей идеи «раскроить туземцам головы, прежде чем они это сделают с нашими», был и наш прежний друг — редактор рабаульской газеты. Будучи руководителем местной прессы, он настолько увлекся

письменным изложением своего мнения, что позабыл о судьбе наших картин. Грузовой пароход пришел и ушел на Филиппины, а наши драгоценные неупакованные полотна продолжали висеть на стенах «Амбассадора» и покрывались слоем плесени, покуда представители прессы и правительства наносили друг другу удары. Так продолжалось много месяцев.

Тем временем мы прибыли на Яву, где в конце концов получили письмо из Сан-Франциско, в котором сообщалось, что картины не прибыли. Мы написали в Рабаул судье и просили узнать, что произошло с нашими картинами. В это время борьба между прессой и правительством велась со всей серьезностью, и когда судья (представитель правительства) спросил у редактора (представителя оппозиции), что произошло с нашими картинами, редактор усмотрел в этом вопросе повод для нового столкновения. Он отказался информировать судью о судьбе картин. Когда же лазутчики судьи выяснили, что картины продолжают висеть в «Амбассадоре», редактор отказался передать полотна судье для переотправки их нам. Только рабаульская засуха может довести человека до столь дурацкого поведения. В конце концов несколько разъяренных местных политиканов начали судебное преследование рабаульской газеты за распространение клеветы, и редактор, спасая шкуру, отправился невесть куда искать золото. Уехал он очень поспешно, но напоследок решил насолить судье (искренно огорчавшемуся, что не может помочь нам) и спрятал наши полотна. Весь город был поднят на ноги для розыска исчезнувших картин, были запрошены все пароходы, побывавшие в последние месяцы в рабаульском порту, но все было безуспешным.

Находясь на Яве, мы были охвачены полным отчаянием: ведь пропали не только портреты, написанные на Соломоновых островах, но и все

написанное на протяжении нескольких месяцев в Рабауле. Вся наша коллекция бесследно исчезла.

Рабаульская «ужасающая катастрофа», предсказанная много лет назад доктором Паркинсоном, началась в субботу. Первые толчки ощущались еще в пятницу, и они были неслыханной силы. На следующий день толчки повторились и следовали один за другим через минуту. Землетрясение считается здесь обычным явлением, а тут вдобавок была суббота, и все думали о воскресном отдыхе. Внезапно над бухтой острова Вулкан поднялось большое облако пара и разноцветного дыма. Облако клубилось, принимало различные очертания и двигалось к Рабаулу. Когда ветер переменил направление, рабаульцы увидели столб грязи в милю высотой, выброшенный из середины бухты; пепел и камни летели во все стороны, а на отрезке от острова Вулкан до острова Матапи начался ряд новых извержений, приближавшихся к Рабаулу.

Многие граждане, среди которых было несколько чудаков с фотоаппаратами, расположились в районе пристани и любовались занятным зрелищем, но когда ветер изменился, все поняли, что извержение представляет всеобщую опасность Удушающая и ослепляющая пыль покрыла весь полуостров, а крики, доносившиеся из китайского квартала, доказывали, что население охвачено паникой. Всех объял страх перед надвигавшимся столбом дыма и еще более существенной угрозой, которую должна была принести приливная волна, сопутствующая извержению. Бухта, в которой происходило извержение, не имеет высоких берегов, и Рабаул, стоящий в низине, был беззащитным при затоплении.

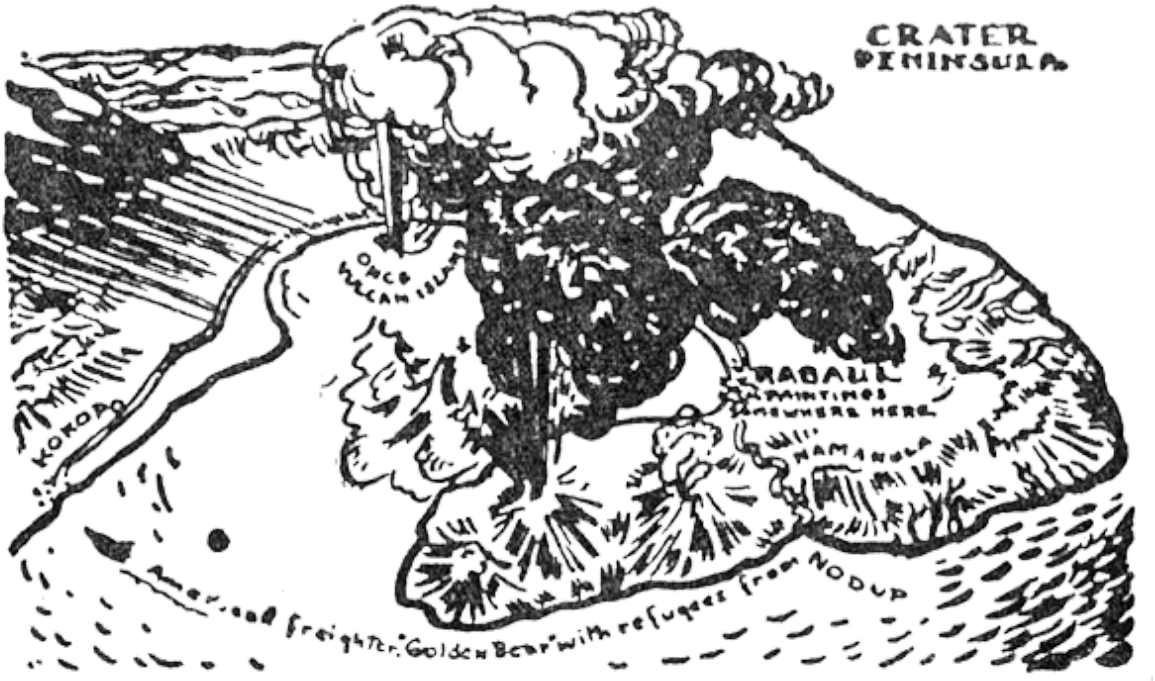
Паника послужила началом всеобщего бегства, и дорога в направлении горы Наманула вскоре была запружена автомашинами, велосипедами и бегущими туземцами. Непрерывно падающая пыль затмила

дневной свет, и люди очутились в непроглядном мраке. Всякое движение машин прекратилось, и ослепленные, задыхающиеся и плачущие люди продолжали путь пешком, натыкаясь друг на друга и падая в темноте. Непрерывно грохотал гром и сверкали молнии; деревья трещали и ломались под тяжестью пемзовой пыли; вскоре в Рабауле погас электрический свет. Всю ночь падал пепел, и ночь напролет девять тысяч европейцев, китайцев и туземцев ощупью пробирались вверх по склонам горы, под сомнительную защиту зданий больницы и правительственной резиденции. Последним эвакуировался персонал радиостанции, и полуостров был отрезан от всего мира.

Наутро, когда несколько прояснилось, капитан прибывшего американского грузового парохода «Голден Бер», пользуясь судовой радиостанцией, установил связь с сиднейским пароходом «Монторо», находившимся в двухстах милях в Кавиенге. Беженцам, собравшимся возле правительственной резиденции, было велено направиться к побережью океана в Нодупу, где их должен был принять на борт «Голден Бер» и постепенно переправить в относительно безопасный район Кокопо. Сумеет ли «Голден Бер» выйти из рабаульской гавани и подойти кружным путем к Нодупу? Для этого судно должно было пройти сквозь район подводного извержения между островами Вулкан и Матапи. Никто не знал, открыт ли проход в результате смещений, произошедших на дне моря, но капитан парохода «Голден Бер» Олсен не колебался ни минуты и на глазах у всех зрителей направил маленькое судно в гущу валившего дыма. Полчаса прошли в томительном ожидании, затем дым рассеялся и стало видно, что «Голден Бер» целый и невредимый вышел в открытое море.

Все воскресное утро продолжалась погрузка беженцев. К полудню, когда дым стал значительно

слабее, люди почувствовали себя увереннее, а кое-кто даже стал сомневаться в целесообразности отъезда из Рабаула. Но эти сомнения рассеялись вмиг, когда в 13 часов 15 минут раздался такой оглушительный грохот, что его было слышно за 200 миль в Кавиенге. Остров Матапи, являвшийся предместьем Рабаула, буквально взлетел к небесам. Гром оглушал, как усиленные в тысячи раз залпы тяжелых артиллерийских орудий. Над городом, очутившимся между кратерами двух вулканов, а также над горой Наманула-Хилл, где сгрудились беженцы, непрерывно сверкали грозовые разряды, пролетали шаровидные молнии — единственный источник света в этой кромешной тьме. Над этим обреченным местом разверзлись тучи, и грязевой поток хлынул с гор, уничтожая дорогу, по которой шли беженцы. Земля, смытая потоком в море, образовала мели, на одну из которых натолкнулся «Голден Бер», вывозивший беженцев. Запасы продовольствия, имевшиеся в Кокопо, были незначительны и их бы не хватило, чтобы прокормить людей на протяжении одного дня.



Переброска продовольствия из Рабаула в Нодупу велась по единственной дороге, которая теперь была размыта и покрыта слоем непроходимой грязи. Последний источник снабжения был отрезан.

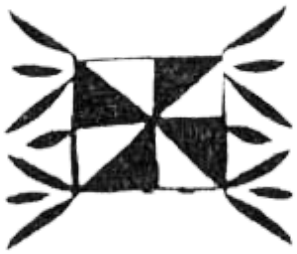
В понедельник из Кавиенга прибыл пароход «Монторо», которому удалось войти в бухту и начать переброску продовольствия из Рабаула. Воздух несколько очистился и теперь можно было разобрать, что делается в городе. Крыши сохранившихся домов были покрыты таким толстым слоем вулканической грязи, что многие оказались вдавленными внутрь. Зеленые насаждения выглядели, как после — химической атаки, а чудесные цветущие деревья вдоль дороги, возле которой мы жили, стояли теперь голые, лишенные ветвей, словно их долго обстреливали артиллерийским огнем. В гавани все вспомогательные суда, в том числе и незабываемый «Накапо», затонули: торчавшие над водой остатки судов были покрыты четырехфутовым слоем грязи и пемзовой пыли. До сих

пор осталось непонятным, почему землетрясение не сопровождалось разрушительной морской волной.

В понедельник произошли еще два извержения, но, к счастью, ветер дул так, что вся пыль и грязь летели в противоположную от Рабаула сторону. Когда воздух прояснился, произошло событие, перепугавшее людей больше, чем предыдущие извержения. Всегда молчавшая гора Наманула выбросила высокий столб пара; он извергался несколько минут и прекратился. Не было ни пепла, ни грязи, но через несколько минут появился еще более высокий столб пара. Наступил момент, когда даже руководившие эвакуацией чиновники обратились в бегство. Однако паника была напрасной, минут через двадцать столб пара стал постепенно снижаться и вскоре исчез. На этом извержение прекратилось.

Наши меланезийские полотна избежали всего описанного. Преданный судья, еще задолго до того как Рабаул стал местом ужасающей катастрофы, разыскал и отправил нам все картины.

У нас создалось ощущение, что своими извержениями острова Матапи и Вулкан заявили от имени всех островов, что если местное население и тропическая растительность не смогут вытеснить белого человека, то вулканы сами сумеют выбросить его вон.



Глава тридцать восьмая



Во время поездки на Папуа я была достаточно времени предоставлена самой себе, чтобы поразмыслить о положении дел нашей экспедиции.

Нынешний поклонник Маргарет специально взял отпуск в это время года, чтобы побыть с Маргарет наедине во время короткого путешествия до Самараи. Видимо, в Рабауле было слишком много народу, мешавшего ему объясниться с Маргарет. Этот поклонник фигурировал в списке пятым по счету, и Маргарет утверждала, что он должен быть упомянут в статистическом разделе экспедиционного отчета в числе прочих находок нашей экспедиции. Видимо, шансы на замужество у взрослой девушки, пробывшей столько времени в Меланезии, в несколько раз больше, чем у девушек в более прохладном климате.

Я оставила их наедине; молодой человек казался мне вполне «подходящим», и я уже подумывала о том, как будет хорошо для меня, если Маргарет поселится в Новой Гвинее, и я смогу приезжать к ней в гости на длительные сроки и работать в условиях полного комфорта. Но совершенно неожиданно я посмотрела на Маргарет с иной точки зрения и поняла, что ей не следует жить на Новой Гвинее.

Маргарет стала очень бледной; она не была больна, но стала какой-то прозрачной. Что это? Плохое питание? Отсутствие ультрафиолетовых лучей? А может быть, постоянная жара уничтожила в ней красные кровяные шарики? До сих пор она не страдала приступами лихорадки, и мы приписывали это систематическому приему хинина. Однако возможно, что фунты проглоченного хинина привели к этой бледности (несмотря на первоначальные запугивания, мы обе сохранили все зубы).

Спасла ли ежедневная доза хинина Маргарет от малярии?

Когда в конце нашего путешествия мы приехали на Яву, где нет малярии, Маргарет прекратила прием хинина. Три месяца мы прожили на побережье, а потом переехали в горы. Не прожив и месяца в этом значительно более прохладном месте, Маргарет тяжело заболела. Возможно, она привезла зародыши малярии с Новой Гвинеи, а может быть, она подхватила болезнь на Яве, вопреки всеобщим утверждениям, что малярия здесь отсутствует. Не исключено, что какой-нибудь ни в чем неповинный местный комар укусил меня, а потом заразил Маргарет. Может быть, болезнь Маргарет вовсе и не была малярией. Китайский врач говорил, что это малярия, но я не очень этому верила. Так или иначе, но Маргарет болела гораздо тяжелее меня и более продолжительно. А когда она перестала подшучивать над своим состоянием, меня охватило беспокойство.

Говоря о себе, должна отметить, что меня мучило ощущение глубокого противоречия между неудачей, постигшей наши первоначальные замыслы, и многообещающими надеждами на будущее. Мы располагали более чем тридцатью портретами меланезийцев, значительным числом эскизов и свыше чем сотней тщательно исполненных рисунков. Используя

имевшиеся эскизы, я могла бы написать не менее десятка крупных полотен.

Меня смущало не малое количество и не качество работ в их нынешнем состоянии. Я сделала все, что было возможно, но все же этого было недостаточно. С огорчением я видела, что мне не удалось передать ряда особенностей моих моделей, и я очень хорошо знала, чего именно недостает моим картинам. В них не было той естественной связи, которая существует между туземцами и окружающей их родной обстановкой. Нигде в мире, в том числе и у нас в Америке, я не видела такой гармонии между людьми и их окружением. Казалось, что здесь люлька сделана точно по мерке младенца. Это было видно по тому, как естественно выглядели коричневые тела туземцев среди пальм, как замечательно сливались они воедино с разрисованной тенями землей, как трудно было разглядеть людей, если они молчали. Это было видно по тому, как непринужденно держался меланезиец в своем выдолбленном из целого бревна каноэ, с какой легкостью это бревно скользило по прозрачной воде.

Казалось, что все это различные формы единой сущности. Но больше всего это проявлялось в непередаваемой средствами живописи слаженности общественной жизни в деревнях, отношений людей между собой, их философии, порожденной условиями жизни в диких зарослях, на берегу океана. Я пыталась запечатлеть этот гармонический фон, но люди оставались вне этого фона, не сливаясь с ним органически. Может быть, это объясняется излишней погоней за точностью изображения самой модели.

Крайне трудно было отрешиться от предвзятой мысли, что эти каннибалы и охотники за черепами — дикари, хотя мы отправились в путешествие с твердым намерением изобразить не дикарей, а полноправные человеческие существа. Несмотря на это, туземцы

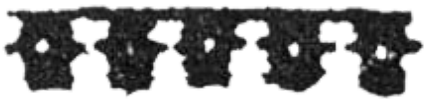
продолжали оставаться для нас чуждыми любопытными диковинками, но чем больше мы отдалялись от наших моделей, тем более понятными и симпатичными и во всяком случае человечными они нам казались.

Возможно, что мое настроение вообще характерно для художника, так как почти всегда чувствуешь, что мог бы сделать лучше, если бы подходил к сюжету несколько по-иному.

Что ж, настало время для проверки собственных возможностей, и на этом основывались все мои надежды. Восточное побережье Папуа было чисто меланезийским, и здесь я получила все возможности многое восполнить, включая изображение бананового дерева, папайи, саговой и бетелевой пальм. Теперь я вспомнила, что у меня нет даже символа этих островов — кокосовой пальмы. Оставалось еще многое сделать, чтобы получить полную картину Меланезии, и я вполне серьезно поблагодарила святого Христофора за то, что он привел меня сюда, вместо того чтобы направить домой. Я получила возможность закончить работу, если считать, что подобная работа вообще может быть когда-либо законченной.

Написанные мною попутно портреты белых людей едва ли можно считать творческим достижением экспедиции. За исключением некоторых портретов, написанных в Рабауле, они изображают людей, у которых мы останавливались, и в какой-то мере мы ими оплачивали гостеприимство наших хозяев.

Содержимое металлической коробки из-под сигарет, словно сказочный ковер-самолет, пронесло нас по всем Соломоновым островам, а портреты белых людей дали нам возможность совершить путешествие из Сан-Франциско, минуя Южный полюс, до Новой Гвинеи, и это было солидным достижением для небольшой, но видавшей виды металлической коробки, хотя на это ушло целых два года.



notes

Примечания

1

Соломоновы острова, расположенные между 154°40′ и 162°30′ восточной долготы и 5–11° южной широты, были впервые открыты испанским мореплавателем Альваро Менданья Нейра, отправившимся в 1567 году на двух кораблях из Кальяо (Перу) на поиски неизвестного Южного материка. Во время плавания Менданья побывал на одном из островов группы Эллиса и в феврале 1568 года высадился на берегу большого острова, названного им Санта-Исабель. Несколько позже он открыл острова Гуадалканал и Сан-Кристобаль.

Альваро Менданья предполагал, что эти острова являются преддверием к разыскиваемому им Южному материку, по возвращении в Перу очень красочно описал открытые им острова и назвал их Соломоновыми, решив, что он открыл страну Офир, куда, согласно библейской легенде, царь Соломон посылал корабли за золотом для украшения Иерусалимского храма.

В 1574 году Альваро Менданья получил от испанского правительства грамоту, даровавшую ему право колонизации и эксплуатации Соломоновых островов. По неизвестным причинам Менданья долго не мог покинуть Перу, и его второе путешествие осуществилось лишь в 1595 году.

Вторая экспедиция Менданьи была организована с большим размахом и отлично оснащена. Вместе с Менданьей отправились его жена Изабелла де Баррето, трое ее братьев и много колонистов. В пути они открыли Маркизовы острова, названные так в честь перуанского вице-короля маркиза Каньете.

Взяв курс несколько южнее Соломоновых островов, Менданья достиг в сентябре 1595 года (к юго-востоку от них) одного из северных островов группы Санта-Крус.

Здесь спутники Менданьи попытались организовать колонию, но успеха не имели. Среди участников экспедиции начались разногласия, а в начале октября того же года Менданья умер.

Главный кормчий экспедиции Педро Кирос фактически стал во главе экспедиции (формально ее возглавила вдова Менданьи, Изабелла де Баррето) и, забрав с собой всех ее участников, отплыл в направлении Филиппинских островов. Так же как и Менданья, он прошел в стороне от Соломоновых островов, вторично открыл Каролинские острова и в феврале 1596 года достиг Манилы.

С тех пор на протяжении более полутора столетий Соломоновы острова напрасно разыскивались европейцами, хотя в 1606 году тот же Педро Кирос, возглавляя экспедицию, искавшую Южный материк, прошел в западном направлении мимо островов Санта-Крус и видел группу островов Дафф.

В 1616 году голландские мореплаватели Ле Мер и Схаутен видели группу островов с низкими берегами, которые впоследствии, в 1643 году, увидел Тасман и назвал Онтонг-Джавой, по имени сходных по внешности островов, расположенных вблизи Батавии.

Только в 1767 году английский капитан Картерет вторично открыл острова Санта-Крус и остров Малаиту из группы Соломоновых островов.

Год спустя, в 1768 году, мореплаватель Бугенвиль, совершая на французских кораблях «Будёз» и «Этуаль» кругосветное плавание, прошел через нынешний пролив Бугенвиль. Он назвал остров, лежащий к востоку от пролива, именем Шуазёля, который тогда был могущественным министром Франции. Остров, расположенный к западу от пролива, он назвал своим именем.

В 1788 году лейтенант Шортленд, командовавший двумя английскими транспортами «Александр» и

«Френдшип», по пути из Нового Южного Уэлса в Кантон увидел и назвал ряд мысов различных островов, входящих в группу Соломоновых.

С середины XIX века Соломоновы острова стали посещаться европейскими, а особенно часто английскими военными кораблями. Одновременно с этим началось так называемое «мирное проникновение». В 1845 году группа миссионеров высадилась на южном берегу острова Сан-Кристобаль. Обосновавшись, миссионеры решили распространить свою деятельность и на остров Санта-Исабель, но на четвертый день их пребывания в бухте Тысячи Кораблей глава миссии был убит туземцами, а его спутники бежали на остров Сан-Кристобаль. В 1847 году, после того как еще трое миссионеров были убиты местными жителями, а один миссионер скончался от малярии, миссионерство было закрыто и лишь через полстолетия открыто вновь.

В 1851 году Бенджамен Бойд — предприниматель-капиталист из Нового Южного Уэлса — отправился на собственной яхте «Уондерер» к островам Сан-Кристобаль и Гуадалканале целью создать и возглавить независимое государство Соломоновых островов. На острове Гуадалканал Бенджамен Бойд был убит местными жителями.

С теми же результатами закончились попытки утвердиться на Соломоновых островах для епископа Петиссона (в 1871 году) и для коммодора Гуднафа (в 1875 году).

Наряду с этим начиная с 1860 года кое-кто из «белых» пришельцев не только появлялся, но и проживал на побережье Соломоновых островов, занимаясь вербовкой туземцев на работы в Квинсленд и на острова Фиджи. С 1903 года вербовка, являвшаяся одной из форм работорговли, для Квинсленда была запрещена, но для островов Фиджи продолжалась вплоть до 1910 года.

Между 1860 и 1893 годами число английских торговцев на Соломоновых островах постепенно увеличивалось и достигло полусотни человек, когда Великобритания заявила о своем «протекторате» над южными Соломоновыми островами. В 1885 году Соломоновы острова были поделены между Великобританией и Германией. В результате Первой мировой войны принадлежавшие Германии острова были переданы Австралии.

2

Золотые Ворота — пролив на западе США, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном.

3

Рабаул — город, построенный в 1910 году немцами в качестве административного центра германских владений на Новой Гвинее. Рабаул расположен в бухте Бланш, открытой и названной капитаном Симпсоном, который в 1872 году, плавая на корабле «Бланш», исследовал и нанес на карту удобную и большую бухту, оканчивающуюся глубокой и отлично защищенной гаванью Симпсона. Окруженная со всех сторон действующими и погасшими вулканами, гавань Симпсона, по-видимому, является огромным кратером, одна сторона которого соединяется с морскими просторами.

Рабаул всегда был подвержен землетрясениям, по-местному «гуриа», вызываемым деятельностью вулканов. Наиболее крупными являются вулканы Мать, Южная Дочь, Северная Дочь, постоянно извергающие пар и серные газы.

В результате извержения 1937 года Рабаул сильно пострадал, но был восстановлен. В 1941 году произошел ряд новых извержений вулканов, и было решено перенести административный центр в более безопасное место. Начавшаяся Вторая мировая война помешала этому делу, а в 1942 году Рабаул был захвачен японскими войсками и стал ареной военных действий. В результате налетов американской авиации Рабаул был полностью разрушен.

4

Тулаги — остров и расположенный на нем город.

5

1 миля = 1523,986 м.

6

Гинея — старинная английская золотая монета, равнявшаяся 21 шиллингу.

7

1 фунт = 453,593 г.

8

Малаита — остров площадью около 1500 квадратных миль.

Численность населения Соломоновых островов до Второй мировой войны определялась в 96 000 человек. Белое население насчитывало около 500 человек; китайское население — преимущественно мелкие торговцы и ремесленники — около 200 человек; все остальные жители — туземцы, из них около 40 000 малаитян.

9

Гран — единица аптекарского веса (0,0622 г).

10

Гвадалканар (или Гуадалканал) — самый крупный из Соломоновых островов — имеет 80 миль в длину и 25 миль в ширину. Покрыт остроторчащими гребнями гор, достигающими 8000 футов.

Наибольшее число кокосовых плантаций сосредоточено на северо-восточном берегу, где земля очень плодородна. Там же разместился административный центр Соломоновых островов Хониара, построенный взамен разрушенного Тулаги. В 1950 году население Хониары составляло менее сотни европейцев, полторы сотни китайцев, до тысячи туземцев. Все население Гвадалканара насчитывало около 15 000 человек.

11

1 фут = 30,48 см.

12

Онтонг-Джава (или Лорд-Хау) — группа атолловых островов, из которых крупнейшим является Леауаниуа. Более мелкие острова — Палау, Кумара, Ойкуо, Калаи, Кейла и Тукуа. Население полинезийского происхождения. Онтонг-Джава открыт и назван мореплавателем Тасманом в 1643 году. Вторично открыт в 1791 году капитаном Хантером, назвавшим его в честь лорда Хау. К югу от Онтонг-Джавы расположен риф Эль-Ронкадор (или Канделария), имеющий 18 миль в окружности, с двумя проходами, ведущими в отличную лагуну. Один из проходов известен под названием «Суэцкий канал».

13

1 дюйм = 2,54 см.

14

Вампум — бусы из раковин у североамериканских индейцев. Зачастую вампумы служили меновой единицей.

15

«Цивилизованные» туземцы курят плиточный табак в глиняных трубках. В деревнях принято курить через длинную бамбуковую трубку. Свернутые табачные листья закладываются в небольшое отверстие в конце бамбуковой трубки, и курильщик наполняет трубку дымом, втягивая его с противоположного конца. Когда трубка наполняется дымом, конец прикрывают ладонью и передают ее из рук в руки; каждый курильщик имеет право на одну затяжку.

16

Международная Конвенция 1947 года запретила наем туземной рабочей силы на срок более одного года и предусмотрела минимум заработной платы за 50-часовую рабочую неделю в 24 фунта стерлингов в год. При такой оплате работодатель обязан одевать, кормить и лечить туземного рабочего, предоставлять бесплатное жилье и по окончании срока службы за свой счет доставлять рабочего к месту постоянного жительства.

Заработная плата квалифицированного туземного рабочего колеблется от 150 до 360 фунтов стерлингов в год, но в этом случае работодатель не несет обязательств по обеспечению рабочего питанием, жильем и пр.

Новое трудовое законодательство оказалось настолько не по вкусу плантаторам-работодателям, что они резко сократили производство копры, снизив его почти в десять раз по сравнению с довоенным.

Высокие биржевые цены на копру натолкнули плантаторов на мысль перейти на новую систему, при которой туземные рабочие превращались в издольщиков-субарендаторов плантаций. Такая система избавляла плантаторов от каких бы то ни было обязательств по отношению к рабочим. В 1949 году число рабочих на плантациях не превышало 1300 человек (в 1941 году — свыше 5000), но на положение субарендаторов перешло менее половины.

17

Таро — тропическое многолетнее растение, культивируемое в тропиках и субтропиках Восточного полушария. Клубни таро являются одним из основных пищевых продуктов коренного населения Океании.

18

Бушмены — группа племен, живущих в Южной Африке. В данном случае слово применено как «житель зарослей».

19

Основой экономики Соломоновых островов является производство кокосовой копры, экспорт которой оценивался в 1939 году в 293 054 фунта английских стерлингов. В 1948 году стоимость экспортированной копры составляла всего лишь 23 683 фунта стерлингов, хотя спрос и цены на копру резко выросли.

Незадолго до Второй мировой войны на Соломоновых островах возникли, но существенного развития не получили какаовые и каучуковые плантации В те же годы на острове Гвадалканар были открыты месторождения золота и возникла компания, получившая лицензию на разработку месторождений. Война прекратила деятельность золотопромышленной компании, а в послевоенные годы, когда новое трудовое законодательство воспрепятствовало эксплуатации дешевой туземной рабочей силы, добыча золота полностью прекратилась.

20

1 ярд = 91,439 м.

21

1 акр = 0,405 га.

22

Бальбоа Васко Нуньес (1475–1517) — испанский мореплаватель и завоеватель.

23

Д'Антркасто Жозеф, Антуан Брюни (1739–1793) — французский мореплаватель, обследовавший и открывший ряд новых островов Океании.

24

Вашгерд — аппарат для промывки золотоносного песка.